

СОВРЕМЕННЫЙ

ЗАПАД

№ 2



ПЕТЕР-
БУРГ

1923



СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА

КНИГА ВТОРАЯ

**«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА, 1925 Г.**

Главлит. № 4506. Гиз. № 3991.
Отпечатано 6.000 экземпляров.
„ПЕЧАТНЫЙ ДВОР“
Тип. Государственного Издат.
Петроград. Гатчинская. 26.

РИКАРДА ХУХ

ПЕСНЯ БУРИ

О, грудь морей, урагана вой!
Блуждать, когда стонет шквал!
За крепким молотом порта покой
Так беден и мал.
К чему мне подушек нежная ткань
И мягкий ковер, что ногами измят?
Ветер, мой парус порывом изрань —
Я и так богат.
Ураганного лёта восторг!
Взлететь и упасть — и опять!
Лишь в бою — пусть он душу исторг —
Можно счастье узнать.

Перев. с немецкого
Д. Винодский



КАЗИМИР ЭДШМИД

ГЕРЦОГИНЯ

Кусок руды — одно целое, и только потом — в плавильной печи — отделяется чистый металл от шлака. Только теперь, когда несколько затих шум, поднятый вокруг немедкого «экспрессионизма», когда дошли к нам книги экспрессионистов, стало видно, как много шлаку было в этой руде. Тем не менее, есть там и полноценный металл, и такой кованный, металлический талант, — у Казимира Эдшмида. Это — один из основных теоретиков экспрессионизма и едва ли не самый талантливый среди них беллетрист. Им написаны две книги essays: «Die doppelköpfige Nymfe» — «Двуглавая Нимфа» и «Ueber den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung» — «Экспрессионизм в литературе и новой поэзии», четыре небольших томиков повел и роман. Новелла «Герцогиня» взята из книги Эдшмида «Тимур» (три повеллы). Центральное действующее лицо этой новеллы Виллон (François Villon), один из замечательнейших старо-французских поэтов, «Гейне XV столетия», как назвал его один из французских писателей. Наиболее известны два его стихотворных сборника (на старо-французском языке): «Le petit testament» — «Малое завещание» и «Le grand testament» — «Большое завещание».

Фабула новеллы составлена частью из действительных событий жизни Виллона: убийство, воровство, бродяжничество, тюрьма, близость виселицы и одновременно самые высокие порывы — все это из биографии Виллона, дошедшей до нас, впрочем, в довольно отрывочном и неполном виде.

Е. З.

Когда поэт Виллон в бедности, на самом дне жизни, был в городе Париже, он увидел герцогиню Вентадрон. Она шла по своему саду, и ее образ так захватил его, что он отослал прочь сопровождавшую его девушку. Он шагал все дальше вдоль золоченой решетки, они шли друг другу навстречу. Герцогиня свернула в сторону, раньше чем Виллон поравнялся с нею, но ему все же удалось увидеть ее лицо. Сияние ее лица овладело всей его жизнью, чтобы уж никогда больше не покидать его.

Его сердце глубоко склонилось перед нею.

Нежность окружила все его последующие дни и покрыла его распутство и ночи в кабаках. Однажды вечером он соединил лунный

свет и страсть со своей душою и переложил их в стихи, которые послал герцогине. Он приложил к стихам письмо и просил, чтобы она повернула голову, когда при въезде во дворец поравняется с четвертым рядом деревьев. Это должно было означать, что стихи ей понравились.

Три дня после этого она поворачивала прикрытое веером лицо к четвертому ряду деревьев. Так он увидел это лицо еще раз.

Его сердце погрузилось в решимость покорно претерпеть для нее все и собрать ради нее все наивысшее.

Лишь несколько дней спустя — ибо он был беден — ему пришла в голову мысль подарить ей нечто. Подарок для нее Виллон должен был украсть. Но ни одна звезда не казалась ему слишком высокой.

Так как у него не было денег на некоторые предварительные расходы, то он перепродал одной благочестивой женщине, стоявшей возле собора богородицы, две украденные на клиросе позолоченные свечи и полученную сумму снес в свою таверну. Друзья, перепуганные его смехом, пили его вино и с жадными профилями, с пылающими глазами слушали, как нужно выполнить его план.

Они выпили с факелами. Виллон шел впереди. Баррель от радости воткнул свой нож в какую-то дверь. Переулки набухли темнотой. В улице Святых Отцов перед публичным домом стоял монах, дубасивший кулаками в ворота. Затянув оскорбительную для него песню, Виллон и его товарищи прошли ровным шагом по другой стороне, и их пение металлически звенело вдоль длинного переулочка.

Но монах перешел мостовую, упер руки в бока и принялся браниться норманскими словами. Он был большой и широкий, и глаза у него горели красным. Виллон с друзьями не обращали на него внимания и распевая шли дальше. Один из шедших сзади ткнул монаха в грудь факелом, так что он свалился в лужу, весь осыпанный искрами. Монах догнал, кинулся на обидчика, но товарищи отбили его и швырнули ярко пылавшего монаха обратно во тьму.

Проститутки высунулись из окон и спустили фонари в переулок, а Виллон снова затянул песню и зашагал дальше. Когда другие начали сплетать свои голоса с его голосом, монах в последний раз вырвался из ворот и, узнав Виллона, обозвал его пьяницей и никуда негодным поэтом.

Виллон поднял ногу, чтобы пнуть его, но тотчас же с гримасой опустил ногу и продолжал петь. А монах вонзил стрелу в его позор, крикнув: «Сын потаскухи!». Тогда Виллон поблелел, покачнулся и вонзил ему нож в тело.

В то время как песня вновь расширилась и, скользя, глотала в переулках, монах лежал на земле, кричал и, поднимая руки и ноги в воздух, тихо лил свою кровь в водосточную канаву. Женщины в первом этаже дома далеко высунулись наружу и посылали ему вниз приглашения.

Песня достигла Сены. Виллон вошел со своими людьми в лодку, и, озаренный багровым светом, поплыл вниз по реке.

Виллон сказал: «На мне нет крови» и, довольный, вымыл руки, ибо ему казалось, что убить жирного монаха — это даже меньше, чем убить ворону. Внезапно все погасили факелы, сунув их в воду по обеим сторонам лодки. Факелы шипели, и белые пузыри вырывались на поверхность; лодка тихо пристала к берегу королевского сада. Все перелезли через забор и рассыпались в разные стороны. Скоро они залегли, насторожившись, позади статуй и боскетов.

Виллон один прокрался дальше. Вино бушевало у него в крови, но он верно взял направление. Барраль следовал за ним. Подле них закричал индейский петух. Сердито воткнул ему Виллон ноготь большого пальца в горло; он даже не посмотрел на это существо, которое попусту встревожило его. «Смерть неумышленно исходит от меня», — подумал Виллон, взламывая дверь в зверинец.

Из белой соломой глядели на него в темноте безмерные, тихие, блестящие глаза. Под быстро зажженным светом расстилалась перед ним нежная шерсть антилопы. Левою рукой Виллон отвязывал бубенцы на рогах антилопы, а правой в это время гладил ее по спине. Потом он заботливо взял животное на руки и понес его в лодку.

Они поехали назад и пристали к другому берегу Сены. Позади Лувра они слышали бряцание копий караула. Они сейчас же затаили песню, — Виллон с антилопой шел посредине. По этому жуткому сигналу шаги караула пропали вдаль. Еще некоторое время шли люди Виллона мерным шагом.

Потом они замолкли. Виллон пошел один вперед ко дворцу, отворил ворота и вошел в сад. Он опустился на траву, допозд до стены, обогнул флигель и привязал свой подарок — антилопу — длинной цепью к розовому кусту позади двора: чтобы утром, при пробуждении, взгляд герцогини на одну секунду окрасился нежнее и маленькое счастье разлилось по всему парку.

Потом он возвратился, они двинулись обратно и остановились в таверне, где играли в кости.

Потом пришел отряд, окружил эту нору и одного за другим переловил всех выходящих.

Когда Виллон увидел себя пойманным, он испугался и упал на колени. Его били древками пик по голове, потом отнесли с распухшим лицом в одну из трех башен. Он скатился вниз по ступеням, стены были влажны и покрыты плесенью, было темно.

В эти дни, которые он пролежал там, — в эти дни, выросшие в недели, — его глаза приобрели власть над тьмою. Он различал смену дня и ночи и движение мельчайших насекомых на стене. Он видел круги и потоки синего света, тишина приобрела вес и журчала в его ушах, и он погрузился в состояние среднее между сном и бодрствованием. У него выросла борода, между тем как его тело разрушалось.

Какая-то сыпь грибами пошла у него на коленях. Он ни о чем не думал. Существование вне мира, которое его мягко влекло все дальше, совершенно заполняло его.

И тут распахнулась дверь, вошли два человека с светильниками. Позади них стоял господин в серой одежде. Он с любопытством наклонился к Виллону. Затем он приказал поставить около себя фонарь, сделал быстрое движение головой вверх и в сторону — и его люди бесшумно погрузились обратно в темноту двери.

— Некто интересуется вами.

— Вы?

— Нет, не я. Некто.

Тогда Виллон поднял взгляд — пристальнее, еще пристальнее — и узнал герцога Вентадрон, поклонился низко и стал робким и дрожащим.

— Вас, наверное, приговорят, — сказал приветливо герцог. — Хотя она меня и забавляет — эта история с духовной особой, — но и здесь закон также грозит вам. Из разных соображений я желал бы помочь вам. Знаете ли вы аббата из Сан-Ромакль? Да?

Виллон, который знал славу аббата, кивнул и сложил в улыбку свое слабое дрожащее лицо.

— Я хотел бы ему основательно насолить, — понимаете? У него дом с оливковым садом, на границе моих владений. Там, как раз напротив, есть старое здание со многими комнатами. Вы знаете женский квартал в Париже?

Виллон кивнул.

— Вас наверное приговорят. Я хотел бы в этом здании учредить женский монастырь, с пением и вином, куда каждому мужчине открыт свободный доступ. Хотите?

Виллону план очень понравился, глаза его засверкали, он стал прикидывать, кого он использует для этого и какие таверны опустошит. Потом его устрасила мысль, что тот, кто это предлагает — муж герцогини. Виллон задал себе вопрос, не ловушка ли это, но так как он знал герцога, как человека благородного, храброго и великого обольстителя женщин, он топнул ногой от радости и сказал:

— Я могу и хочу!

И в то же мгновение лицо его потемнело и осунулось в тусклом мерцании желтого света фонаря, ибо та дурная вещь, которую он охотно бы сделал, была слишком близка его чувству к герцогине, и, расплавленный стыдом, он отклонил предложение.

Герцог изумился.

Потом, играя, завертел ключом и сказал: «Тогда, молодец, ты будешь повешен».

Виллон кинулся ниц и по собачьи вымаливал себе жизнь.

За это он обещал герцогу вещи, о которых тот и не подозревал; хотя герцог знал Париж, как немногие, но Виллон знал больше.

— ... или — тебя подтянут, — пожал плечами герцог.

По этой его холодности Виллон почувствовал весь — до самых зубных нервов — что значит не дышать более. Пораженный ужасом смерти, пал он к ногам герцога, повернулся и поцеловал их.

Он хотел себя побороть, чтобы исполнить план, пленявший его разум, но все же он шел напрасно против чувства, которое запрещало ему это, и даже самый ужас смерти был ничто против этого чувства. Ему не удалось.

Ужас овладел им, он позеленел, но не сказал снова: да.

Герцог оттолкнул его от себя ногой и ушел.

Виллон пал на колени и горячо молился образу, который вставал в его душе и сквозь синие огненные круги склонялся во тьму. Слезы хлынули у него из глаз. Несмотря на это, ему в то же самое время казалось, что это безумие — отказаться от такого чудесного монастыря для девок и отдать себя на растерзание.

Больше темный воздух уж не журчал у него в ушах. Между благоговением и кощунством проходили его дни. И вот, однажды получено было известие, что он помилован, но должен быть изгнан.

Два стражника шли рядом с ним. Без остановки дошли они до ворот. Они вручили ему бумагу. Он был выслан за пятьдесят лье от столицы. Они выпругались, засмеялись и пустили его бежать.

И он бежал, как заяц, ужасной дугой, все вперед по равнине, пока сердце не забилося у него где-то здесь, в горе. Тогда он остановился под деревом. Это была молодая береза, закачавшаяся под его тяжестью.

Он, весь дрожа, взглянул вверх по стройному стволу, увидел темно-зеленую вершину, всепобеждающее небо, погладил дерево и, переполненный, пал на землю.

В полдень он пошел дальше. Солнце, очень звонкое, лежало вдоль длинной дороги. Рожь стояла в полях и шелестела. Перед неизведанной прелестью деревни его еще больше охватило бешенство, что для него заперт город. Так быстро помчалось в груди его сердце. Он оглядел себя, когда стоял здесь вот так, истерзанный — и ручей отразил ему остановившиеся глаза, всклокоченную бороду. Он двинулся, шатаясь, по дороге. Какой-то бродяга расхохотался над ним так, что загудело. Из крестьянского двора выскочила собака, бешено залайавшая в безжизненную тишь.

Он поднял камень, но у него больше не было силы.

Вечером он свалился от истощения в канаву и заснул. Два дня бежал он бессмысленно вперед. Когда в полдень на третий день он подошел к винограднику, в котором поливал и копал старик с мирным лицом, он завистливо остановился и попросил работы. Работу он получил. В несколько недель его лицо стало загорелым и безбородым, глаза посвежели. Узкое платье обтягивало ставшее упругим тело.

Однажды ночью он прокрался назад к границам Парижа. Но прежде чем он вступил в запрещенную область, какой-то клирик узнал

его и поднял крик. Виллон повернул обратно. В одной из гостиниц на деревенской улице он остановился и стал писать письма во все концы. Он писал Баррало, другим; женщинам, хозяевам; он молил и требовал, чтобы помогли ему вернуться в город. Потом он стал ждать.

Но в ответ пришли только две девки, которых он раньше любил. Барраль бежал, другие сидели. Он задрожал от злобы и побил девок.

Однако, они укротили его поцелуями. Тяжело удрученный и все же сладко встретивший их верность, он писал, среди их объятий и шуток, письмо к герцогине, он писал: как сильно рвется его дух в высь и как быстро падает вновь, ибо кровь в нем мчится, как молния. И все же его сердце исполнено усердия.

Когда на другой день девки отправились обратно и унесли с собою письмо, он глядел им вслед. У них были красивые ноги, он увидел это снова.

Потом он сел на траву и заплакал, ибо велик был мир, лежавший между ним и святыней, а мост письма — узок.

Ночью он исчез, не заплатив по счету.

На опушке он вышел еще раз из тени, простер руку по направлению к городу.

И тут он ринулся в новую страну — там, впереди — окрепший внутренне и поддерживаемый решением, что жизнь его встает в глубокую страсть и уносится в мерно-качающихся струях.

Он никогда не покидал города, он не знал путешествий. Песня никогда не приходила ему на уста. Его походка была исполнена ритмом его чувства. Вспугнутый, он окидывал взглядом местность и впитывал ее в себя.

Однажды он думал о прошлом и увидел как бы где-то далеко в зеркале: вот он идет сквозь решетку из деревьев, пестро одетый, нежно опустив голову.

Так достигло в тишине до него то время.

Вечером в воскресенье он вошел в город. На площади сияло много огней. Меж деревьев был натянут канат, и на канате плясали. По окончании представления он смешался с фиглярами. Они начали игру в кости. Они пели и вели себя вольно — и Виллону показалась счастливой ленивая жизнь этих людей. Самодовольное покачивание женских бедер, широкая уверенность мужчин и смиренная мудрость тех и других дали ему отраду. Он присоединился к ним.

Они были из Лиможа, и у женщин был пылкий нрав, возбуждавший его северность. Его познания в ремесле оказались больше, чем у товарищей. Его поэты были красивей, его прыжки изящнее; успех труппы все возрастал. В Анжере граждане пригласили Виллона и его труппу.

Когда они покидали богатый город после ряда триумфов, один городской советник последовал за ними на лошади и попросил Виллона обратно в ратушу. Бургомистр указал на серого монаха по имени Пра

и просил Виллона, чтобы он помог монаху устроить большую мистерию. Виллон коротко оглядел зал.

И тут он покинул своих распутных товарищей.

На городском празднике во время карнавала он говорил пролог с полумаской на лице и горел таким огнем, что публика бушевала.

С наступлением утра он тихо принялся за дело.

Тушому красноречию священника подчинил он всю полноту своего таланта. В одну неделю доказал ему Виллон заблуждения мифологии, переложил священное событие в стихи, дети цели их в переулках. Монах покинул город.

Тогда Виллон один завладел всем. С раннего утра начал он дрессировать массы. Он учил их простирать руки к небу, царапать себе лицо и, корчась на животах, кричать от ужаса. Стая плотников поставила мощно выгнутой дугой амфитеатр, подле церкви на кладбище. Этажи сцены ряд за рядом воздвигались один подле другого. Он учил прекрасному восторгу, крику страсти и тишине преданности.

Он месил тесто толпы, так что шеренги, развертываясь, шевелились, как будто он дергал их за нитку. Костюмам он придал величественное, гримму правдоподобие. Текст он переработал, сгладил, придал ему огненную искристость. Он прибавил к нему насмешливое стихотворение против серых монахов.

День для него возрос от восхода солнца до сердца ночи. Благотворность работы захватила его, пронзала его. Маленький земной шар мистерии, которая одна покоилась в его руках, поднял его до восторга перед самим собой.

Когда приготовления кончились, крик пронесся по городу. Въехал король. Ковры ниспадали из окон. Цветы покрывали ступени. Цветы лежали на дороге. Поперек улиц, высоко, висели кадильницы.

На утро началось представление первого дня. Сявось полог, что покрывал деревянный театр, всех внизу оросили распыленные благовонные воды. Потом Виллон, опоясанный белым, проехал на осле через сцену. Рога затрубили.

Король вошел в ложу. В безмолвии продолжалось представление до вечера. Только в сумерках впервые поднялся шум. Карманный вор отрезал одному дворянину рукав и спрятал его. Виллон приказал привязать вора к столбу и подвергнуть его позору, ибо он хотел быть строгим в своих владениях.

Но ночью, переодетый, он отвязал наказанного.

Второй день начался зноом. Уже к полудню лица стали сонными. Дети кричали на подоконниках. Народ натравливал на арену собак.

Под вечер свершилась смерть Иуды, которого играл Виллон. В то время, как семь чертей гремели над головой бараньими черепами и коровьими колокольчиками, поднялось темное солнце. Встал сатана, лицо у него было золотисто-коричневое, и на нем был венец из красного атласа и восточных жемчугов. Иуда плача упал с помоста.

И так как рот у него был слишком узкий, слишком предательский, чтобы этим путем могла изойти душа, то у него лопнул живот, из которого она и вышла.

Король поднялся, выражая одобрение.

Возвращаясь назад за кулисы, Виллон почувствовал: кто-то всунул записку ему в руку. Он оглянулся. Будто ничего и не произошло, сзади стояла одна из Сибилл, танец которой утром запечатлелся в сознании Виллона. Это была жалкая девка, но когда она говорила, рот у нее пылал словами.

В городских воротах люди одного епископа схватили Виллона, так как он написал стихотворение, где осмеивал монахов, но всадник короля освободил его.

Тогда он взглянул на записку. Там была картина: святая Сусанна, опустившая ногу в воду, смеющаяся глазами. Она понравилась Виллону, и он усмехнулся.

В последний полдень, Виллон, игравший Христа, явился на помост.

Он был наг, его повесили на крест, и боль выжала из его уст крик. Рядом, стена, висели разбойники, с рожами, нарисованными вокруг пупка. Справа зиял ад. Слева же стояли мальчики с красными повязками на головах и позади них ангелы с инструментами, все склонившиеся ниц.

Так велики были непреклонность и дерзание Виллона, что он повернул голову к преисподней и начал неслыханное: говорить впухшим, диким голосом — туда, в преисподнюю.

Тогда, в бледном молчании зала, поднялась завеса одной из лож, подле королевской. Взгляд Виллона успел схватить одно: висок женщины.

Завеса опустилась.

Несказуемое наполнило его уста, когда он поднял лицо. Это была ее — ее голова.

Так Виллон узрел ее еще раз.

Он не мог объять этого блаженства, он замолк.

Но его голова покорно упала вниз, и его взгляд охватил кулисы рая. Апельсиновые деревья попались ему на глаза. Среди роз и майорана в гранатах был вверх фонтан.

Его сердце поникло.

Занавеса покачнулась, но уже не поднялась больше.

Голос Виллона зазвучал — сначала высокий и слабый, а закончил он невероятным рычанием. Голова вытянулась вверх, все тело от ступней до затылка напряглось, как силовик для птиц. Слова рвались из его восторженных уст, полных преданности, и, как из широкой трубы, вырастали в некий медный гром.

Потом он склонил голову.

Занавес отделил от него мир. Стало сумрачно.

Когда он переоделся и шел к помосту, городской советник приказал позвать его к королю.

У забора кто-то коснулся его бедра. Он мимоходом взглянул и узнал Сибиллу.

— О! — сказала она, открыла рот, закусил верхнюю губу.

Виллон подумал о картине и посмотрел на нее. Потом положил ей руки на плечи, — они сквозили, белые и полные ожидания, сквозь платок.

Она отошла в сторону, где уже начинались кладбищенские кресты, вокруг нее было совсем темно. Ее бедро коснулось Виллона. Он поцеловал ее и укусил ей рот.

Они легли позади широкого надгробного камня.

— Мне страшно.

Виллон засмеялся.

Виллотную подле них бежали последние острые грани света. Толпа шумно танцевала на площади. На скамьях амфитеатра начинался шпр. Искры брызгали на темную стену горизонта. Красный пар повис над колокольней.

— Хочешь денег? Я получу двадцать дукатов.

— Нет.

Он продвинул язык между ее зубами и губой.

— Возьми с собой меня! Женись на мне! Дай мне ребенка!

— Положи в постель штаны францисканца — у тебя будет ребенок сам собою.

Виллон смеялся.

Она правила ему. Их губы распухли от крови.

— Я подарю тебе пять дукатов.

— Мне страшно!

— Ты купишь себе браслет и шелковые рукава.

— Мне страшно.

— Плюнь на мертвых. — Он стиснул ее грудь.

— Как ты был хорош, когда ты на осле, которого назвал Рютбеф — когда ты в белом поясе въехал на осле...

Он поцеловал ее с закрытыми глазами.

Но тут сквозь щель темноты явилось лицо. Виллон прижался губами сильнее, чтобы раздавить это лицо. Но благословенная голова становилась все больше, герцогиня ласково склонялась над ним. Лицо ее покрывало его душу, в то время как он все более дикими поделуями пытался уйти от него. Ее ласковая улыбка простиралась над садом, крестами и небом.

Тогда, отчаявшийся, побежденный, он пихнул девушку ногой, и с ее открытой груди взглянул ввысь, чтобы дотянуться до образа той.

Его сердце поникло, и поднявшись, громко стелая, он побежал в ночь.

Он бросил дукаты и короля.

Его бегство длилось целые дни, которых он не считал.

С вклокоченной бородой залез он однажды ночью в сарай. Когда он заснул, ему на глаза сквозь сетку сена пал свет потайного

фонаря. Он пошарил кругом и обнял Барраля, которого он таким образом нашел.

— Где ты был? — сказал Барраль и засмеялся.

— Я бегал, — сказал Виллон.

Он прикрыл себя сверху соломой. Потом он еще раз разбудил Барраля.

— Барраль, — сказал он, и его лицо светилось злобной, скрежедущей насмешкой, — вот чего я хотел бы: наблеть на мир — делье реки. Старина, мы будем соблазнять женщин, поджигать их стойла и делать это с бешенством.

— Да дружище, — сказал Барраль и вытащил у себя из бороды соломинку.

Их пищей были плоды и краденая птица. Рыская по округе, они вечерами иной раз так пугали крестьян в полях, что те с воем убегали прочь. Они колотили монахов сучковатыми палками и по своему распоряжались женщинами, которым они расшуровывали платья, так что они стояли как статуи по всем дорогам.

Однажды Виллон попал в ловушку. Выскочив внезапно со всех сторон, парни избили его. Он едва убежал из темного переулка, на лбу — кровь из раны.

Ночью они подожгли всю деревню.

Темные отсветы порхали по лесу, а Виллон и Барраль стояли на холме.

— Это красивое зрелище, — сказал Виллон и обнял за плечи Барраля.

— Это представление, — сказал Барраль.

После нескольких недель такой жизни они достигли города Тулузы, где как раз в это время был большой крестный ход. Город был полон духовенства и разных припыхлых людей, которые тратили на веселую жизнь нажитое на родине. В самой знаменитой церкви Барраль украл меха и камни. Приглядевшись, он заметил, что в кружку опускают не мало крупных пожертвований. Это запечатлелось в нем. Он не забыл об этом. Вечером они поспешно составили план.

После того, как они пробрались сквозь двери, Барраль по-медвежьки пробил насквозь кружку для пожертвований. Вместе с медью и небольшой кучкой серебра по полу рассыпалось много золота. Они спокойно поделили. Когда они вышли через потайную дверь за органом, слабый зов послышался им навстречу.

Виллон заметил: рука Барраля поднялась; в тот же момент и самого Виллона схватили десятки рук, он повернул голову, увидел, как аллебарда широко раскроила живот Барраля.

Потом короткий переход — и он был во мраке тюрьмы.

Когда длительная ночь заперла его со всех сторон, сознание его омрачилось. Он не различал дня и вечера. Никакое парение души не уносило его от мира и действительности. Раскалывало его, и он прислонял голову к покрытой гнилью стене и говорил, а взор

его в это время представлял ему блаженство свободной природы, цветущих деревьев и киноварной осени: «Зачем я разбойник, когда я мог бы быть поэтом?» Но мучительное страдание этих недель дало ему стихи о женщинах, полях и луне.

И в радости этой работы ширилось его сердце. Душа его, которая была полна и разрывала все окружающее, наслаждалась горизонтом, солнцем и морем.

А в промежутках его жалкое сознание кричало от страсти и муки. Он сожалел о своей судьбе. Он видел пред собой наказание — верную смерть. Поэтому он молился богу, чтоб он послал ему какое-нибудь средство спастись. Если бы еще раз ему предложили хотя бы даже то, от чего он отказался тогда — в первой тюрьме! Он поклялся, что теперь он согласился бы, теперь бы исполнил и притом унизил бы себя еще глубже. Ибо это он обещал богу как лихву.

Но потом он долго плакал от стыда за эту свою слабость и не питал к себе ничего, кроме презрения.

Все же воля к благочестивой жизни так ярко сияла в его существе, что через некоторое время он еще настойчивее сталкивался с своих уст мольбу о помощи.

Но в эту ночь его обиталище наполнилось белым светом, и во сне пред ним выросли светлые фигуры со светильниками в руках. И некий голос наполнил его тюрьму так, что он задрожал от волнения: «Ибо, бедный мой, ты должен позволить вывести себя на свет»... и, проснувшись, широко открыв глаза, он ощутил, как чья-то рука гладит его лоб, вот — исчезла. Он почувствовал: нечто быстро скользит к двери.

Тогда он вскочил и трепеща от счастья поднял голову.

Дверь открылась для освобождения, он ощутил — воздух течет.

Он кинулся на колени и воскликнул: «Пусти меня».

Но фигура не повернулась лицом (Виллону и не нужно это было, он и без того узнал ее); она только сделала широкое движение рукой и прошла в дверь.

Поднявшись, он кинулся вслед:

— Зачем? — кричал он, — зачем ты преследуешь меня добротой, — зачем перегружаешь мою жизнь светом? Я беспомощен против этого, но я не хочу.

Дверь была закрыта.

Он стучал в нее кулаками, пена показалась у него на губах: «Пусти меня, проклятый, я проклинаю тебя в моем унижении. Святое в твоих поступках приводит меня в отчаяние»!...

И он кидался навзничь, он боролся.

А тюрьма его была пуста, ничего не происходило.

Злой, гневный сел он в углу.

Страх заполнял всю эту его ночь, всю ночь он не спал, окостенелый и проклинающий: ведь его могли освободить даже без того возмездия, о котором он молил бога.

На другое утро это свершилось. Он стал свободен.

— Я не хочу, — сказал он и не покинул скамьи, на которой сидел. Сторожа толкали друг друга в жирные бока и дивились.

— Дело шло насчет твоей головы, — сказал один и упер руки в зад.

Виллон метался, как рысь, вправо и влево. — «Кто попадает в руки правосудия? Зачем несправедливость восстает против обычая? Я украл. Пускай меня колесуют. Этот подло — отпустить меня без наказания».

Но они расхохотались и выкинули его на улицу, как животное.

Там из упрямства он лег на землю. Ночью собака лизала ему лицо. Он поцеловал ее в морду, обнял ее твердую шею обеими руками, и зарыдал, спрятав лицо в шерсть.

После этого они вдвоем с собакой вышли из города в поле. Звезды не загромождали выштанного туманом неба, в мердании которого висели их огромные тени. Так как он полюбил животное, он назвал его: «Жуа-Нувель» — «Новая Радость».

Они долго жили в лесу бесхитростной жизнью. Скитаясь, они пришли к охотничьему шалашу, в котором обитала простая женщина. Она предложила им кров, они привыкли к этому крову и остались здесь. Бесхитростная любовь радовала его.

Однажды, когда он охотился, зашевелились кусты, и сквозь раздвинувшиеся ветви к нему подъехала женщина. У нее была кастильская с белыми ногами лошадь.

Она круто осадил коня, Виллон поклонился.

— Ваше имя? — спросила она.

— Виллон.

— Виллон, — сказала она и сузила серые глаза в одну черту. Окинула его взглядом с головы до ног, погладила лошадь по шее и ускакала.

Ее звали Лоба. Она жила в замке в лесу, в двух часах от Марселя. Женщина в шалаше рассказала ему об этом, когда он бросал Жуа-Нувеля убитых в лесу дроздов.

Попутру постучался слуга и сказал, чтобы он пошел в замок. Но Виллон ответил, что никто не смеет ничего от него требовать, побил слугу и выгнал его.

Через некоторое время он снова встретил графиню в лесу.

— Почему вы не приходите? — спросила она. Ее уздечка была из лимузинской кожи, и серебро сияло. Ее лицо было холодно и замкнуто.

— Что мне там делать, — сказал он спокойно. — Оставьте меня жить здесь, как мне и надлежит, — в унижении и жалком довольстве.

Она вскинула буйным движением руку с хлыстом вверх, проследила изогнутую линию широким взглядом и ускакала не прощаясь.

Через две недели она попросила его сочинить ей две строчки к картине. Он не противился. Только его огорчало, что это влекло его в высь. Но так как влечение было непреодолимо, он отдался ему.

Одежда его вновь преобразилась в придворную. Движения освободились от размашистости и приобрели размеренность. Его рот приоткрылся к округлому падению изящных гласных. Из окон дворца он видел море как тонкий синий дым.

— Я не люблю животных, — сказала Лоба и указала на Жуа-Нувель. Это обозначало изгнание собаки, а когда тоска пригнала ее обратно — ее смерть. Виллон с гневом и слезами убил ее.

Супруг Лобы вернулся в замок только спустя некоторое время после того, как Виллон вступил в ряды его свиты. От его широкого стана веяло самодовольной уравновешенностью. Увидя Виллона — так как он его не любил и не ненавидел — он зевнул, чтобы выразить свое бесстрастное одобрение. На праздниках Виллон воспевал душу и облик Лобы. В безмолвии ночи прокрадывался он попрежнему к кухням и людским — ради костей, вина и пересудов.

Трусливо, как собака, отворачивал он взгляд от прошедшего. Он склонял в бок шею и хмурился на солнце, когда ему приходила мысль о том, что было. Сквозь занавешенный покой его воли ни один звук не прорывался во внутренне сознание.

Он встретил Лобу поутру в зале. Пути их скрестились, она прошла мимо, едва заметив его, и все же с улыбкой, от которой у него задрожали колени. Оставаясь в дали, она уже одной своей снисходительностью волновала недра его существа. Его так стремительно влекло к Лобе, что женщина в шалаше исчезла из его памяти. Ему хотелось пасть ниц перед Лобой, для того, чтоб она властно приняла его услуги, все равно какие.

Он называл себя волком, для того, чтобы его имя было подобно ее имени. Он воспевал ее коршунов и ястребов. Ее венецианские стаканы украшал он вязью изречений. Он никогда не забывал положить ей на седло пуховую подушку.

Однажды на охоте он взял шкуру волка и закутался в нее. Свора с лаем кинулась по его следам. Он бежал так, как если бы дело шло о его жизни, и слышал науськивание Лобы. Он бежал наискосок через лес. На прогалине свора окружила его.

Чернопегая охотничья собака вцепилась ему в затылок.

В то время, как тела других собак закружились вокруг него, он вскочил, отогнал назад животных и стал, истекая кровью, перед Лобой.

Она ехала, как и в первый раз, на кастильском жеребце и прищуривала глаза в узкую щель. Он склонился и подавил стоны. Она слегка усмехнулась и сказала:

— Спешите домой.

Воя от боли, весь в поту, достиг он замка. В дни лихорадки графиня часто приближалась к его постели, снимала повязки и лила кипарисное масло в раны. Он замахивался на служанок, громко ступавших по полу, но тут переносил адскую боль со спокойным лицом, и однажды погладил ее по руке, а душа у него в этот момент

оцепенела, так как он ждал, что она его ударит по лицу. Но она только взглянула на него.

Когда ему стало легче, его охватило безумное чувство радости, в котором он не мог дать себе отчета, не мог найти причины. Каждому человеку он говорил, что счастлив. Он разговаривал с коровами. Он один плясал в лесу и кричал: «Будь у тебя еще на костях мясо, Барраль, как бы ты смеялся над Виллоном»...

Тогда он отважился прокрасться в безлунную ночь наверх к графине. На лестнице силы оставили его, он струсил и повернул назад.

Другой раз он основательно вымылся, он долго купался, чтобы им внезапно не овладел страх: а вдруг на нем где-нибудь есть следы земли, — так боязнь за свое происхождение таплась в его крови. Тотчас же поднялся он наверх. Его сердце блаженно стремилось к ней. У него было мужество.

Вступив в галерею, он остановился. Что-то промелькнуло мимо него и, смеясь, остановилось. То была одна из африканских служанок, с блестящей золотисто-коричневой кожей. Виллон видел, как она скользнула в светлой полосе двери. Он видел ее мягкие бедра и слегка свистнул. Она обернула голову и, совершенно переполненный ее образом, он последовал за ней.

Он долго не являлся на глаза Лобе, терзаясь угрызениями совести. Но она послала ему арабийский ковер, чтобы он написал для него изречение. Он сочинил большую тираду, и это дало ему новую храбрость. Его зеркало показывало ему теперь строгое лицо, прекрасной мужественности. Он намазал лицо мазью из ртути, бобов и конского молока, для того, чтобы виски приобрели более мягкий оттенок.

После этого он отважился.

Ее комната была незаперта. Подойдя ближе, он увидел: Лоба лежала, — с неба падало много света, поэтому он ясно видел ее. Он наклонился и поцеловал ее в губы.

Спросонья она сняла руку с груди, простерла к нему, и думая что это ее муж, она поднялась и встала. Тогда она увидела перед собой Виллона. Сперва она ничего не сделала. Она только оглядела его.

Этот взгляд он носил потом как пятно, глубоко в ненависти своей души. Этот взгляд поверг его на землю.

Потом, увидев, что Виллон искоса пристально глядит, она закричала. Захлопали двери. Мимо прибежавших со свечами служанок Виллон торопливо выбежал из взволнованного и осветившегося замка.

Повсюду на своем вымытом теле он чувствовал грязь.

Он пробормотал: «Шайка... зачем ты, Виллон, сын девки, предался благородным?»

Ночь была прекрасна. Ветер мягко трепетал в деревьях.

Скитаясь по лесу, он поднял между стволов руки и воскликнул:

— О, Жуа-Нувель, где ты теперь?

Дрожа от гнева и горячо болея о смерти собаки, тяжело угнетавшей теперь его душу, спешил он в Марсель. Он прожил, скрываясь два дня в гавани, до тех пор, пока не отошло в Геную гребное судно. Прислонясь к мачте, озирая удивительное море и полный боязни заболеть морской болезнью, он покинул родной берег.

Равнодушно вылез он на чужой земле. Подвижность волн впитала в себя его волнение. Он пересек город и покинул его. Странствуя взад и вперед по морскому побережью, он прошел через всю Италию и мало обращал внимания на месяцы и годы.

Он спал на скверной подстилке и в кроватях, его преследовали, и почет окружал его, как оскорбление. Бездельничая, слонялся он в суматохе гаваней и по целым дням отдавался морю, на светлом берегу, впивая солище обнаженным телом и замыкая море в расширяющуюся душу.

Однажды зимой он составил квартет, состоящий из звонка, тамбурина, маленького органа и флейты. Огнем многих дворов и базаров, криками многих ночей окружены были эти четыре необычайных лица. Потом он порвал с этим, шатался пьяный и опустившийся, с пустыми карманами, выпрашивая испорченную рыбу, и стаскивал с пальцев у женщин перстни. Но какое-то утро перевернуло его — и вот он уже небрежно сидит на коне, с беретом на голове и с арфой на седле, украшенной изображением львицы.

Когда возвращаясь из Сиракуз, он проезжал через Геную, из окна выглянула полная женщина, и он остановился.

— Твоя высокая грудь пленяет меня, — сказал он.

Она оглядела его и выругалась: «Провансалец!»

Но он рассмеялся и указал на ее грудь.

Он взял несколько фальшивых трелей и затянул: «Твоя высокая грудь»... Женщина покраснела от злости и закричала: «Я тебя понимаю меньше, чем берберийца, немца или сардинца». Но тем не менее, она взяла его за руку и ввела в дом. Там, в дверях, он охватил рукой ее бедра, и так как она поняла это — они более не разлучались.

После дорожных приключений здесь он испытал заботливый уход и с удовольствием остался у нее. В последующие за этим годы она приобрела над ним власть. Правда, иной раз он колотил ее, когда был пьян или если другая случайная женщина вселяла в него новое мужество, но позже ее взгляд стигал его и опять делал трусом. Однажды она избилла его и выбросила за дверь. Это была понизывающая ночь, и петух кричал от холода. Утром Виллон опять забрался в дом.

Он чувствовал, что его жизнь больше не стремилась в даль, но запуталась в мелочах, впрочем, за некоторую горечь она вознаграждала его сладострастием.

У них было помещение, где они торговали вином. Всевозможные люди толкались между этими столиками, которые никогда не пустовали. Здесь он встретил Баболина и Жофруа Рюделя, — они были

с ним, когда он добывал антилопу из королевского сада. Но он мало говорил об этом и не удерживал их. Чужие господа, встретившись со стройными женщинами наверху, затем наслаждались с ними в нижнем этаже. В задних комнатах, которые хозяева обпаривали под утро, им доставалось кой-какое платье, много денег и украшений, умноживших богатство Виллона.

Его низкая, жирная жизнь больше не давала ему стихов.

Однажды вечером один странствующий ломбардец говорил там про принцессу Триполитанскую, которую никто на свете не видел и доброта и красота которой были безмерны.

В эту ночь Виллон плохо спал подле своей полногрудой жены и в последующие боролся, в гнев на самого себя.

В полдень четвертого дня пошел он к морю, над которым простиралось солнце, и там осенило его. Ему показалось, будто он стал легким и утратил вес. Небо стало светлее и белее, и он с такою ясностью все увидел, что, пораженный, пал на землю. В то самое время как он думал, что жизнь его закончится в спокойном унижении, эта жизнь стремительно восстала против него и его волн и выросла ввысь — к свету неба.

Голова у него кружилась, он бегал по улицам до вечера, потом взял много из скопленных денег и покинул город.

Корабль вез его. Море сверкало. Чуждый, далекий берег реял ему навстречу. Когда он сошел, сердце его было устремлено ввысь... жадное к прекрасному, готовое делать добро. Его душа была полна презрением к будущему.

Берег был непривычно прекрасен. Синие цветы легкой тафтой покрывали деревья в садах. Ржали, перекликаясь, кони. Рога и кларнеты звучали из шатров.

Он смешался с людьми. Но резиденция принцессы была не здесь. Многодневное странствие привело Виллона к ее городу.

Он спросил, где ее дворец. Он постучал.

Но железная дверь не шелохнулась. Он пел и звал и упорствовал. И все же дверь оставалась закрытой для него. По целым дням упражнялся его ум в хитростях, но никакая мудрость не приближала его к цели. Он изучил язык страны и наречия городов. Он ослабел и сошел с пути страсти и владел ничтожными женщинами, но его великое чувство только слабо трепетало среди них — и снова бросалось в широкий поток — к принцессе.

Однажды ночью, когда он с разгоряченной от вина головой играл в кости с дворянами из Бретани, они стали смеяться над его страстью.

На поединке, борясь по бретонскому обычаю, он опрокинул одного, но другой победил его. Тогда он плюнул ему в лицо от злости, что он попирает его надежды и даже в божьем суде одолел его.

Он попробовал пустить в ход наглость, чтобы увидеть принцессу.

Шумно въехал он на крупном жеребде на бруствер замка, поднял руку и крикнул наверх, к окнам: «Эй ты, курва!» Но никто не обратил на это внимания. Тогда он взбесился и поклялся своими внутренностями и Компьенским знаменем, что будет обладать принцессой. Но площадь, обычно переполненная людьми, вымерла, и ни одно окно не отворилось: его дерзость осталась ненаказанной.

Он стал подкупать сторожей деньгами, вырученными от продажи мощей (торговлю которыми он широко вел с европейцами), он соблазнил любовью и песнями дворцовых прислужниц, — все было напрасно. Увлеченный своей задачей, он вручил свою храбрость военачальнику принцессы, он совершал набеги на неслыханные страны, видел зверя, оружие и человека, о которых он никогда и не подозревал.

В награду он просил, чтобы позволили ему увидеть принцессу, славу которой он разнес в песнях в глубь Леванта. Он просил, приказывал, угрожал. Все было напрасно.

Тогда, смирив свое упрямство, он бросил все и жил в тихом благоговении вблизи дворца. Вскоре он получил, случайно и без всякого старания, место во дворце. Он служил долгие месяцы, надзирая за рабами. Однажды утром, когда его особенно угнетало, что на его страсть даже не взглянули, он в отчаянии и нетерпении ударил молодую рабыню так, что она закричала.

В это время рука его окаменела. Покой струящейся силой овладел им. Он обернулся.

С террасы спускалась женщина, вся в светлом и красном. Ее шаги оглушили его. Медленно протекал образ ее по направлению к дороге. Виллон широко распростер руки.

В это мгновение она обернулась. Ее лицо кротко просияло. Сад залился светом.

Виллон пал на землю, страстно сложив руки. Его сердце поникло. Он плакал в ладони о своем ничтожестве. Когда он поднял глаза, принцесса сделала легкое движение туда, где было безоблачное небо, и ее образ погас за кустарником.

Три года воспитывал Виллон в себе силы к мирной деятельности и к жизни, стремящейся вознести сердце ввысь, пока однажды чума не овладела всей этой страной и не унесла с собою принцессу.

При ее погребении Виллон стоял возле гроба. Долго он вглядывался, устремив к ней всю мысль, — и вдруг явственно увидел встающее ему навстречу ее лицо, сквозь камень саркофага, под которым она покоилась, сквозь крышку гроба, — и это лицо озаряло Виллона. Но образ этот медленно рассеялся и принял иной вид, который Виллон узрел с трепетом, пугаясь и закрываясь от него руками. Ибо память говорила ему, что нижняя часть ее лица, особенно подбородок, явно напоминала Лобу. Но сияние около висков было как у герцогини Вантадрон.

Тогда он вырвался из толпы людей, одетых в траур, выбежал вон и ничего не понимал. Перед домом он внезапно воскликнул:

— О зачем, господи, женщины схожи между собой?

Глубоко взволнованный, он размышлял над этим, но в сущности у него остался только образ герцогини. Мысль о той, с которой он боролся, не покидала его. Он впал в упрямство и скитался по стране. О принцессе он больше не думал. Но лицо герцогини стояло перед ним, когда он путал волосы самой последней девки. Он бежал от этого. И лицо это утонуло, когда он напугал все силы для борьбы с ним.

Его время еще не настало.

Так влекло его к толпе, к простым людям, которых он оставил позади, в тихой жизни. Только кровь управляла его жизнью. Иной раз он начинал хвалить господа, а к ночи уже снова поносил его.

Странствуя, он вернулся в Геную.

Он пробрался к своему дому. Когда он увидел, что дом уже занят другими людьми, он почувствовал облегчение. Он не расспрашивал о женщине, с которой он здесь прожил долгие годы. Это его не беспокоило. Пусть бы она ушла и из этой жизни, как ушла из его воспоминаний. Он брался за ту и за другую работу, но удачи не было, потому что у него мало было охоты. Однажды ночью он отвязал лодку, поспившую имя одного его знакомого распутника, и поехал в Марсель.

Уже более зрелый, с слегка поседевшими висками, вступил он теперь на родную землю. Выгодно продав лодку, он снял маленький домик. Он решил остаться здесь, приглядеться. Вскоре он снял нарядное платье, которое носил. Он приобрел синие штаны, шерстяную одежду и красные сафьяновые сапоги, надел пояс и шапку. Он слишком хорошо знал восток, чтобы не взять над ним верх в торговых делах. Через его руки проходил всякий двусмысленный груз: свинина, женщины, ткани, — все равно что. Он начал косить глазами и потирать руки. Часто отвечивал он поклонны кому придется. Арабы боялись его. Испанские евреи звали его грозным перстом.

Однажды он принес в замок кружева и камни. Он увидел Лобу, но она не узнала его.

Она стояла посреди комнаты, поширевшая, бездетная. Серый мех холодно окаймлял ее одежду. В темных волнистых волосах гордо поднимались султаны из удивительных стрел дикобраза. Она сказала ему, чтобы он живей поворачивался.

Подойдя, он низко склонился перед ней. Пока она выбирала, он разглядывал ее снизу, услужливый, кося глазами. Он оставался равнодушен к ней. Он с удовольствием думал о тонкой девушке-дыганке, которая была молода и посещала его в назначенное время. Он запросил с Лобы неслыханную цену и ушел, скрежеща зубами от радости мщения.

В парке он пробормотал один раз: «Жуа-Нуэль!»

Во дни молитвы, когда торговля была воспрещена, прибыли спаньолы, которые торопились выгрузиться, и предлагали ему купить

товар на выгодных условиях. Рано утром он прошел на их корабль. Пока он разглядывал на палубе кожи, на соседней лодке поднялся крик, этот крик подхватили кругом. Какая-то женщина, склонясь на колени, обняла руками якорь. Подле нее матросы с любопытством глядели в воду. Он посмотрел в том же направлении—и его глаза встретили голову маленького ребенка, всплывшую над водой; встряхнувшись, он спрыгнул в воду и вытащил ребенка.

Когда он высоко, обеими руками поднял дитя, солнце осветило бледное детское лицо—и вот, внезапно голова выросла и стала восходящим, нежным и проявляющимся лицом герцогини.

Мать извивалась перед ним, но он не видел ее.

Он тотчас же устремился в бегство. Проездом он жил в Каркасонском округе, странствовал по области альбигойцев. Одну зиму он прожил в замке Гелак, а летом кормил ланей и белок в замке Фанжо.

В качестве посла одного провансальского порта отправился он с золотыми кольцами, с белыми и черными лентами на север. Ни одно место не привлекало его. Неутомимость его все возрастала. Иной раз, когда он был среди мелких людшек, в их звериной жизни, страсть с воплями влекла его прочь от них, к высшему. Из замковых же покоев глухое стремление тянуло его вниз.

Под вымышленным именем он пришел к герцогу бургундскому. Он взял себе титул некоего триполитанского дворянина. Он говорил на генуэзском, неаполитанском и восточных языках. Его песня владела всеми французскими наречиями. Снова безмерная предприимчивость овладела им. Это помогло ему быстро достигнуть близости герцога. Он тянул за собой железную цепь врагов и в то же время ловко разрушал кольцо, окружавшее герцога. А тот осыпал его вниманием и милостями.

Он стал незаменим для празднеств и совещаний. Он призвал мастеров из Александрии, которые сделали бургундский дворец первым по роскоши. Он добыл герцогу обезьян для будуаров его дам. Для клеток у портала дворца доставил он танцующих медведей. Зверинец наполнил он львами; в ржово-красные вечера, если герцог бывал в хорошем расположении духа, этим львам давали на растерзание фламандских быков.

Он пожаловал Виллона Золотым Руном.

Когда он бывал пьян, он обливал Виллона вином и бил его, того самого Виллона, который обычно, сверкая, скакал во главе его кавалькад.

Но чем выше поднималась внешняя жизнь Виллона, тем сильнее страсть гнала его прочь. Его волосы понемногу бледнели на властной голове—и стремление к покою тихо вошло в него. Но он повиновался гнавшей его неутомимости,—это было словно бы послушание невидимой звезде, которая магически влекла его из неведомой темноты.

Его ночи стали короче. Сон стал дряблым. Он принуждал себя, тянул.

Затем он сдался и выехал из этого города. Куда, он не знал. Так он прибыл в Париж.

Он въехал туда верхом. Голова его гудела. То был город Виллона, сады юности, переулки и таверны. Он ничего не понимал, ехал.

Его лошадь остановилась. Это, как лунатика, пробудило его от беспамятства. Он видел все сквозь облака и воспоминания.

Конь его остановился перед дворцом герцогини. Но она не проходила уже вдоль золоченой решетки. Никакого движения не было в полуденном саду. Он подождал и повернул назад.

С прыгающими губами бушевал он по городским погребам и кабакам. Для многих он был потешным зрелищем в эти дни розысков и скитаний. С орденом Золотого Руна появлялся он в трущобах среди пропившихся актеров и убийц. Жадность увидеть, выспросить о старом, знакомом, неутомимо гнала его. Но он не встретил ни одной души, ни одной головы, которые были бы ему знакомы. Привычными и все же несказанно далекими—потому что не было людей—были для него скамьи, вывески, комнаты, лица. Собор богородицы он отогнал от себя, пораженный ужасом.

Герцог Вантадрон давно умер. Никто не знал о его жене.

Но ее улыбка, как луна, стояла над Виллоном, светлая и нежная. Однажды ночью он не удержался, прокрался по дороге через сад к задней стороне дворца, вломился, скитался там всю ночь. Под утро в нем забила ключом злоба, так что он схватил пинагу и, крича от страсти, крушил все в комнате, где она должна была спать.

Потом он потерял сознание, и когда пришел в себя, в нем была только огромная усталость и стремление к тишине. Много дней пролежал он на кровати в своей гостинице, размышляя, спал и созерцал садовые деревья, за которыми простиралось голубое небо и цветущие звезды. Потом он встал, позвал нищих и кабацких завсегдатаев и роздал им свои одежды. Свое золото он зашил в плащ. Только металл Золотого Руна сохранил он на груди под серым дорожным платком. Он позабыл уплатить то, что был должен. С утомленными глазами, почти спокойный внутренне, пустился он снова по свету.

Через несколько дней он пришел к монастырю, расположенному в плодородной долине. Неподалеку, на горизонте, так что солнце по утрам окутывало блеском купола, реяли белые здания другого монастыря. Воздух был ясен и ласков, пахло цветами и тишиной.

Тогда Виллон удержал свои стопы—стопы странника—и порешил окончить здесь свою жизнь. Подле монастыря было общежитие для светских людей, которые предавались уединению, искали бога и разделяли монашеские уставы, не будучи монахами. К ним, пришедшим из мира, присоединился Виллон, ибо запах монахов и тонзур раздражающе бил ему в нос, а желание мира в его душе еще не победило его инстинктов.

Он помогал привратнику, который весь распух от подагры, так что суставы у него были скованы, и двигаться могли только глаза и четыре пальца левой руки.

Его любовью был сад. Когда он просыпался по утру, он смотрел через грядки и долину на другой монастырь, который вылапался из тумана. Потом он поднимался и поливал, пока была тень и солнце еще не начало низвергать зной. Ножом и ножницами умирал он тощий виноградник, окапывал корни и с влажным от пота лбом таскал тяжелые лейки вверх на холм. Он заведывал птичником и откармливал птиц, посылая им зерна, и посылал дары — жирных кур — в другой монастырь. Он часто помогал делать сыр. Не раз ловил он выдр и жарил их, и однажды утром в саду появилось нежное вишневое дерево, о котором никто не знал, откуда оно взялось.

В свободные послеобеденные часы, он спокойно расхаживал длинными мерными шагами между гряд. Он смотрел на ящериц, которые грели коричневые головы на раскаленных до бела камнях; под бузиной, там и здесь, сидели жабы.

Казалось, что над его жизнью опустилась последняя тишина.

И вот тогда близ монастырского общежития разбили табор дыгана. Ночью клирики видели пьяного Виллона — он судорожно плясал в огненных отсветах. Позднее он пронесся по дому, разбил запоры и наполнил дерков сатанинскими криками. Он перепахал алтарные покровы, изрыгая слишком изобильно вышитое вино.

Все были так поражены, что почувствовали к нему сострадание.

Аббат отпустил ему грехи, даже не заставив его каяться.

Виллон размышлял целыми днями, потом пошел в келью аббата:

— Я украл вишневое дерево, ночью в соседнем монастыре, — сказал он и указал на белые стены на горизонте.

Аббат спокойно приказал ему отнести дерево обратно.

Тогда Виллон взревел: «Накажи меня!» и забарабанил кулаком в грудь. Аббат, улыбаясь, отказал ему в этом.

— Зачем? У тебя есть благие пожелания, — хладнокровно ответил старик.

Но прежде чем оставить келью, Виллон постоял еще некоторое время, растянув брови к вискам и неподвижно глядя.

Когда в полдень, держа в руке трепещущее вишневое дерево, он приблизился к женскому монастырю, в открытую дверь он увидел: через двор шла настоятельница.

Тогда преломилось его сердце, так что он вскрикнул, и блаженство так вознесло его, что он начал рвать на висках волосы и кричать.

Но она только обернулась к нему лицом. Оно было молодо и сияло. У нее были седые волосы. Это была Герцогиня.

Она не удивилась. Она только улыбнулась и сделала знак служительнице, которая взяла у Виллона дерево.

Тогда он уж больше не кричал, но взволнованно склонился и не осмеливался подняться. Долго пробыл он так, ворота уже давно были закрыты.

В сумерках он поднялся и с пением: «Regina coeli laetare alleluja» — он пошел, простирая руки, к себе домой. Там он затворился и пел день и ночь. Казалось, над ним было сияние. Спустя некоторое время он вышел, как будто постаревший, но радостный, одухотворенный, и обратился к своей прежней деятельности.

Он не убежал.

Все оставалось неизменно. По целым неделям бывало так, что он лишь мельком взглядывал на другой монастырь. Он меньше говорил со своими товарищами. Однажды в полдень, когда они сидели за трапезой, появился некий знатный дворянин от бургундского двора, и велел трубить в рог.

Вышел Настоятель. Но посол хотел одного Виллона, которому он привез приглашение вернуться обратно.

— Женщины и львы рычат по тебе, — крикнул он наверх в окно Виллону, который принимал его таким образом. Но Виллон сказал:

— Дай им жрать, — и прежде чем уйти, смеясь, сделал знак рукой.

Спустя неделю он вышел ночью и больше не выдержал. Как такса, крался он вокруг другого монастыря. Его обостренное зрение воспринимало подъем каждой лестницы, колебание каждого светильника. Он скоро узнал комнату настоятельницы.

Потом он снова удалился надолго в свою комнату. Его единственными товарищами были два голубя, пятнистые, как соколы, с длинными хвостами. Они никогда не разлучались с Виллоном. Когда в светлые ночи он ходил по долине, они сидели у него на плече, и они танцевали вокруг него, когда он копал землю.

Однажды он изменил способ обращения с ними. Он внушил им свое желание, так, что они взлетали, бросались в лучистую высь и пропадали. Они знали, чего хотел Виллон.

Раза два в месяц он засовывал им в перья бумажку, на которой были написаны стихи. И вот, один раз его рука, принимая возвратившихся, с изумлением нащупала цветок.

Тогда он взял высшее, что у него осталось в жизни, он расстался с этим. Он снял со своей груди орден Золотого Руна и навязал его на голубя. Вернувшись в ту же ночь, птица, дрожа от резкого холода, принесла на конце крыла кольцо, сплетенное из волос.

Но белизна волос так поразила Виллона, что он больше никогда не отваживался посылать с голубями вещи. Что другое могло быть, что превышало бы бесконечность этого чувства?

Через год настоятель дал ему поручение пойти и переговорить с настоятельницей об органе.

— Это по твоей части, — сказал он и отвернулся к бумагам. Виллон медлил. Он встряхнул головой.

— Я не хочу.

Тогда настоятель оглянулся назад и внятно сказал:

— Ты должен.

Когда прозвучали эти слова, сила звенела в них, так, что Виллон, уступая, поклонился и вышел.

У решетки встретил он настоятельницу. Опустив взор, передал он приказание и, зашнуровавшись, объяснил дело. Она не ответила. Одной рукой, подняв ее до уровня плеча, она держалась за решетку и глядела на Виллона. Он прислонился к железу с другой стороны. Потом он поднял взгляд и встретил ее глаза.

Когда это произошло, рот его исказился. Тьма обвила его чело и заслонила ее. Он хотел поблагодарить за то, что она сделала ему добро в жизни, но ему казалось это непостижимым — пошевелить губами, и все же из того блаженства, которое его сотрясало так, что железо дребезжало под его плечом, восстал в его смятенных чувствах одно мгновение его юности. Он сказал:

— Когда я ребенком пел псалмы...

Она подождала еще мгновение, приветливо улыбаясь, но его рот больше не мог справиться с потоком чувства — поток этот стал огромным, набух, Виллон бормотал что-то в воздух.

Он увидел ее еще раз издали — она уже шла через двор. Она обернула лицо к воротам и легко указала пальцем вверх, не пошевелив рукой.

Он знал, что он больше никогда ее не увидит. Это было в последний раз.

Только одни голуби летали к ней, пока в конце лета тяжелый камень, сорвавшийся с балок, не раздробил ей затылок; она в этот момент молчала. Десять монахинь, прямых, в белом полотне, отнесли ее гроб в большую церковь мужского монастыря. Когда процессия шла мимо, небо погасло. Тьма устремила к черте горизонта, плотно прильнула к земле и погнала ночь и туман перед собой, которые, рыча, кружились.

Тогда закрылись церковные двери. Виллон поднял голову — он стоял у своего окна — и увидел солнце в лучистом венце, зубцы которого соприкасались со всем миром. Наступил вечер.

Виллон пошел вдаль. Но чем дальше он шел, тем легче несли его ноги, и жнивье растиралось, как волны шелка. Леса внизу за рекой волновались в темноте синих сумерок. Он думал о Жуа-Нувель, так как множество мышей шныряло по земле.

Из хижин, обвитой горошком, вышла девушка с мотыжкой. Его взгляд упал на ее легко выпнутые бедра. Горбатая дуга грудей выныривала из-под платка, и ноги стояли кругло, туго охваченные юбкой. Он отвернулся прочь, в сумерки, которые уже затягивали лес, и стали краснокоричневыми, потом его взгляд опять упал назад. Он еще раз отвернул голову. Но в нежности этого необычного года его кровь набухла и бунтовала.

Все же он поборол себя и говорил себе трепеща: «Смерть герцогини, смерть герцогини...» Но слова были беззвучны. Он так задушил свою скорбь, что она не могла восстать — даже если ее будили. Он еще раз притиснул все свое сознание, как печать, чтобы заставить себя думать: она лежит под церковью, процессия, ладан, кричащая смерть.

Но все это оказалось недостаточно крепко.

Его рука схватила девушку, и кровь его рванулась к ней, как ни к одной женщине.

Ночью он возвратился, моля звезды, чтобы они убили его. Он пошел в зверинец и отвязал собак, которых приучал к охоте на волков. Они раскрыли кровавые пасти. Но ни одна не бросилась на него, как он ни подставлял им горло.

Тогда ему показалось, что его сердце должно само рвануться и лопнуть от скорби и отчаяния. Он надел власяницу, повязал вокруг шеи веревку, лег на посыпанный пеплом пол — и так стал ожидать смерти.

После третьего часа ночи, так как он все же был жив, он поднялся в еще большем отчаянии и проскользнул к церкви. Там он прислушался. Потом отбросил смущение и, поднявшись, толкнул дверь ногой и вошел. Открытый гроб стоял среди восковых свечей. Чужой монах служил литию. Виллон взглянул и сурово показал ему рукой, чтоб он вышел.

Виллон приставил ему к животу нож.

Тогда суровое лицо монаха разлилось в сострадание:

— Ты наверно несчастен, — сказал он.

Виллон, вне себя, не обращая на него внимания, взвыл, как собака, кинулся поперек гроба и так замер.

Каждые четверть часа монах запевал псалом, но это не отгоняло Виллона. Вдруг он вскочил и, потрясенный обликом умершей, вскричал:

— Заткни глотку, крикун! Молчи! Дай мне ответ: возможно ли любить эту женщину и в вечер ее смерти обнимать девушку? Возможно ли это?

Он грозил. Его голос дрожал, и он бессильно стучал носком ноги в пол.

— У тебя есть благочестие, — сказал монах.

— Оно не помогает, — вскричал Виллон упрямо, в последнем гневе. — Я читал Триполитанскую святую и назвал ее курвой — это я выдохнул вот этим же самым моим смердящим дыханием. Доброта герцогини осеняла меня, но я крад и убивал.

— Не волнуйся. Я знаю твою жизнь, — сказал монах.

Он спустился вниз, гася свечи, и когда он внизу обернулся, его фигура слилась со сводом, его ряса реяла вокруг него, как темный колокол, и вросла в каменные ребра храма. Перед глазами владимирами его огромной головы клубились тени ладана. Когда же, стоя

на клиросе, он возвысил голос, он снова стал малого роста, обычным, как прежде, но то, что он начал говорить, было так ужасно в его устах, что эхо ослепительно разбивалось в гудящей церкви.

То, что он говорил, означало:

— Ты почти достиг бога.

Но Виллон на это ответил совершенно спокойно:

— Ты прав, но я больше не хочу. Мне не одолеть вот этой ничтожной последней пяди. Мне не удастся завоевать бога. Тебе известно это, если ты знаешь меня. Пусть бог придет ко мне, ибо он может преодолеть мою кровь, а я нет. Пусть бог растет во мне, пока не созреет. Я не хочу ему мешать и препятствовать ни молитвой, ни размышлением. Пусть все идет само собой. Я очистил себя от шелухи моей крови. Пусть бог меня ищет. Я больше не ищу его. Я жду.

И даже великий зов ангелов во сне, который повелевал ему позволить влечь себя к свету, слышен ему был сквозь шум крови, — так был положен ему закон.

Он встал, сложил герцогине руки крестообразно на груди. Потом он взял елей и миро — и помазал ей голову, как новорожденной.

Эти места он покинул. Здесь он не мог больше жить.

Он обернулся еще раз, и как некогда он простер руку по направлению к Парижу, так теперь он поднял ее, обращаясь ко всей своей жизни, но не с угрозой и гневом, а с отрицанием. Она не привела его ни к какому великому завершению, поэтому она не имела для него цены, как ни была она полна и богата.

Но это было для него уже несущественно, ибо он больше не стремился к борьбе.

Тяжко опустившись на твердую скамью лодки, он погрузил весла в воду и поплыл... Чтобы жизнь катила через него свои волны, пока ему еще хватает дней; чтоб крестьянин под забором приколот его, вилами, или бог вознес его в огненной колеснице вместе с Ильей. Ибо все то, что еще предстояло до окончательной развязки, было ему безразлично, и у него не было никакой цели. У него не было никакого желания. Только стремление к ясности и маленькое любопытство относительно конца.

Перев. с немецкого

М. Н. Елагина

Р. КИПЛИНГ

ЗАПОВЕДЬ

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянушей за смятение всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушной и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопи с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседа с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, —
Тогда весь мир ты применишь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Перев. с английского

М. Лозинский

ЯКОБ ВАН ХОДДИС

УТРОМ

Сильный ветер взвился вверх.
Открывает железного неба кровавые двери.
Бьется о башни.
Ясно-звонко, быстро-звучно над медной равниной городской.
Утреннее солнце закоптелое. На дамбе ревут локомотивы.
Ангельские золотые плуги ходят в облаках небесной нивы.
Сильный ветер над городом бледным.
В грязном теченье проснулся пароходов и лебедек хор.
Раздраженно бьет в колокола изветрелый собор.
Много женщин ты видишь и девушек — на работу спешат.
В бледном свете. Пьяны от ночи. Их платья летят.
Для любви создано тело, —
Ждет их машина и угрюмый труд.
Посмотри, как нежен рассвет.
Как деревья нежно цветут.
Слышишь — чирикают воробьи?
А там на полях одичалых —
Поют жаворонки...

Перев. с немецкого

О. Брошниковская

О. ГЕНРИ

КОРОЛИ И КАПУСТА

(Продолжение)

V

ДЕНЕЖНАЯ ЛИХОРАДКА.

С энтузиазмом взялось новое правительство Анчурин осуществлять свои права и выполнять обязанности. Первым делом оно послало в Коралио своего представителя с поручением разыскать во что бы то ни стало казенные деньги, похищенные злополучным Мирафлоресом.

Полковник Эмилио Фалькон, личный секретарь нового президента Лосады, был командирован по этому важному делу в Коралио.

Быть личным секретарем у тропического президента не легко. Нужно быть и дипломатом, и шпионом, и деспотом, и телохранителем своего господина. Нужно ежеминутно вникать, не пахнет ли где революцией. Часто президент только ширма, а подлинный хозяин страны — секретарь. Мудрено ли, что когда президенту приходится выбирать секретаря, он выбирает его куда осторожнее, чем любовницу или жену.

Полковник Фалькон, человек изящный, обходительный, тонкий, с деликатными манерами, истый кастильянец, приехал в Коралио искать потерянные деньги — по холодным следам. Он основал свою главную квартиру в одной из комнат летнего дворца. Здесь около недели велось неофициальное судебное следствие, сюда были приглашены те, кто своими показаниями могли осветить финансовую трагедию, которую сопровождала другая трагедия, помельче: смерть президента.

Двое или трое были уже допрошены — и среди них дырявый Эстабан, снова подтвердивший, что самоубийца был действительно президент Мирафлорес.

— Конечно, это был он, президент. Подумайте. Можно ли брать человека и не видеть его лица? Он позвал меня для бритья к себе

в хижину. У него была борода, черная и очень густая. Вы спрашиваете, видел ли я президента до той поры? Почему бы и нет? Я видел его один раз в карете. Он ехал из *ваноры* в Солитасс. Когда я побрил его, он дал мне золотую монету и просил не говорить никому. Но я — либерал, я преданный друг моей родины, и я сейчас же рассказал обо всем сеньору Гудвину.

— Мы знаем, — вкрадчиво сказал полковник Фалькон, — что покойный президент имел при себе кожаный саквояж, содержащий большую сумму денег? Видели ли вы этот саквояж?

— По совести, нет! — отвечал Эстабан. — Свет в хижине был тусклый: маленькая лампочка, при которой даже брить было трудно. Может быть и был саквояж, но, по совести, я его не видал. Была также в комнате молодая дама, сеньорита большой красоты — это я мог заметить даже при маленьком свете. Но деньги, сеньор, или саквояж — нет, этого я не видал.

Команданте и другие офицеры показали, что их разбудил и поднял на ноги звук пистолетного выстрела в Отеле-де-Лос-Эстранхерос. Поспешив, чтобы спасти честь и спокойствие республики, они увидели человека, лежащего на полу, без признаков жизни, с зажатым в руке пистолетом. Возле него была молодая женщина, горько рыдавшая. Сеньор Гудвин также находился в этой комнате. Но никакого саквояжа они не видали.

Мадам Тимотеа Ортис, владелица отеля, где была сыграна «Лисица на рассвете», рассказала, что такого-то числа в ее Отеле оставились два гостя.

— В мой дом они пришли, — сказала она: — сеньор не совсем старший, и сеньорита довольно хорошенькая. Они не пожелали ни есть, ни пить — отказались даже от моего *авардиенте* — который у меня самого первого сорта! В свои комнаты они поднялись — в *номеро нуэво* и *номеро диэс*. Вскоре пришел сеньор Гудвин, который поднялся к ним, чтобы поговорить о делах. Потом я услышала страшный шум, вроде выстрела из пушки, и мне сказали что *побрэ* (бедный) *Президентэ* застрелился. *Está bueno*. Никаких денег я не видала, а также не видала той вещи, которую вы называете *саквояж*.

Полковник Фалькон скоро пришел к убеждению, что, если кто из жителей Коралио может дать ему путеводную нить для отыскания денег, так это, несомненно, Франк Гудвин. Но Гудвин был мощной опорой для новых властей, с Гудвином нужно было обращаться деликатно и бережно: нельзя было набрасывать тень ни на его храбрость, ни на его личную порядочность. Даже всемогущий секретарь президента, и тот не осмеливался призвать к допросу этого каучукового принца и барона бананов — словно рядового обывателя, поэтому он отправил Гудвину в высшей степени цветистое послание, где мёд так и капал со всех лепестков, и просил Гудвина осчастливить его: назначить ему свидание. В ответ на это, Гудвин пригласил его к себе отобедать.

За час до обеда американец отправился в летний дворец и дружески задушевно приветствовал гостя. Потом перед вечером когда наступила прохлада, они оба пошли потихоньку за город в дом Гудвина. Американец извинился и оставил полковника в просторной, прохладной, хорошо занавешенной комнате, где был такой гладкий узорчатый пол, что ему позавидовал бы любой миллиардер в соседних штатах. Он направил свои шаги к противоположному крылу дома, в просторную комнату, выходившую окнами на море. Широкие жалюзи были открыты, в комнату врывается ветерок с океана, — невидимый источник прохлады и здоровья. Жена Гудвина сидела у окна и писала акварелью морской вид.

Вот женщина, которая казалась счастливой. И даже больше, она казалась довольной. Если бы какой-нибудь порт захотел изобразить ее главное очарование, он сравнил бы ее серые чистые большие зрачки, обведенные яркой белоснежной каймой, — с подсолнечниками. Он не нашел бы в ней ни малейшего сходства с богинями, традиционные чары которых сделались холодно-классическими. Нет, ее красота была не олимпийская, но эдемская, райская. Вообразите себе Еву, которая после изгнания из рая зажгла страстью влюбчивых воинов, и мирно и кротко входит обратно в рай: не богиня, но женщина, в полной гармонии с окрестным Эдемом.

Когда ее муж вошел в комнату, она подняла глаза, и губы у нее полуоткрылись. Веки задвигались и задрожали, как (да простит нас поэзия!) хвостик у верной собачки; и вообще вся она затрепетала, как плачущая ива под еле заметным дуновением ветра. Так она всегда встречала мужа, как бы часто они ни видались. Если бы те, кто порою за стаканом вина вспоминали старые истории о сумасбродной жизни Изабеллы Гильберт, видели ее сегодня вечером в мирном ореоле счастливой жены, они либо перестали бы верить этим живописным рассказам, либо согласились бы забыть их на веки. Странно было думать, что это та самая женщина, ради которой покойный Мирафлорес пожертвовал и родиной, и добрым именем.

— Я привел к обеду гостя, — сказал Гудвин, — некий Фалькон из Сан Матео, полковник. Он пришел по казенному делу. Едва ли тебе хочется видеть его, и потому я прописал тебе спасительную женскую мигрень.

— Он пришел расспросить тебя об утерянных деньгах, не правда ли? — спросила миссис Гудвин, снова принимаясь за этюд.

— Ты угадала, — ответил муж. — Вот уже три дня, как он применяет инквизиторские пытки к туземцам. Теперь дошло дело до меня, но так как он боится призывать к суду и расправе одного из подданных Дяди Сама, он решил превратиться из судьи в визитера и допрашивать меня за обедом. Он будет терзать меня пытками за моим собственным вином и десертом.

— А сказал ли ему кто-нибудь, что у президента был в руках саквояж?

— Никто. Даже мадам Ортис, у которой такой зоркий глаз насчет контрабанды — и та не помнит, что у него был багаж.

Миссис Гудвин положила кисть и вздохнула.

— Мне так совестно, милый Франк, — сказала она, — что из-за этих денег у тебя столько хлопот. Но ведь мы не можем сказать правду, не так ли?

— Еще бы, — воскликнул Гудвин и передернул плечем, как делали здешние жители, у которых он и перенял этот жест, — мы были бы большими глупцами. Хотя я и американец, они посадили бы меня в калабосу, если бы узнали, что этот саквояж похищен нами. Нет, мы должны заявить, что мы знаем обо всем этом деле не больше, чем все остальные невежды в Коралино.

— А не думаешь ли ты, что этот человек подозревает тебя в присвоении денег? — спросила она, сдвинув брови.

— Я бы ему не советовал! — небрежно отвечал ее муж. — Как хорошо, что никто, кроме меня, не видал саквояжа. Так как во время выстрела в комнате был только я, то естественно власти с особым вниманием захотят исследовать мою роль в этом деле. Но беспокоиться нечего. Этот полковник отлично покушает и на закуску получит порцию американского блефа. Этим все дело и кончится.

Миссис Гудвин встала и подошла к окну. Гудвин последовал за нею, и она беспомощно прислонилась к нему, как бы ища у него поддержки и защиты.

Прямо перед ними, сквозь тропические ветви лиан, виднелась расчищенная поляна у края болотной трясины. У другого конца этого воздушного тоннеля они могли видеть могилу, украшенную деревянной колодой, на которой было начертано имя президента Мирафлореса. В дождливую погоду миссис Гудвин смотрела на могилу из этого окна, а когда небеса улыбались, она выходила в тенистые, зеленые рощи, разведенные на плодородных холмах ее сада, и тоже не спускала глаз с могилы; на лице ее появлялось тогда выражение нежной печали, которая, впрочем, едва ли могла омрачить ее счастье.

— Я так любила его, милый Франк. Я любила его даже после этого страшного бегства, которое кончилось такой катастрофой. И ты был так добр со мной и сделал меня такой счастливой. Но все запуталось, все стало неразрешимой загадкой. Если дознаются, что мы взяли эти деньги себе, как ты думаешь, у тебя не потребуют, чтобы ты возместил эту сумму сполна?

— Без сомнения, — отозвался Гудвин. — Ты права, это действительно загадка. И пусть она останется загадкой для Фалькона и его соплеменников. В свое время придет и отгадка. Мы знаем в этом деле больше всех, но и мы не знаем всего. Пусть же люди думают, что президент припрятал эти деньги в горах во время своего путешествия, или что ему удалось отправить их на пароходе, прежде, чем он прибыл в Коралино. Не думаю, чтобы Фалькон подозревал, что эти деньги

присвоил я. Он ведет следствие очень ретиво, но и он не найдет ничего.

Такова была их беседа. Если бы кто посмотрел на их лица в то время, как они совещались о погибших финансах Анчурии, всякого поразила бы вторая загадка — ибо и на лицах, и на всей осанке супругов лежал отпечаток британской гордости, честности, благороднейших мыслей. В спокойных глазах Гудвина, в выразительных чертах его лица, казалось, воплотилась душа бесстрашная, справедливая, добрая. Его слова были в живом противоречии со всем его внешним видом.

Обед был сервирован для Гудвина и его гостей в *patio* (двор) под прохладной тенью листвы и цветов. Американец извинился перед знаменитым секретарем: миссис Гудвин никак не могла выйти к обеду, так как у нее от легкого *calentura* (лихорадка) болит голова. После обеда они, согласно обычаю, не встали из за стола. Им подали сигары и кофе. Полковник Фалькон с истинной кастильской деликатностью ждал, чтобы хозяин сам заговорил о том деле, ради которого они сегодня встретились. Ему не пришлось долго ждать. Едва появились сигары, американец первый коснулся этой темы и спросил у секретаря, удалось ли ему набрести на след потерянных денег.

— Увы! — признался полковник Фалькон, — я еще не нашел ни одного человека, который видел бы в руках у президента саквояж. Но я не теряю надежды. В столице твердо установлено, что президент Мирафлорес выехал из Сан-Матео, имея при себе сто тысяч долларов, принадлежащих правительству. Его сопровождала синьорита Изабелла Гильберт, оперная певица. Наше правительство не желает поверить, — заключил полковник с улыбкой, — что вкусы нашего покойного президента могли бы позволить ему расстаться по дороге с какою-нибудь из этих двух драгоценностей.

— Я полагаю, вы желали бы узнать от меня все, что мне известно по этому делу, — сказал Гудвин, прямо, подходя к самой сути. — Мое показание будет короткое. В тот вечер я вместе с другими друзьями стоял на страже, поджидая президента, так как о его бегстве я был извещен телеграммой. Около десяти часов я увидел господина и даму, которые очень быстро шли по улице. Они подошли к отелю де Лос-Эстранхерос и сняли там комнаты. Я последовал за ними на верхний этаж, оставив Эстебана, вместо себя, на улице. Эстебан рассказал мне, что он только что сбрил президенту бороду, так что я не был удивлен, когда увидел Мирафлореса без бороды. Когда я обратился к нему от лица народа, с требованием возвратить народное добро, он вынул пистолет и застрелился. Через несколько минут, на месте выстрела уже толпились офицеры и многие здешние жители. Все дальнейшее вам, несомненно, известно.

Гудвин замолчал. Его гость тоже не произнес ни слова, как бы показывая, что он ждет продолжения.

— И теперь, — продолжал американец, прямо глядя в глаза собеседнику, произнося каждое отдельное слово с особым ударением, — пожалуйста, запомните то, что я сейчас вам скажу. Я не видел никакого саквояжа, никакого ящика, сундука, чемодана, в котором хранились бы деньги, принадлежащие республике Анчжурии. Может быть, президент Мирафлорес скрылся с деньгами, принадлежащими казначейству этой страны, или ему самому, но я не видел никаких следов этих денег. Ни в гостинице, ни в каком другом месте, ни в то время, ни в какое другое. Мне кажется, что этим показанием вполне исчерпываются все вопросы, которые вам было желательно мне предложить.

Полковник Фалькон поклонился и описал своей сигарой затаенный и широкий зигзаг. Он считал свой долг исполненным. Спорить с Гудвином не подобало. Гудвин был опорой правительства и пользовался безграничным доверием нового президента. Его честность была тем капиталом, который создал ему состояние в Анчжурии.

— Благодарю вас, синьор Гудвин, за ваш ясный и прямой ответ. Президенту достаточно вашего слова. Но, синьор Гудвин, мне приказано выследить всякую нить, которая может привести нас к решению вопроса. Есть обстоятельство, которого я до сих пор не касался. У наших друзей французов, синьор, есть пословица: *ищите женщину* — для разрешения неразрешимых загадок. Но здесь даже искать не приходится. Женщина, которая сопровождала президента во время его злополучного бегства, несомненно, должна...

— Я должен остановить вас, — сказал Гудвин. — Действительно, когда я вошел в отель, чтобы задержать президента Мирафлореса, я встретил там даму. Но я позволю себе напомнить вам, что теперь она моя жена. То, что я сказал от своего лица, я сказал и от лица моей жены. Ей ничего неизвестно о судьбе саквояжа или денег, о которых вы хлопочете. Скажите президенту, что я ручаюсь за ее невиновность. Едва ли я должен прибавить, полковник Фалькон, что я не хотел бы, чтобы ее подвергали допросу и, вообще, беспокоили.

Полковник Фалькон поклонился опять.

— Боже сохрани! — воскликнул он. И чтобы показать, что допрос кончен, он прибавил:

— А теперь, синьор, покажите мне тот морской вид с вашей галереи, о котором вы сегодня говорили. Я большой любитель морских видов.

Вечером, в ранний час, Гудвин проводил своего гостя в город и оставил его на углу Кале Гранде. Когда он шел домой, из двери одной пивной к нему выскочил с радостным видом Вельзевул Блиси. У Блиси были манеры придворного и внешний облик огорожденного чучела. Блиси наименовали Вельзевулом, чтобы отметить, как велико было его падение. Некогда он обитал в горних кущах потеряннотого рая, но предался аггелам земли. Судьба швырнула его вниз головой в эти тропики и зажгла в его груди огонь, который редко ему удавалось

гасить. Это был идеалист, старавшийся рассеять скучные истины жизни при помощи водки и рома. Как и подлинный павший ангел, который, должно быть, во время своего страшного падения в бездну, с безумным упрямством зажимал у себя в кулаке райскую корону или арфу, так и этот держался за свое золотое пенсне, как за последний признак своего первородства. Это пенсне он носил с удивительной важностью — слоняясь по берегу и вымогая у приятелей монету. Посредством каких-то таинственных чар его пунцово-пыльное лицо было всегда чисто выбрито. С большим изяществом он поступал в прижимальники к любому, кто мог обеспечить ему ежедневную выпивку, укрыть от дождя и полуденной росы.

— Эй, Гудвин, — величественно крикнул пропойца, — я так и думал, что увижу вас. Мне нужно сказать вам по секрету два слова. Пойдем куда-нибудь, где мы могли бы поговорить. Конечно, вы знаете, что тут болтается приезжий офицер, который розыскивает пропавшие деньги старика Мирафлореса.

— Да, — сказал Гудвин — я уже имел с ним разговор. — Пойдем к Эспаде, я могу уделить вам минут десять.

Они пошли в публичную и сели за маленький столик.

— Будете пить? — спросил Гудвин.

— Только бы поскорее, — сказал Блиси. — У меня с самого утра во рту засуха. — Эй, muchacho! Водки!

— А зачем я вам нужен? — спросил Гудвин, когда на стол была поставлена выпивка.

— Чорт возьми, милый друг! — сказал сильным голосом Блиси. — Почему вы омрачаете делами такие золотые мгновения?

Он опустошил свой стакан и жадно посмотрел в пустое дно.

— Выпейте еще, — сказал Гудвин. — Хотите второй стакан?

— По совести говоря, — отозвался падший ангел, — мне не нравится ваше слово «второй». Это не совсем деликатно. Но конкретная идея, которая воплощена в этом слове, мне нравится.

Стаканы были наполнены снова. Блиси с упоением потягивал вино и вскоре сделался идеалистом опять.

— Скоро мне пора уходить, — сказал Гудвин, — есть у вас какое-нибудь дело ко мне?

Блиси ответил не сразу.

— Старый Лосадо здорово припечет того вора, — заметил он, наконец, — который свистнул этот саквояж. Не правда ли?

— Несомненно, — спокойно ответил Гудвин и медленно поднялся со стула. — Ну, теперь я пойду. Миссис Гудвин одна. Вы так и не сказали мне вашего дела.

— Нет, — отозвался Блиси. — Когда будете проходить мимо прилавка, пошлите мне еще один стакан. И заплатите за все. Старый Эспадо уже не верит мне в долг.

— Ладно, — сказал Гудвин, — прощайте.

Вельзевул склонился над стаканами и вытер свое пенсне не внушающим никакого доверия платком.

— Я думал, что удастся, — сказал он. — Но, нет, не могу. Истинный джентельмен не может шантажировать того человека, с которым он пьет за одним столом.

VI

А ДМИРАЛ

Казалось, что правление Лосады, нового президента, сулит государству немало добра. Обойденные чиновники и фавориты из армии организовали новую либеральную партию и снова стали создавать всевозможные планы для свержения установившейся власти. Политическая жизнь Анчурии снова начала, как китайская пьеса, медленно разворачивать все те же и те же картины. У президента состоялось однажды неофициальное собрание министров. Они выпили дюжину бутылок шампанского, и в результате этого в стране появился флот, а Филиппе Карера был назначен его адмиралом. Шампанское, впрочем, не было единственной причиной возникновения флота. Не малую роль в этом деле сыграл новый военный министр Дон-Сабас-Пласидо.

Произошло это так.

Президент предложил кабинету рассмотреть скучнейшие дела. Сессия была вялой и нудной, и дела и вино были сухи. Потому-то в уме дон Сабаса неожиданно возникла веселая мысль скрасить эти скучные дела маленькой забавой. На повестке в порядке дня стояло донесение береговой полиции о том, что в городе Коралино таможенные захватили шлюпку с контрабандой: галантерейные товары, медицинские снадобы, сахар-песок и коньяк с тремя звездочками, а также шесть ружей системы Мартини и бочку американского виски! Так как шлюпка была схвачена в то время, когда она перевозила контрабанду, она по закону считалась собственностью государства. Начальник таможни в своем донесении осмелился отступить от строго-установленных правил и указал, что конфискованное судно могло бы послужить для нужд республики: это было первое судно, захваченное за все десять лет.

Судно, действительно, могло пригодиться. Чиновникам неоднократно случалось передвигаться вдоль берега по делам службы, и перевозочных средств у них уже давно не хватало. Кроме того, шлюпку можно было бы предоставить верным и надежным матросам, которые, в качестве береговой охраны, отбили бы у контрабандистов охоту заниматься столь неблагоприятным ремеслом. Начальник таможни позволил себе даже указать то лицо, которому, по его мнению, с великой пользой для дела могло бы быть поручено управление судном. Это молодой уроженец Коралино, некто Филиппе Карера. Правда, он не

слишком умен, но он предан правительству и сумеет управиться с судном лучше всякого другого.

Вот это-то указание и дало военному министру возможность спастись от скуки заседания при помощи забавной буффонады.

В конституции этой маленькой приморской банановой республики был такой полужабытый статут, который регулировал законы, относящиеся к основанию флота. Этот статут вместе с многими другими, такими же мудрыми, лежал до поры до времени безо всякого движения с первого дня основания республики. Характерно для военного министра дон Сабаса, что именно он страхнул пыль с этого дряхлого и спящего статута, ради того, чтобы в мире было немного больше веселья, чтобы его ретивые коллеги улыбнулись. Был он человек веселый, ученый, отважный и с прихотями. С великолепной притворной серьезностью он внес в Высший Совет предложение об основании флота. Он с таким веселым и остроумным пылом доказывал, что эта государственная мера покроет республику славой и сослужит ей великую службу, что его пародия по своей смехотворности превзошла даже ту чванную важность, которая отличала президента Лосаду.

Шампанское игриво кипело в жилах веселых сановников. Прежде не было такого обычая у солидных управителей Анчурии оживлять свои заседания этим напитком, который набрасывает всеизменяющий покров на всякое серьезное дело. Вино было не бескорыстным подношением от представителя фруктовой компании «Везувий», символом дружелюбных отношений между этой компанией и анчурийской республикой.

Шутка была доведена до конца. Был изготовлен внушительный официальный документ, украшенный печатями всех цветов радуги, а также развевающимися пестрыми лентами. На документе были кудрявые подписи всех анчурийских министров. Эта бумага давала сенатору дон Филиппе Карера звание флаг-адмирала республики, и Филиппе Карера получил право требовать салюта из девятнадцати пушек всякий раз, когда он появлялся в порту.

Южные расы не обладают тем особым юмором, который находит приятность в несчастиях и увечиях людей. Отсутствием этого юмора объясняется то, что они никогда не смеются, как смеются их братья на севере над юродивыми, сумасшедшими, больными, калеками.

Филиппе Карера был послан на землю с половиной ума. Поэтому жители Коралино называли его *бедный помешанный* и говорили, что Бог послал его на землю лишь в половинном размере и что другая его половина находится где-нибудь на небе. Величественный, гордый подросток Филиппе почти никогда не произносил ни единого слова. Его сумасшествие сказывалось лишь негативно. На берегу он обычно уклонялся от всяких разговоров. Он как будто догадывался, что на суше, где требуется столько различных родов понимания, ему лучше молчать, но на воде его единственный талант уравнивал его со всеми людьми.

Даже те мореплаватели, которых бог делал тщательно, не наспех, не в половинном размере, и те едва ли могли управлять парусной лодкой так ловко. Когда стихии бушевали и заставляли всех людей дрожать, тогда слабоумие Филиппе не мешало ему быть героем. Если он был несовершенный человек, он был совершенный моряк. Собственной лодки он не имел, но он работал среди грузчиков, которые целыми партиями возили фрукты на стоявшие вдали парходы. У этих грузчиков были свои шлюпки и шкуны, которые постоянно шныряли вдоль берега. Оттого-то начальник таможни и советовал предоставить в его распоряжение конфискованную шлюпку, что уважал его отвагу и талант, и кроме того он чувствовал к нему сострадание. Когда маленькая шутка дон Сабаса приобрела форму внушительного государственного акта, начальник таможни улыбнулся. Он не ожидал, что его предложение будет выполнено так скоро и в таких преувеличенных формах. Он послал курьера розыскать и привести адмирала.

Начальник таможни ожидал его в своей официальной резиденции. Таможня помещалась на Калле Гранде, и в окна к ней всегда врываются легкие морские ветерки. Начальник в белом костюме и в мягких суконных ботинках сидел за древним письменным столом, перебирая бумаги. Попугай, забравшись на подставку для перьев, смягчал скуку, исходящую от казенных бумаг, отборными и жгучими кастильскими ругательствами. С комнатой начальника были соединены две другие. В одной из них мелкочиновная рать, состоящая из юношей всевозможных оттенков кожи, исполняла с большой пышностью свои многообразные обязанности. В другой комнате можно было усмотреть бронзового младенца. Младенца нельзя было обвинить в пристрастии к какой-нибудь одежде, он нагишом катался по казенному полу. Тут же в гамаке худощавая женщина, такого цвета, как бледный лимон, играла на гитаре и с удовольствием раскачивалась под дуновением прохладного ветра.

Сочетая выполнение своих высоких обязанностей с видимыми знаками семейного счастья, начальник таможни чувствовал себя еще более счастливым, оттого что ему была предоставлена власть даровать счастье «неразумному Филиппе».

Филиппе пришел и встал перед начальником таможни. Это был юноша лет двадцати, довольно благообразный, но с выражением какой-то тяжести и пустоты. На нем были белые хлопчатобумажные брюки, украшенные по швам красными лампасами, в чем сказывалось смутное желание приблизиться к военной форме. Его синяя рубашка была открыта у ворота, ноги были босы, в руке он держал самую дешевую соломенную шляпу из Соединенных Штатов.

— Сеньор Карера, — сказал начальник важно, показывая пышную бумагу. — Я послал за вами по поручению самого президента. Этот документ, который ныне я передаю в ваши руки, возводит вас в чин адмирала нашей великой республики и предоставляет вам полную власть

над всеми морскими силами нашей страны. Вы, может быть, скажете, милый Филиппе, что флота у нас еще нет, но знайте: шлюпка «Ночная Звезда», отнятая у контрабандистов моими храбрыми и верными людьми, предоставляется в ваше полное ведение. Шлюпка будет служить государству. Вы должны быть готовы во всякое время перевозить чиновников по морю в любое место, куда им понадобится. Вы также будете посвящать свои силы охране берега от контрабанды. Вы будете поддерживать на море честь и престиж вашей родины и примете все меры, чтобы Анчурия заняла первое место среди морских держав всего мира. Вот инструкции, которые военный министр поручил мне сообщить вам. Клянусь богом, я не знаю, как вы исполните эту волю властей, так как в приказе министра ни слова не говорится ни о матросах, ни о суммах, ассигнованных на флот. Может быть, матросов вы должны добыть себе сами, сеньор адмирал, этого я не знаю, но все же вам оказаны высокие почести. Теперь я передаю вам этот государственный акт. Когда вы будете готовы принять под свою команду наше судно, я распоряжусь, чтобы оно немедленно было предоставлено вам. Других инструкций я не получил.

Филиппе взял из рук начальника бумагу, одно мгновение он смотрел в открытое окно на блиставшее море с обычным видом глубокого, но напрасного раздумья. Потом повернулся, не сказав ни единого слова, и быстро зашагал по горячему песчаннику улицы.

— Несчастный дурачок, — вздохнул начальник таможни, и попугай, сидящий на подставке для перьев, закричал: дурачок! дурачок! дурачок!

На следующее утро странная процессия потянулась по улицам и приблизилась к зданию таможни. Впереди был адмирал флота. Кое как ему удалось смастерить жалкое подобие военной формы, пару красных штанов, грязный синий короткий пиджак, обильно расшитый золотыми узорами, и старую солдатскую фуражку, которую должно быть бросил за ненадобностью какой-нибудь британский солдат и которую нашел Филиппе во время одного из своих плаваний. К его поясу была пристегнута пряжкой широкая морская короткая шпага, подаренная ему булочником Педро Лафитом, который утверждал с большой важностью, что он унаследовал ее от своего великого предка, знаменитого морского разбойника. За адмиралом шествовали его матросы, только что призванные на его корабль, — три вечно улыбающихся, лоснящихся черных кариба, обнаженных до пояса. Босыми ногами они поднимали целые тучи песка. В кратких выражениях с большим достоинством потребовал Филиппе у начальника таможни свое судно. Тут ожидали его новые почести. Супруга начальника, — та самая, которая весь день играла на гитаре и читала в гамаке романы, скрывала в своей желтой груди большую любовь ко всему романтическому. Она разыскала в одной старой книге изображение флага, который в незапамятные времена должен был сделаться морским флагом Анчурии.

Может быть, этот рисунок был исполнен еще родоначальниками нации. Но так как флота им создать не удалось — то и флаг погрузился в забвение. Старательно, своими собственными ручками, она изготовила флаг по рисунку: красный крест на сине-белом поле. Она поднесла его Филиппе с такими словами:

— Отважный мореплаватель, это знамя твоей родины. Будь верен ему и, если нужно, умри за него! Да сохранит тебя бог!

Впервые на лице адмирала появился проблеск какого-то чувства. Он взял шелковое знамя и с благоговением погладил его.

— Я адмирал, — сказал он супруге начальника. К более подробному выражению чувств он никогда не мог себя принудить на суше, но на море, когда он увенчает переднюю мачту своего флота флагом, у него, быть может, найдутся более красноречивые слова. После этого адмирал удалился в сопровождении своих подчиненных. Три дня они трудились на берегу над «Ночной Звездой», красили ее в белый цвет с голубой каймой. Тогда Филиппе украсил себя новыми знаками отличия. Он воткнул себе в картуз яркое перо попугая. Затем он снова проследовал со своими верными подчиненными к зданию таможни и официально уведомил ее начальника, что шлюпка дано новое имя: «El National».

Нелегко пришлось флоту на первых порах. Ведь и адмиралы не знают, что им делать и как поступать, — если они не получают приказов. Но приказов ни откуда не было. Не было и жалованья. Эль Насьональ праздно качалась на якоре.

У Филиппе были кое-какие гроши. Но вскоре они истощились. Тогда он пошел в таможню и поднял вопрос о финансах.

— Жалование! — воскликнул начальник таможни, поднимая руки к небесам. — Бог! Valgame dios! (сохрани бог!). Я сам не получаю своего жалования, ни сентава за последние семь месяцев! Сколько полагается адмиралу, вы спрашиваете? Кто знает? Не меньше, чем три тысячи пенсов! Смотри! скоро будет новая революция в стране. Первый знак, что идет революция: правительство только и делает, что требует у нас золота, золота, золота, а само не платит нам ни гроша.

Филиппе повернулся и ушел. На его мрачном лице появилось выражение радости. Революция — это война, а если война, значит, адмирал не останется без дела. Он будет грудью стоять за правительство. Довольно унижительно быть адмиралом — и не делать ровного ничего. А тут еще голодные матросы, они ходят за тобою по пятам и надоедают, чтобы ты дал им на табак и плантану¹⁾.

Когда он вернулся туда, где его ждала команда его беспечальных карибов, все они вскочили на ноги и отдали ему честь по всем правилам. Этому научил их он сам.

¹⁾ «Плантана» плод тропического дерева, заменяющий тамошнему населению хлеб.

— Вот в чем дело, muchachos, — сказал он им, — оказывается, наше правительство — бедное. У него нет денег ни для меня, ни для вас. Будем же сами зарабатывать на прожитие — отечеству на пользу.

С этого времени Эль Насьональ перестала выделяться из числа других прибрежных лодок. Она превратилась в обыкновенное рабочее судно. Наравне с другими плоскодонками работала она по нагрузке пароходов бананами и апельсинами. Этой работы хватало всегда, так как пароходы останавливались за милю от берега. Военный флот, не требующий у казны ассигновок, должен быть отмечен ярко-красными буквами в бюджете любой страны.

Когда Филиппе заработал столько, что мог обеспечить и себя и команду на целую неделю вперед, он снова поставил свое судно на якорь и отправился, в сопровождении свиты, к маленькому зданию почтово-телеграфной конторы. Глядя со стороны, можно было подумать, что это группа прогоревших опереточных артистов осаждают укрывающегося антрепренера. В сердце у Филиппе никогда не умирала надежда, что вот-вот ему пришлют какой-нибудь приказ из столицы. Большой обидой для его самолюбия и его патриотизма было то, что в нем, как в адмирале, никто не нуждался. Всякий раз, придя на телеграф, он спрашивал очень серьезно, с надеждой во взоре, нет ли телеграммы на его имя.

Телеграфист делал вид, что роется среди телеграмм и неизменно отвечал одно и то же:

— Покуда — нет, сеньор Эль Альмиранте! Росо тиempo! (терпение!).

А на улице, в холодке под липами, его команда жевала сахарный тростник или безмятежно спала. Приятно служить государству, которому приятна столь малая служба.

Однажды в начале лета в стране вспыхнула революция, предсказанная начальником таможни. Она давно уже тлела под спудом; при первом же раскате революционной грозы адмирал направил свое судно к берегам соседней республики и променял наскоро собранные фрукты на пули для пяти винтовок системы Мартини, — единственные орудия, которыми мог похвалиться флот. Потом он вернулся домой и снова ходил ежедневно к почтово-телеграфной конторе. Мундир его вылинял, длинная сабля застревала в пушковых штанах. Он растягивался в своем излюбленном углу и снова принимался ждать телеграмму, — эту телеграмму, которая так давно не приходит, но теперь придет непременно!

— Покуда — нет, сеньор Эль Альмиранте, — говорил телеграфный чиновник. — Росо тиempo!

При этом ответе адмирал гремел саблей и нагибался к нечастьяющему аппарату на столе.

— Придет, — говорил он с уверенностью. — Я адмирал!

VII

РЕДКОСТНОЕ ЗНАМЯ

Во главе повстанцев на этот раз оказался дон Сабас Пласидо.

Путешественник, ученый, государственный деятель, тонкий ценитель искусств — что интересного мог он найти в мелких делах родного захолустья?

— Политические интриги для нашего друга Пласидо такая же забава, как и все остальное, — объяснял один его приятель. Революция для него то же самое, что новые темы в музыке, новые багиллы в науке, новый запах, или новая рифма, или новое взрывчатое вещество. Он выжмет из революции все ощущения, которые доставляют ему удовольствие, и через неделю забудет о ней и снова пустится на своем бригантине чорт знает куда, за океан, чтобы пополнить какой-нибудь редкостью свою всемирно-знаменитую коллекцию. Коллекцию чего? Боже мой, — решительно всего: начиная почтовыми марками и кончая допотопными идолами.

Но хотя этот эстет был действительно лишь дилетантом революционного дела, бунт превосходно удавался ему. Население обожало его. Его яркая личность привлекала к нему сердца. Кроме того, всем было лестно, что такой большой человек может заинтересоваться такой малостью, как его родная страна. В столице многие примкнули к его знаменам, хотя войска (вопреки ожиданиям) оставались верны старому правительству. В прибрежных городишках уже начались весьма оживленные схватки. Говорили, будто пароходная компания «Везувий» всецело на стороне революции. Пароходная компания «Везувий» всегда смотрела на республику Анчурию с укоризненной улыбкой и поднятым пальцем, внушая ей, чтобы она не шалила и была панишкой. Пароходная компания «Везувий» предоставила свои пароходы «Путник» и «Спаситель» для перевозки революционных отрядов. Но в Коралио все было тихо. Город был объявлен на военном положении, революционные дрожжи до поры до времени были наглухо запечатаны пробкой. А потом разнеслись слухи, что повстанцы разбиты повсюду.

В столице войска президента одержали победу. Говорили, что, будто, главари восстания были вынуждены скрыться и бежать и что за ними, будто, мчалась погоня.

В маленькой почтовой конторе всегда толпились чиновники и преданные правительству граждане, ожидая новостей из столицы. Однажды в конторе застучал аппарат и через минуту телеграфист закричал во все горло:

— Телеграмма для Эль Альмиранта! Дон сеньор Филиппе Каррера!

Послышался суетливый шорох, потом резкое брядание жестяных ножен. Адмирал быстро вскочил со своего обычного места и побежал через всю комнату к телеграфисту.

Ему дали телеграмму. Он стал читать ее медленно, по складам. Это был первый приказ, полученный им от начальства. В приказе было написано:

«Немедленно доставьте свое судно к устью реки Руис, там нагрузят его говядиной и другими припасами для солдатских казарм. Вы отвезете этот груз в Альфоран. *Генерал Мартинес*».

Не велика честь везти говядину, но, как бы то ни было, адмирала, наконец-то, призвали на службу отечеству, и радость охватила его. Он расстегнул пояс и еще сильнее затянул его на новую пряжку, разбудил дремавшую команду, и через четверть часа *Эль Насьональ* уже несея вдоль берега на всех парусах, под свежим ветром, дувшим с океана.

Рио Руис, небольшая реченка, вливающаяся в море за десять миль от Коралио. Этот участок берега дик и безподен. Рио Руис струится по Кордильерскому ущелью. Там она пенится, и вода в ней холодная. Но здесь внизу она широка и ленива — медленно течет по болоту.

Через два часа *Эль Насьональ* прибыл к устью реки. Берега были покрыты уродливыми, страшными деревьями. Буйные заросли тропиков опутали все берега и погрузились в бледно-желтую воду. Беззвучно вошла туда шлюпка, и была встречена еще более глубоким беззвучием. Сверкая зеленью, охрой, ярко-пунцовыми красками, Рио Руис покоилась в тени, без движения, без звука. Только и было слышно, как влившаяся с моря волна ворковала у носа шлюпки. Можно ли было надеяться, что это оголтелое безлюдье даст говядину и припасы для войны?

Адмирал решил бросить якорь; едва загремела цепь, в лесу раздался неожиданный крик, мгновенно подхваченный эхом. Устье реки Руис проснулось от утреннего сна. Попугаи и павианы завизжали и залаяли в листве; свист, шиск, гвалт! Животная жизнь проснулась. Мелькнуло что-то синее: это вспугнутый тапир пробивал себе дорогу сквозь лианы.

Военный флот по приказу адмирала простоял несколько долгих часов в устье этой мелкой реки. Команда соорудила обед: похлебка из акулих плавников; платана, вареные крабы и кислое вино. Адмирал с трехфутовым телескопом в руке внимательно всматривался в непроходимую чащу листвы в пятидесяти милях от него.

Дело шло к вечеру, когда внезапно в лесу, с левой стороны, послышались крики *эйой!* С судна ответили. Три человека, верхом на мулах, протискались сквозь густую листву и остановились ярдах в десяти от воды. Там они соскочили с мулов, один из них расстегнул пояс и так яростно ударил ножнами своей шпаги каждого мула по очереди, что животные брыкнулись и сломя голову кинулись в лес.

Странно: неужели этим людям было поручено доставить на берег говядину? Совсем неподходящие то были люди! Один был крупный, энергичный мужчина, весьма незаурядной наружности. Чистая испанская кровь, без примесей. Темные курчавые волосы, тронутые кое-где сединой. Глаза голубые, блестящие. Осанка важного сеньора, *Caballero grande*. Двое других были невысокого роста, темнолицы, в военных мундирах, в высоких кавалерийских сапогах и при шпагах. Платье у всех было мятое, рваное, грязное. Какой же дьявол дернул их пробираться через джунгли, болота и потоки воды!

— О-гэ! Сеньор Альмиранте, — крикнул высокий мужчина. Пошлите-ка нам ваш челнок.

Челнок был спущен на воду; Филиппе с одним из карибов взялись за весла и причалили к левому берегу.

Высокий мужчина стоял у самого края воды, по-пояс в запутанных, извилистых зарослях. Взглянув на воронье пугало, сидевшее на корме челнока, он, видимо, почувствовал к нему живой интерес; его неподвижное лицо оживилось.

Месяцы оскорбительной службы, — без всякого жалования, — сильно омрачили блистательную внешность адмирала. Его мажоретские брюки обратились в лохмотья. Блестящие пуговицы почти все отвалились. Желтые кружева тоже. Козырек его фуражки был оторван и болтался над самыми глазами. Ноги адмирала были босы.

— Дорогой адмирал! — крикнул дородный мужчина, и его голос зазвучал словно музыкальный рожок. — Я целую ваши ручки, дорогой адмирал. Я знал, что мы можем положиться на вас. Вы такой надежный патриот! Вы получили нашу телеграмму... от генерала Мартинеса. Пожалуйста, вот сюда, ближе, ближе, дорогой адмирал. На этих шатких дьявольских ланах мы все еще не чувствуем себя в безопасности.

Филиппе смотрел на него с неподвижным лицом.

— Говядину и другие съестные припасы для Альфоранской казармы, — сказал он.

— Право, дорогой адмирал, мясники были бы рады поработать ножом, но волы убежали от них. Скот будет спасен: вы приехали вовремя. Поскорее возьмите нас к себе на корабль, сеньор. Вы ступайте раньше, *caballeros*, — *a prisa* (живо!) А потом приедете за мной. Лодочка слишком мала.

Челнок подвез двух офицеров к шлюпке и вернулся к берегу за толстяком.

— А есть ли у вас, дорогой адмирал, такая презренная вещь, как еда? — крикнул он, очутившись на судне. — И может быть, кофе?.. Ах, вам нужна «говядина и другие припасы». *Nombre de Dios* (ради Бога!). Еще немного и мы принуждены были бы съесть одного из этих мулов, которых вы, полковник Раффарель, приветствовали так нежно в последнюю минуту разлуки ножами вашей шпаги. Давайте же покушаем и в путь!.. Прямо к Альфоранской казарме, не так ли?

Карибы приготовили пищу. Три новых пассажира *Эль Насбональ* накупились на нее с радостью сильно проголодавшихся людей. С наступлением вечера ветер, как всегда в этих местах, переменился; подул с гор; повеяло прохладой, стоячими болотами, гнилыми растениями топей. Грот был поднят, и в ту же минуту на берегу в глубине лесной чащи послышался все растущий гул. Стали доноситься какие-то крики.

— Это мясники, — засмеялся большой человек, — мясники, дорогой адмирал! Но они опоздали. Скотинки уж нет.

Адмирал командовал судном и больше не произносил ни слова. Когда поставили кливер, шлюпка быстро выбралась из устья. И толстяк и его спутники расположились на голой палубе с наибольшим доступным в их положении комфортом. Очевидно, до сих пор они были охвачены единственной мыслью, как бы отчалить от этого опасного берега. Теперь, когда опасность уменьшилась, они могли позволить себе роскошь — думать о своих дальнейших шагах.

Толстяк сидел развалившись; его дивные синие глаза вглядывались задумчиво в командующего военным флотом. Он пытался разгадать этого мрачного сумасбродного парня. Что таится за его непроницаемым неподвижным лицом?

Таков уж был характер у этого пассажира. Он еще не спасся от опасности, его ищут, за ним погоня, только что он был разбит и побежден, и все же, несмотря ни на что, в нем уже пылает любопытство к новому явлению.

Да и кто, кроме него, мог бы придумать такой рискованный и сумасшедший план: послать этому несчастному, безмозглому *fanático* депешу — и вызвать его лодку в речное болото! Его спутники потеряли голову. Убеждать казалось невозможно. И все же они убежали, и все же план, который они называли безумным, удался превосходно. Толстяк был положительно доволен собой.

Краткие тропические сумерки быстро растаяли и превратились в роскошную лунную жемчужную ночь. Справа, на фоне потемневшего берега, появились огоньки Корамо. Адмирал стоял молча у румпеля. Карибы, как темные пантеры, бесшумно прыгали с места на место, подчиняясь лаконическим словам его команды. Три пассажира внимательно вглядывались в море и, когда, наконец, перед ними возник силуэт парохода, стоящего на якоре за милю от берега, у них закипел оживленный секретный разговор.

Шлюпка шла не к берегу, но и не к судну. Она держала курс по середине.

Спустя некоторое время, толстяк отделился от своих товарищей и приблизился к пугалу, стоящему у руля.

— Мой дорогой адмирал, — сказал он, — наше правительство положительно слепо: до сих пор оно не может заметить, как верно и доблестно вы служите ему. Мне стыдно, что оно до сих пор не возна-

градило вас по заслугам. Это непростительно. Но ничего, подождите: в награду за вашу верную службу, вам дадут новый корабль, новый мундир и новых матросов. А куда—вот вам еще поручение. Пароход, который перед нами — «Спаситель». Мне и моим друзьям желательно попасть туда возможно скорее по делу государственной важности. Будьте любезны, направьте свое судно туда.

Адмирал ничего не ответил, но резко скомандовал что-то и направил руль прямо в гавань. *Эль Насиональ* накренилась и помчалась стрелою к берегу.

— Сделайте милость, — сказал пассажир с некоторым раздражением, еле заметным, — дайте же по крайней мере знак, что вы слышите мои слова и понимаете их.

Может быть, у этого несчастного нет не только ума, но и слуха.

У адмирала вырвался жестокий хриплый смех, и он произнес:

— Тебя поставят лицом к стене и застрелят, так убивают изменников. Я узнал тебя сразу, чуть ты вошел в мою лодку. Я видал тебя на картинке. Ты Сабас Пласидо, изменник своей родины. Лицом к стене, да, да, лицом к стене. Так ты померешь. Я адмирал и я повезу тебя в город. Лицом к стене. Да, да! Лицом к стене.

Дон Сабас повернулся к двум другим беглецам и с громким смехом сделал движение рукою.

— Вам, *кабаллерос*, я рассказывал историю сессии, когда мы сочинили эту... о! эту смешную бумагу. Поистине наша шутка повернулась против нас же самих.

Дон Сабас кинул взор по направлению к берегу. Огни Коралио становились все ближе. Он мог уже различить полосу песчаного берега, торговый дом *Bodega Nacional*, длинное низкое здание казармы, *cuartel* набитое солдатами, и там позади, озаренную высокую глиняную стену, ту самую. Не раз в своей жизни он видал, как людей ставили лицом к этой стене и расстреливали.

И снова он обратился к этой причудливой фигуре на корме.

— Правда, — сказал он, — я хочу убежать отсюда, но уверяю вас, что меня это очень мало волнует. Меня, Сабаса Пласидо, всюду встретят с распростертыми объятиями — при любом дворе, в любом военном лагере. Вайя! А это свиное логово, кротовая нора, — эта республика, что делать в ней такому человеку, как я! Я *paisano* повсюду. В Риме, в Лондоне, в Париже, в Вене, всюду мне скажут одно: добро пожаловать, дон-Сабас! Ну, ты — *tonto*, павиан... адмирал — как бы там тебя ни величали, поверни свою лодку, посади нас на борт парохода «Спаситель», и мы дадим тебе 500 песо деньгами *Этадос Унидос*¹⁾ — это больше, чем заплатит тебе твое лживое начальство в двадцать лет.

И дон-Сабас стал втискивать в руку молодого человека довольно пухлый кошелек с деньгами.

¹⁾ Соединенных Штатов.

Адмирал не обратил никакого внимания ни на его слова, ни на его жесты. Он был словно прикован к корме. Шлюпка неслась прямо к берегу. На неосмысленном лице у адмирала появилось что-то светлое, почти разумное, как будто он придумал какую-то хитрость, которая доставляла ему много веселья. Он снова закричал, как попугай.

— Вот для чего они делают так: чтобы ты не видел винтовок. Выстрелят—бум!—и ты мертвый. Лицом к стене. Да!

Потом внезапно он отдал своей команде какой-то приказ. Ловко и беззвучно карибы закрепили шкоты, которые они держали в руках, и нырнули в трюм через люк. Когда скрылся последний из них, дон Сабас, как большой бурый леопард, кинулся вперед, захлопнул люк и сказал с улыбкой:

— Ружей не нужно, дорогой адмирал. Когда-то для забавы я составил словарь карибского языка и потому я понял ваш приказ... Может быть, теперь...

Но он не договорил, потому что раздалось пренебрежительное *жвляк* от какого-то железа, которое царапало жесть. Адмирал извлек из ножен пинагу Педро Лафитта и кинулся с нею на своего пассажира, который спасся лишь благодаря своей изумительной ловкости. Пинага ударила наотмашь, но человек ускользнул, отделавшись контузией плеча. Вскочив на ноги, он вынул пистолет и выстрелил в адмирала. Адмирал упал.

Дон Сабас бросился было к нему и нагнулся над ним, но через минуту встал на ноги.

— В сердце, — сказал он. — Сеньоры, военный флот уничтожен.

Полковник Рафаэль бросился к рулю, другой офицер стал развязывать шкоты; передняя рея описала дугу; *Эль Насиональ* повернулась и поплыла к пароходу «Спаситель».

— Сорвите этот флаг, сеньор! — сказал полковник Рафаэль. — Наши друзья на пароходе ума не приложат, почему мы крейсируем под таким флагом.

— Справедливо! — сказал дон Сабас. Подойдя к мачте, он опустил флаг, прямо к тому месту, где на палубе лежал доблестный защитник этого флага. Таково было окончание маленькой послеобеденной шутки, придуманной военным министром... Кто начал ее, тот и кончил.

Но вдруг дон Сабас испустил крик радости и побежал вдоль по откосой палубе к полковнику Рафаэлю. В руке у него был флаг.

— Чудо, чудо! *Mire! Mire! Senor: Ah, dios!* Ну ж и зарычит этот немецкий медведь. «Ты разбил мне сердце!» скажет он: «*Du hast mein Herz gebrochen!*» Чудо! Вы слышали, я уже рассказывал вам о своем венском приятеле, о герре Грюнтце. Этот человек ездил на Цейлон, чтобы добыть орхидею, в Патагонию — за головным украшением... в Бенарес — за туфлей... в Мозамбик — за кончиком копья. Тебе известно, *amigo* Рафаэль, что я тоже собиратель всяких редкостей.

Моя коллекция военно-морских флагов была до прошлого года самая обширная в мире. Но герр Грюнтц раздобыл два таких экземпляра, о! два *таких* экземпляра, что его коллекция стала считаться полнее моей. К счастью, их можно достать, и я их достану! Но этот флаг, сеньор, ради бога, знаете ли вы, какой это флаг? Видите: малиновый крест на бело-синем поле. Вы не видели его до сих пор ни разу? Конечно, нет, *seguramente*, но! Это морской флаг вашей родины. *Mire!* Эта гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, — есть ее флот; этот мертвый какаду — начальник флота, а эта даряпина — единственный выстрел из пистолета — ее морской бой. Глупость, чепуха, но это жизнь! Другого такого флага никогда не было и никогда не будет. Это уникам. Подумайте, что это значит для собирателя флагов. Знаете ли вы, полковник, сколько золотых крон дал бы герр Грюнтц за этот флаг? Тысяч десять, не меньше. Но я не отдам и за это. Какой красивый флаг! О-гэ, старый ворчун, герр Грюнтц. Подожди, когда дон Сабас вернется на Кёниггин Штрассе. Он позволит тебе пасть на колени и дотронуться пальцем до этого флага. О-гэ! ты шнырял по всему миру со своими очками и все же проморгал этот флаг.

Забыты были неудачи революции, опасности, утраты, боль и обида разгрома. Охваченный всепоглощающей страстью коллекционера, он шагал взад и вперед по палубе, прижимая свою находку к груди.

На «Спасителе» их ждали и встретили радостно. Шлюпка скользнула вдоль паровозного борта и чуть не попала в вырез, устроенный в борту для загрузки фруктов. Матросы «Спасителя» зацепили шлюпку баграми и прикрепили у борта.

Через борт перегнулся капитан Мак Леод.

— Говорят, сеньор, нашему делу крышка...

— Крышка? Какая крышка? — С минуту дон Сабас был в недоумении, с минуту, не больше. — А! революция. Да!

И он повел плечом, отбрасывая от себя всякие мысли о ней.

Капитану рассказали о побеге и обо всем, что случилось в пути.

— Карибы? — сказал он. — Они не причинят нам вреда.

И он спрыгнул в шлюпку, отодвинул задвижку, и из трюма стали выползать черномазые, — потные, но улыбающиеся.

— Эй вы, черненькие! — сказал капитан. — Возьмите свою лодку и валийте назад, к себе домой.

Он указал на шлюпку, на них и на Коралию. Их лица озарились еще более широкой улыбкой, они закивали и заговорили:

— Да, да!

Дон Сабас, два офицера и капитан собрались покинуть шлюпку. Дон Сабас отстал от других, взглянул на тело адмирала, раскинувшееся на палубе в жалких отрешках:

— Бедненький дурачек. *Robresito loco!* — сказал он нежно.

Дон Сабас был блистательный космополит, первоклассный ученый, знаток и ценитель. Но, в конце концов, он принадлежал к той же расе.

В нем была та же кровь и те же инстинкты. Как сказал бы самый простой коралийский крестьянин, так сказал и он, дон Сабас:

— Бедненький дурачек!

Нагнувшись, он приподнял покойника за тощие плечи, подостлал под него свой бесценный единственный флаг и концами флага прикрыл его грудь. Потом он снял с себя бриллиантовую звезду Сан Карлоса, и словно булавкой скрепил ею концы флага на груди у адмирала.

Потом догнал остальных и встал вместе с ними на палубе «Спасителя». Карибы отчалили, натянули паруса, и шлюпка понеслась к берегам.

Коллекция военно-морских флагов, принадлежащая герру Грюнтцу, так и осталась самой полной, самой первой в мире.

VIII

ТРИЛИСТНИК И ПАЛЬМА ¹⁾.

Так как консул Виллард Джедди вышел в отставку, то нужно было назначить ему заместителя. Соединенные Штаты Америки, порывшись на дровяном складе своих консулов, выбрали мистера Джона де Граффенрида Этвуда из местечка Дэльсборо (штат Алабама).

При всем уважении к мистеру Этвуду, мы должны отметить, что он сам пламенно жаждал этого назначения. Подобно Вилларду Джедди, он был жертвою женской лукавой улыбки, которая погнала его, как и Вилларда Джедди, к презираемым федеральным властям с просьбой дать ему казенное место, дабы он мог очутиться возможно дальше от неверных хорошеньких уст, которые стубили его юную жизнь.

Дело было так. В Дэльсборо жил человек по имени Элиджа Гемстеттер, державший лавку всевозможных товаров. Вся семья его состояла из единственной дочери, которую звали Розина. Это имя вполне вознаграждало ее за неблагозвучную фамилию Гемстеттер. У девушки было множество привлекательных качеств, и четверо тамошних молодых людей были весьма растрожены ею. И больше всех — сын местного судьи, Джонни Этвуд, который жил в большом и гордом доме.

Казалось бы, Розина должна была чувствовать себя очень польщенной, что к ней равнодушен сам Этвуд: Этвуды еще до войны (и после войны) были весьма уважаемы во всем этом штате. Казалось бы, ей надо радоваться, что в один прекрасный день она может оказаться хозяйкой этого большого и важного — но пустоватого — дома. А на деле было не так. На горизонте появилось облако, грозовое, все растущее — в виде дюжего и веселого фермера, который позволил себе открыто выступить соперником высокородного Этвуда.

¹⁾ Трилистник — национальное растение Ирландии, ставшее в сознании ирландского народа символом Ирландии, ее священным гербом. В течение многих веков ирландская поэзия воспевает трилистник.

Однажды вечером Джонни Этвуд задал Розине вопрос, который считается очень серьезным среди юных особей человеческого рода. Обстановка была подобающая: луна, олеандры, магнолии, песня дрозда-пересмешника. Появилась ли при этом в их беседе роковая тень удачливого фермера, нам неизвестно, но ответ Розины был не тот, какого от нее ожидали.

Мистер Джон де Граффенрид Этвуд сделал такой глубокий поклон, что его шляпа коснулась травы, и удалился прочь, подняв голову — но чувствуя, что и его гербу, и его сердцу нанесена неизлечимая рана. Какая-то Гемстеттер позволяет себе отказать ему, Этвуду. К чорту.

В этом году в Соединенных Штатах были выборы президента, и выбранным оказался член демократической партии. Судья Этвуд издавна считался боевым конем этой партии. Джонни уговорил старика, чтобы тот двинул кое-какие колеса, дабы приискать для него какое-нибудь казенное место — подальше. Ему хотелось уехать далеко, далеко. Может быть, когда-нибудь потом Розина поймет, как верно, преданию любил он ее, и уронит слезу в те сливки, которые она будет сбивать для фермера Пинка Доусона.

Колеса политики были пущены в ход, и Джонни был назначен в Коралию — консулом. Перед тем как тронуться в путь, он зашел к Гемстеттерам проститься. Было что-то странное, розовое, во взгляде Розины, если бы в комнате никого больше не было — может быть, Соединенные Штаты потеряли бы еще одного консула. Но в комнате был фермер, Пинк Доусон; он говорил о фруктовом саде в 400 акров, о пустоши в три квадратных мили, о пастбище в 200 акров, и Джонни на прощание пришлось ограничиться холодным рукопожатием, как будто он уезжал на два дня — в Монтомери.

— Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгодное дельце, куда стоило бы вложить капитал, дайте мне, пожалуйста, знать, — сказал Пинк Доусон. — У меня нашлось бы несколько лишних тысяч, чтобы пустить в оборот.

— Отлично, Пинк, — мягко и любезно сказал Джонни. — Если что-нибудь такое навернется, я с удовольствием дам вам знать.

И вот, Джонни уехал в Мобильную Бухту, откуда и отбыл в Анчурию на «фруктовом» грузовом пароходе.

По приезде в Коралию он был весьма поражен непривычными видами природы. Ему было всего двадцать два. Юноши не носят свое горе, как платье. Это удел пожилых.

На первых же порах Джонни Этвуд близко сошелся с Кеогом. Вскоре они стали друзьями. Кеог повел нового консула по городу, познакомил с горстью американцев, французов и немцев, составлявших контингент «иностранцев».

И вот однажды, в душную безветренную ночь, когда казалось, что Коралию еще ближе придвинулось к раскаленным решеткам Аверна, пять человек собралось у дверей фотографического заведения

Кеога и Клэнси. Так во всех экзотических дьявольски-жарких местах на земле белые люди сходятся вместе, по окончании работ, чтобы хулою на все окружающее в полной мере закрепить за собою права на великое наследие предков.

Джонни Этвуд лежал на траве, голый, как кариб, и еле слышно лепетал о холодной воде, которую в таком изобилии дают огородные насосы его родного Дэлборо.

Доктору Креггу, из уважения к его бороде, был предоставлен гамак, протянутый между дверным косяком и калабашевым деревом. Этим хотели его подкупить, чтобы он не начал рассказывать свою знаменитую медицинскую повесть о трепанации черепа. Кеог вынес на улицу столик с принадлежностями для фотографической ретуши. Он единственный из всех пятерых занимался в это время делом. Горный инженер Бланшар, француз, в белом прохладном полотняном костюме, сидел, словно не замечая жары, и следил сквозь спокойные стекла очков за дымом своей папироски. Клэнси сидел на ступеньке и курил короткую трубку. Ему хотелось болтать, разговаривать. Остальные так размякли от жары, что являлись идеальными слушателями: ни возражать, ни уйти не могли.

Клэнси был ирландец со вкусами космополита и отравленной кровью ирландца. Многими профессиями он занимался, но каждой — лишь на самый краткий срок. У него была натура бродяги. Цинкография была лишь небольшим эпизодом его скитальческой жизни.

— Элегантная погодка для боя! — начал он с большой словоохотливостью. — Это мне напоминает то время, когда я пытался освободить одну нацию от убийственного гнета тиранов. Трудная то работа: спины не разогнуть, на ладонях мозоли.

— Я и не знал, что вы отдавали свой меч угнетенным народам! — промямлил Этвуд, лежа на траве.

— Да! — сказал Клэнси. — Но мой меч перековали в орало.

— Что же это за страна, которую вы осчастливили? — спросил Бланшар немного свысока.

— А где Камчатка? — отозвался Клэнси безо всякой видимой связи с вопросом.

— Где-то в Сибири... у полюса, — неуверенно вымолвил кто-то.

— Я так и думал... Камчатка — это, где холодно! — сказал Клэнси, кивнув головой. — Я всегда путаю эти два имени: Камчатку и Гватемалу. Гватемала — это где жарко. Я был в Гватемале. На карте вы найдете это место в районе, который называется тропиками. По милости Провидения, страна лежит на морском берегу, так что составитель географической карты может печатать имена городов прямо в морской воде. Имена длинные, не меньше вершка, напечатаны мелкими буквами, составлены из разных испанских наречий. Да, вот в эту страну я помчался, чтобы в смертном бою поразить ее деспотов, стреляя в них из одностольной кирки. Вы не понимаете? Слушайте.

Это было в Новом Орлеане, утром, в начале июня. Стою я в верфи и смотрю на корабли. Прямо против меня, внизу, вижу небольшой пароход готовится тронуться в путь, из труб его идет дым, и босыжки нагружают его какими-то ящиками. Ящики большие—фута два ширины, фута четыре длины, и как будто довольно тяжелые. Они грудой лежали на пристани.

От нечего делать я подошел к ним и стал их рассматривать. Крышка одного из них была отбита, я приподнял ее и заглянул внутрь. Ящик был доверху набит винтовками Винчестера.

«Так, так,—сказал я себе.—Кто-то хочет нарушить закон о нейтралитете республики. Любопытно знать, куда отправляется это оружие».

Слышу, сзади кто-то кашляет. Оборачиваюсь. Предо мною кругленький, жирненький, небольшого роста господин. Личико у него темненькое, костюмчик беленький, а на пальце бриллиант в четыре карата. Замечательный господин, лучше не надо. В глазах у него вопрос и уважение. Похож на иностранца—не то русский, не то японец.

— Тс! — говорит человечек шепотом, словно секрет сообщает.— Не будет ли сеньор такой любезный, не согласится ли он отнестись с уважением к той тайне, которую ему удалось подсмотреть,— чтоб люди на пароходе не узнали о ней. Сеньор будет джентльменом, он не скажет никому ни слова.

— Мусью,—сказал я (потому что он казался мне вроде француза)—позвольте принести вам уверение, что вашей тайны не узнает никто. Джэмс Клэнси не такой человек. К этому разрешите добавить: вив ля либерте,—да здравствует свобода! Я, Джэмс Клэнси, всегда был врагом всех существующих властей и правительств.

— Сеньор очень хорош! — говорит человечек, улыбаясь в черные усы.— Не пожелает ли сеньор подняться на корабль и выпить стаканчик вина.

Так как я—Джэмс Клэнси, то не прошло и минуты, как я уже сидел вместе с этим заграничным мусью в каюте парохода за столиком, а на столике стояла бутылка. Я слышал, как грохотали ящики, бросаемые в трюм. По моему расчету, во всех этих ящиках было никак не меньше двух тысяч винтовок. Выпили мы бутылочку, появилась другая. Дать Джэмсу Клэнси бутылку вина, это значит проводить вторую. Я много слышал о революциях в тропических странах, и мне захотелось принять в них участие.

— Что, мусью,—спросил я, подмигивая,—вы немного хотите расшевелить вашу родину, а?

— Да, да! — закричал человечек, ударяя кулаками по столу.— Произойдут большие перемены! Довольно дурачить народ обещаниями! Пора, наконец, взяться за дело! Близятся великие события! Наши силы двинутся в столицу, Каррамбос!

Вне себя от возбуждения и вина, я понял, что *каррамбос*, это то же самое, что «вив ля либерте», которое я только что кричал.

— Пусть ваш трилистник,—сказал я человечку,—или те травы, которые заменяют его: платаны, бананы, лианы,—пусть они вечно цветут в вашей угнетенной стране!

— Весьма благодарен,—говорит человечек,—за ваши братские чувства. Больше всего нашему делу нужны мощные и смелые работники. О, еслибы найти тысячу сильных, благородных людей, которые помогли бы генералу де Вега покрыть нашу родину славой и честью. Но трудно, о, как трудно завербовать таких людей для работы.

— Слушайте мусью,—кричу я, хватая его за руку,—я не знаю, где находится ваша страна, но сердце у меня обливается кровью, так горячо я люблю ее. Сердце Джэкса Клэнси никогда не было глухо к страданиям притесняемых народов. Мы все, вся наша семья, флибустьеры по рождению и иностранцы по ремеслу. Если вам нужны руки Джэкса Клэнси и его кровь—для свержения ярма с вашей родины, я в вашем распоряжении, я ваш.

Генерал де Вега был в восторге. Он попробовал обнять меня через стол, но ему помешали бутылки и его толстое брюхо. Таким образом, я стал флибустьером. Генерал сказал мне, что его родину зовут Гватемала, что там живет величайший народ. В глазах у него были слезы и от времени до времени он повторял:

— А, сильные, здоровые, смелые люди! Вот, что нужно моей родине теперь!

Потом он принес мне бумагу и попросил подписать ее. Я подписал и сделал замечательный росчерк.

— Деньги за проезд,—деловито сказал генерал,—будут вычтены из вашего жалованья.

— Какие там деньги! — сказал я не без гордости.—За проезд я плачу сам из собственного своего кошелька.

Сто восемьдесят долларов хранилось у меня в заднем кармане. Я был не то, что другие флибустьеры: флибустьерил не ради еды и штанов.

Пароход должен был тронуться в путь через два часа. Я сошел на берег, чтобы купить себе необходимые вещи. Вернувшись, я с гордостью показал свою покупку генералу: теплые пальто, валенки, шапка с наушниками, изящные рукавицы, обшитые пухом, и фуфайка.

— Каррамбос! — воскликнул генерал.—Можно ли в таком костюме ехать в тропики!

Он смеется, зовет капитана, капитан комиссара, комиссар зовет по трубке машиниста, и вся шайка толпится у моей каюты и хочет.

Я задумываюсь на минуту и с серьезным видом прошу генерала сказать мне еще раз, как зовется та страна, куда мы едем. Он говорит: Гватемала, и я вижу тогда, что в голове у меня была другая:

Камчатка. С тех пор мне трудно отделить эти нации — так у меня спутались их имена, их климаты и географическое их положение.

Я заплатил за проезд двадцать четыре доллара — еду в каюте первого класса — столуюсь с офицерами. На нижней палубе пассажиры второклассные. Люди — человек сорок — какие-то дагомейцы, не знаю. И к чему их столько и куда они едут?

Ну хорошо. Ехали мы, ехали три дня и причалили, наконец, к Гватемале. Это спящая страна, а не желтая, как ее малюют в географиях. Вышли мы на берег. На берегу стоял поезд, несколько вагонов на кривых расшатанных рельсах. Ящики были перенесены на берег. Ими нагроулили вагоны. Потом в вагоны набились дагомейцы, я вместе с генералом сел в первый. Да, я и генерал де Вега были во главе революции! Поезд шел так быстро, как полицейский на склоку. В семь часов мы сделали 40 миль, и поезд остановился. Рельсы кончились. Мы приехали в какой-то лагерь, гнусный, болотистый, мокрый. Запустение и меланхолия. В лесу впереди была просека для продолжения железного пути. «Здесь, — говорю я себе, — романтическое царство революции. Здесь Джэкс Кленси, как доблестный ирландец, как представитель высшей расы, отдаст всю душу борьбе за свободу».

Из вагонов вынули ящики и стали сбивать с них крышки. Из первого же ящика генерал де Вега вынул винтовки Винчестера и стал раздавать их отряду каких-то омерзительных солдат. Другие ящики были тоже открыты и — верьте мне или не верьте — чорт возьми, ни одного ружья не оказалось там. Все ящики были набиты лопатами и кирками.

И вот, — провалиться бы этим тропикам, — гордый Кленси и презренные дагомейцы — каждый из них получает либо кирку, либо лопату, и каждого гонят по болоту работать на этой глупой, поганой железной дороге. Да, вот для чего ехали сюда дагомейцы, вот какую бумагу подписал флибустьер Джэкс Кленси, подписал, не зная, не догадываясь. После я разведal, в чем дело. Оказывается, для работ по проведению железной дороги трудно найти рабочие силы. Местные жители слишком умны и ленивы. Да и зачем им работать? Стоит им протянуть одну руку, и в руке у них окажется какой-нибудь дорогостоящий, сочный и вкусный фрукт, стоит им протянуть другую, и они заснут с утра до ночи, не боясь, что в 7 часов утра их разбудит фабричный гудок, или что сейчас к ним войдет человек с требованием платы за квартиру. Поневоле приходится отправляться в Соединенные Штаты и обманом завлекать рабочих. Обычно, привезенный землекоп умирает через два-три месяца — от перезрелой воды и дикого тропического пейзажа. Поэтому, нанимая людей, их заставляли подписывать контракты на год и ставили над ними часовых, чтобы они не вздумали бежать.

Мне дали кирку, и я взял ее, желая моментально взбунтоваться. Но неподалеку были часовые с винтовками, и я вспомнил, что флибу-

стьеры всегда умели хитрить и таиться — это было их лучшей чертой. В нашем рабочем отряде было около ста человек, и нам дали приказ двинуться в путь. Я вышел из рядов и подошел к генералу де Вега. Тот курил сигару и с важностью и удовольствием смотрел по сторонам. И улыбнулся мне вежливой сатанинской улыбкой.

— В Гватемале, — говорит он, — есть много работы для сильных, хорошо сложенных людей. — Да. Тридцать долларов в месяц. Деньги не маленькие. Да, да. Вы человек сильный и смелый. Теперь уж мы скоро достроим эту железную дорогу. До самой столицы. А теперь ступайте работать. Adios, сильный человек!

— Мусью, — говорю я. — Скажите мне, бедному ирландцу, одно. Когда я впервые взобрал на этот ваш тараканий корабль и дышал свободными революционными чувствами в ваше кислое вино, думали ли вы, что я воспеваю свободу лишь для того, чтобы долбить киркой вашу гнусную железную дорогу? И когда вы отвечали мне патристическими возгласами, восхваляя усыпанную звездами борьбу за свободу, замыслили ли вы и тогда принизить меня до уровня этих скованных цепями дагомейцев, корчующих деревья в вашей низкой и подлой стране?

Человечек выпятил свой круглый живот и начал смеяться. Да, он смеялся, а я, Кленси, я стоял и ждал.

— Смешные люди! — закричал он, наконец. — Вы смешите меня до смерти, ей богу. Я говорил вам одно: трудно найти сильных и смелых людей для работы в моей стране. Революция? Разве я говорил о р-р-революции? Ни одного слова. Я говорил: сильные, хорошо сложенные люди нужны в Гватемале. Так. Я не виноват, что вы ошиблись. Вы заглянули в один единственный ящик с винтовками для часовых, и вы подумали, что винтовки во всех. Нет, это не так, вы ошиблись. Гватемала не воюет ни с кем. Но работа? О, да. Тридцать долларов в месяц. Возьмите же кирку и ступайте работать для свободы и процветания Гватемалы. Ступайте работать. Вас ждут часовые.

— Ты жирный пудель, темный человек, — сказал я спокойно, хотя в душе у меня была ярость и боль. — Это тебе даром не пройдет. Дай только мне собраться с мыслями, и я найду для тебя отличный ответ.

Начальник приказывает приниматься за работу. Я шагаю вместе с дагомейцами и слышу, как почтенный патриот и мошенник смеется от всего сердца над нами.

Грустно думать, что восемь недель я проводил железную дорогу для этой непотребной страны. Флибустьерствовал по двенадцать часов в день тяжелой киркой и лопатой, вырубая тот роскошный пейзаж, который был помехой для намеченной линии. Мы работали в болотах, которые издавали такой аромат, как будто в газовой трубе случилась течь, мы топтали ногами самые лучшие и дорогие сорта апельсиновых растений и фруктов. Все кругом было такое тропическое, что не

придумать никакому географу. Все деревья были небоскребы; в кустарниках иголки и булавки. Обезьяны так и прыгают кругом, и крокодилы, и краснохвостые дрозды, — а нам стоять в вонючей воде и выкорчевывать корни для освобождения Гватемалы. Вечерами разводили костры, чтобы отогнать москитов, и сидели в густом дыму, а часовые ходили с винтовками. Рабочих было двести человек — по большей части дагемейцы, негры, испанцы и шведы. Было два или три ирландца.

Один из них был старик, звали его Галлоран. Он работал уже около году. Большинство умирало, не дотянув и шести месяцев. Он высох до хрищей, до костей и каждую третью ночь его колотило от холода.

— Когда только что приедешь сюда, — рассказывал мне Галлоран, — думаешь: завтра же улечу. Но в первый месяц у вас задерживают ваше жалованье для уплаты за проезд на пароходе, а потом вы оказываетесь во власти у тропиков. Вас окружают сумасшедшие леса и звери с самой дурной репутацией — львы, павианы, анаконды¹⁾ — и каждый норовит вас сожрать. Солнце бьет вас своими лучами, так что даже мозг в ваших костях тает. Вы забываете все возвышенные чувства жизни: патриотизм, жажду мести, жажду беспорядка и уважение к чистой рубашке. Вы делаете вашу работу, глотаете керосиновые или резиновые трубки, сваренные для вас дагемейцами. Вы закуриваете папироску и говорите себе: на следующей неделе уйду непременно, и идете спать и зовете себя лгуном, так как сами знаете, что никуда не уйдете.

— Кто этот генерал, — говорю я, — который зовет себя Де Вега?

— Он хочет возможно скорее закончить дорогу, — отвечает Галлоран. — Вначале это был проект одной частной компании, но она лопнула, и тогда за работу взялось правительство. Этот Де Вега большая фигура в политике, и он хочет быть президентом. А народ хочет, чтобы железная дорога была закончена возможно скорее. За все время постройки его обременяют налогами, и Де Вега двигает работу, чтобы угодить избирателям.

— Не в моих привычках, — говорю я, — угрожать человеку мстью, но Джэме О'Дауд Клэнси еще предъявит этому железнодорожнику счет.

— Так и я когда-то говорил, — отвечает Галлоран с тяжелым вздохом, — но во всем виноваты тропики. Они выжимают из человека все соки. Это такая страна, где, по выражению поэта, —

Вечно-послеобеденный час.

Я делаю мою работу, курю мою трубку и сплю. Больше в жизни ведь и нет ничего. Скоро ты и сам это поймешь. Не питай в груди у себя никаких сантиментов, Клэнси.

¹⁾ Анаконда — гигантская змея южно-американских лесов — около 30 ф. дл.

— Нет, нет, — говорю я. — Моя грудь полна сантиментами. Я записался в революционную армию этой богомерзкой страны, чтобы сражаться за ее свободу. Вместо этого меня заставляют уродовать ее пейзаж и подрывать ее корни. За это заплатит мне мой генерал.

Два месяца я работал на этой дороге, и только тогда выдался случай бежать.

Всю нашу партию послали назад, к конечному пункту проложенного пути, чтобы мы привезли в лагерь заступы, которые были отданы в Порт Барриос к точильщику. Они были доставлены нам на дрезине, и я заметил, что дрезина осталась на рельсах.

В ту же ночь, около 12 часов, я разбудил Галлорана и сообщил ему свой план побега.

— Убежать? — говорит Галлоран. — Господи боже, Клэнси, неужели ты и вправду затеял бежать? У меня не хватает духу. Очень холодно, и я не выпался. Тропики уже не отпустят меня. Лучше всего отправляйся один. А я останусь, пожалуй. Так рано и холодно, и мне хочется спать.

Пришлось оставить старика и бежать одному. Я спокойно оделся и выскользнул тихо из палатки. Проходя мимо часового, я сбил его, как кеглю, кокосовым, неспелым орехом, и кинулся к железной дороге. Вскликая на дрезину, пускаю ее в ход и лечу. Еще до рассвета я увидел огни Порт Барриоса — приблизительно за милю от меня. Я остановил дрезину и направился к городу. Признаюсь, не без робости я шагнул по улицам этого города. Не войска Гватемалы пугали меня, меня пугала контора по найму рабочих. С войсками я как-нибудь справлюсь, но что мне делать, если меня снова завербуют в рабочие? Я раздумывал, как мне убраться отсюда, не угодив на новые работы. Хотя было еще темно, я увидел, что в гавани стоит пароход, готовый пуститься в дорогу. Пар валил у него из трубы. Я свернул в переулок, заросший травой и вышел на берег. На берегу я увидел негра, который сидел в челноке и собирался отчалить.

— Стой, Самбо! — крикнул я. — Понимаешь по английски?

— Целую кучу... очень много... да! — сказал он с самой любезной улыбкой.

— Что это за корабль и куда он идет? — спрашиваю я у него. — И что нового? И который час?

— Эта корабль — Conchita (Раковина), — отвечает черный человек добродушно, свертывая папироску. — Он приходил за бананы из Новый Орлеан. Прошедшая ночь нагружена. Через час... или через два он снимается с якоря. Теперь будут хорошие дни. Вы слышали, в городе говорят: была большая сражения. Как по вашему, генерала Де Вега поймана? Да? Нет?

— Что ты болтаешь, Самбо? — говорю я. — Большое сражение? Какое сражение? Кому нужен генерал Де Вега? Я был далеко отсюда

в моих собственных золотых рудниках, и вот уже два месяца не слышал никаких новостей.

— О,—тараторит негр, гордясь своим английским языком,—очень большая революция... в Гватемале... одна неделя назад... Генерала Де Вега, она пробовала быть президент... Она собрала войска—одна, пять, десять тысяч солдат. А правительство послало пять, сорок, сто тысяч солдат, чтобы разбить революцию. Вчера была большая сражения в Ломагранде—отсюда девятнадцать или пятьдесят миль. Солдаты правительства так отхлестали генералу Де Вегу,—очень, очень. Пятьсот, девятьсот, две тысячи солдат генералы Де Веги убито. Генерала Де Вега села на большого, большого мула и удрала. Да, *каррамбос!* Генерала удрала—и все солдаты генералы убиты. А солдаты правительства идут генералу Де Вегу. Генерала им нужна очень, очень. Она нужна им, чтобы ее застрелить. Как по вашему, сеньор, поймают они генералу Де Вегу?

— Дай бог!—говорю я.—Это была бы ему господняя кара за то, что он использовал мой революционный талант для ковыряния в вонищем болоте. Но теперь меня увлекает не столько вопрос о восстании (я заговорил высоким стилем), сколько стремление спастись из кабалы. Ныне я снимаю с себя всякую ответственность за судьбы вашей великой и униженной родины. Отвези меня в твоём челноке вон на тот пароход—и я дам тебе *синка паса*, *синка паса*,—говорю я, снисходя к пониманию негра и переводя на тропический жаргон свои слова ¹⁾.

— *Cinco pesos*—повторяет черный.—Пять долл?

В конце концов, он оказался далеко не плохой человек. Вначале он, конечно, колебался, говорил, что всякий, покидающий эту страну, должен иметь паспорта и бумаги, но, в конце концов, взял весла и повез меня в своём челноке к кораблю.

Когда мы подъехали, стал только-только заниматься рассвет. На борту парохода—ни души. Море было очень тихое. Негр посадил меня, и я взобрался на нижнюю палубу,—там, где выемка для ссыпки фруктов. Люки и трюм были открыты. Я глянул вниз и увидел бананы, почти до самого верху наполнявшие трюм. Я сказал себе: Клянси! Тебе лучше сохранить инкогнито. Безопаснее. А то как бы пароходное начальство не завербовало тебя снова на работы. Тропики завладеют тобою, если ты не будешь на чеку.

После чего я прыгаю тихонько на бананы, выкапываю в них ямку и прячусь. Через час слышу: загудела машина, пароход закачался—и я чувствую, что мы вышли в открытое море. Люки были открыты у них для вентиляции, скоро в трюме стало довольно светло и я мог оглядеться вокруг. Я почувствовал голод и думаю, почему бы

¹⁾ Синка паса—совсем не тропический жаргон, как думает Клянси, это испорченное французское *cinque pas* (название танца).

мне не подкрепиться легкой вегетарианской закуской? Я выкарабкался из своей берлоги и приподнял голову над кучей бананов. Вижу: ползет человек,—в десяти шагах от меня, в руке у него банан. Он слирает с банана шкуру и пихает его себе в рот. Грязный человек, темно-пигий, вида гнусного и очень потрешанного. Я всмотрелся в него и увидел, что это был мой генерал—великий революционер. наездник на мулах, поставщик лопат, знаменитый генерал Де Вега. Когда он увидел меня, бананы застряли у него во рту, а его глаза стали величиною с кокосы.

— Тсе!—говорю я.—Ни слова! А то нас вытащат отсюда и заставят прогуляться пешком. Вив ля либерте!—кричу я, запихивая себе в рот еще один банан. Я был уверен, что генерал не узнает меня. Гнусная работа в тропиках изменила мой наружный вид. Все лицо мое было покрыто саврасо-рыжеватой бородой, и весь костюм мой состоял из пары синих фартуков да красной рубашки.

— Как вы попали на судно, сеньор?—заговорил генерал, едва к нему вернулась способность речи.

— Тсе! Я вошел с черного хода... Мы доблестно сражались за свободу,—продолжал я,—но у врага была большая армия. Примем же наше поражение, как смелые люди, и скушаем еще по банану.

— Вы тоже бились за свободу, сеньор?—говорит генерал, поливая бананы слезами.

— До самой последней минуты!—говорю я.—Это я вел последнюю отчаянную атаку против твердыни тирана. Но враг обезумел от ярости и нам пришлось отступить. Это я, генерал, достал вам того мула, на котором вам удалось убежать... Будьте добры, передайте мне ту ветку бананов, она отлично созрела... Мне ее не достать. Спасибо!

— Так вот в чем дело, храбрый патриот,—говорит генерал, и снова заливается слезами.—Ах, *dios!* И я ничем не могу отблагодарить вас за вашу верность и преданность. Мне еле-еле удалось спастись. Каррамбос! Ваш мул оказался истинным дьяволом. Он швырял меня, как буря швыряет корабль. Вся моя кожа сцарапана терновником и жесткими лианами. Эта чортова скотина терлась о тысячу шней, и тем причинила ногам моим немалые бедствия. Ночью приезжаю в Порт Барриос. Отделяюсь от подлеца-мула и спешу к морю. На берегу челнок. Отвязываю его и плыву к пароходу. На пароходе никого. Карабкаюсь по веревке, которая спускается с палубы и зарываюсь в бананах. Если бы капитан корабля увидел меня, он швырнул бы меня назад в Гватемалу. Это было бы очень плохо. Гватемала застрелила бы генерала Де Вегу. Поэтому я спрятался, сижу и молчу. Жизнь сама по себе восхитительна. Свобода тоже хороша, никто не спорит, но жизнь еще лучше свободы.

До Нового Орлеана пароход идет три дня. Мы с генералом стали кровными друзьями в это время. Бананов мы съели столько, что глазам было тошно смотреть на них, и глотке было больно их есть. Но все

наше меню заключалось в бананах. По ночам я осторожно взбирался на нижнюю палубу и освежался водой.

Этот генерал Де Вега был мужчина, обожравшийся словами и фразами. Своими разговорами он увеличивал монотонную скуку пути. Он думал, что я революционер, принадлежавший к его собственной партии, в которой, как он говорит, было не мало иностранцев—из Америки и других концов земли. Это был лукавый хвастунишка и трус, хотя он сам считал себя героем. Говоря о разгроме своих войск, он жалел одного себя. Ни слова не сказал этот глупый пузырь о других идиотах, которые были расстреляны или околели от его революции.

На второй день он сделался так важен и горд, как будто он не был несчастный беглец, спасенный от смерти ослом и краденными бананами. Он рассказывал мне о великом железнодорожном пути, который собирался построить, и тут же сообщил мне комический случай с одним простофилей ирландцем, которого он так хорошо одурачил, что тот покинул Новый Орлеан и поехал в болото, в мертведкую гниль работать киркой на узкоколейной дороге. Было больно слушать: мерзавец рассказывал, как он насыпал соли на хвост этой глупой пичуге Клэнси. Он смеялся сердечно и долго. Весь так и трясся от хохота, чернорожий бунтовщик и бродяга, зарытый по горло в бананы, без родины, без родных и друзей.

— Ах, сеньор,—заливался он,—вы сами хохотали бы до смерти над этим забавным ирландцем. Я говорю ему: «сильные и рослые мужчины нужны в Гватемале». А он отвечает: «я пойду сражаться за свободу вашей угнетенной страны»...

Так этот бывший агент конторы по найму рабочих усиливал скуку пути шуточками и анекдотами. Порою он снова орошал бананы слезами, ораторствуя о погибшей свободе и о проклятом муле.

Было приятно слышать, как пароход ударился бортом о сваи Ново-Орлеанского мола. Скоро мы услышали шлепанье сотни босых ног по сходням, и в трюм вбежали черные—разгружать пароход. Мы с генералом сделали вид, как будто мы тоже грузчики—стали в цепь, чтобы передавать пучки, а через час незаметно ускользнули с парохода в гавань.

Клэнси выпала честь ухаживать за представителем великой иноземной державы. Первым долгом я раздобыл для него и для себя много выпивки и много еды, в которой не было ни одного банана. Генерал семенил со мною рядом, предоставляя мне заботиться о нем. Я повел его в сквер Лафайетта, и посадил его там на скамью. Еще раньше я купил ему папирос, и он комфортабельно развалился на скамье—жирный, самодовольный и маленький. Я посмотрел на него издали и, признаюсь, его вид доставил мне не малую радость. Он и от природы черный, и душа у него была черная, а тут еще грязь и пыль. По милости мула его платье превратилось в отрепья. Да, Джэксу Клэнси было очень приятно смотреть на него.

Я спрашиваю у него с деликатностью, не привез ли он из Гватемалы случайно чьих-нибудь денег. Он вздыхает и пожимает плечами: ни гроша. Отлично. Он надеется, что его друзья из-за трошков прищлют ему впоследствии небольшое пособие. Словом, если был на свете нищий безо всяких средств к пропитанию,—это был генерал Де Вега.

Я просил его не покидать скамьи, а сам отправился на тот перекресток, где стоял мой знакомый полицейский О'Хара. Жду его минут пять, и вот вижу идет: рослый, красивый мужчина, лицо красное, пуговицы так и сияют. Идет и помахивает полицейской дубинкой. О, если бы Гватемала была в полицейском участке О'Хары! Раз или два в неделю он подавлял бы тамошние революции дубинкой,—просто для развлечения, играючи. Я подошел к нему и без дальних предисловий спросил:

— Что статья 50—46 еще действует?

— Действует с утра до поздней ночи!—отвечает О'Хара и смотрит на меня подозрительно.—По твоему, она подходит к тебе?

Пятьдесят—сорок шестая статья была знаменитая статья городского устава, подвергающая аресту и тюремному заключению лиц, скрывших от полиции свои преступления.

— Что, не узнал Джимми Клэнси?—говорю я.

— Ах ты чудовище с красными жабрами!

Когда О'Хара распознал меня под той скандальной внешностью, которой наделили меня тропики, я пошел с ним в укромное место и рассказал ему все, что мне нужно.

— Отлично, Джимми!—говорит О'Хара.—Воротись назад и садись на скамейку. Я приду через десять минут.

Вот идет О'Хара по скверу Лафайетта и видит: два босяка—оскорбляют своим видом скамейку, на которой они сидят. Через десять минут Джимми Клэнси и генерал де Вега, вчерашний кандидат в президенты республики, оказываются в полицейском участке. Генерал испуган, он говорит о своих высоких орденах и чинах,—и ссылается на меня, как на свидетеля.

— Этот человек,—говорю я,—был железнодорожным агентом. Но его прогнали. Он потерял должность и теперь он просто—клоповник.

— *Каррамбос!*—говорит генерал, шипя, как сифон с зельтерской водой.—Ведь вы сражались в рядах моего войска, сеньор, почему же вы говорите неправду? Вы должны сказать, что я генерал де Вега, солдат, *кабалеро*...

— Железнодорожный агент!—говорю я опять.—Его прогнали с места. Темная личность. Три дня питался краденными бананами. Посмотрите на него. Все пороки у него на лице.

Двадцать пять долларов штрафа или шестьдесят дней заключения—закатили генералу в участок. У него не было ни гроша, и он угодил за решетку. А меня отпустили! Я знал, что меня не задержат: при мне были деньги, да и О'Хара шепнул обо мне два-три слова. Да! На два

месяца засадили его. Ровно столько времени ковырял я киркой великую республику Кам... Гватемалу.

Клэнси замолчал. При ярком сиянии звезд было видно, что в его взоре, устремленном в будущее, светятся довольство и счастье.

Кеог откинулся на спинку стула и хлопнул своего товарища по еле прикрытой спине.

— Расскажи-ка им, ты, дьявол, — сказал он, хихикая, — как ты сквитался с этим генералом на почве *земледельческих маневров*.

— Так как у генерала не было ни гроша, — заговорил Клэнси, с большим удовольствием, — то для того, чтобы получить с него штраф, полиция заставила его работать, с партией других арестантов, по уборке Монастырской улицы. За углом была пивная, художественно убранная электрическими веерами и холодными закусками. Я сделал эту пивную своей главной квартирой, и каждые четверть часа выбегал оттуда на улицу поглядеть на маленького человечка, флибустьерствующего с метлой и лопатой. Жара стояла страшная, не меньше, чем сейчас.

— Эй, мусью! — кричал я ему, и он смотрел не меня, злой как черт; на рубашке у него были мокрые пятна.

— Жирные, здоровые люди, — говорил я генералу де Вега, — очень нужны в Орлеане. Да! им предстоит великая работа. *Каррамбосс!* Да здравствует Ирландия!

Перев. с английского

К. Чуковский.

(Продолжение следует).



КУРТ МЮНЦЕР

ТЕРЕЗА ФАВАР

I

Великая артистка умирала. Ночью ее разбил паралич. Она была одна в громадной спальне, на кровати, где спали короли и наслаждались бухгалтеры. Еще вечером она играла «Даму с камелиями», страстная, как в сорок лет, чудесно красивая, хотя ей и было семьдесят. Она не двигалась уже несколько часов, не могла протянуть руку и позвонить. В восемь часов утра, — было еще темно и шел дождь, — Амели, ее горничная, услышала стон госпожи. Тереза Фавар чернела на своем царственном ложе, ее голова свалилась с кружевных подушек и упиралась о край кровати эбенового дерева, крашенные, рыжеватые, редкие, но длинные волосы лежали на леопардовой шкуре на полу. Амели закричала, хотела бежать, звать доктора, людей, но Тереза заговорила, и Амели в ужасе не узнала ее голоса; куда девался этот знаменитый, серебристый голос, очаровывавший два полушария; люди, не понимающие ее языка, заполняли театры, так как чувствовали и любили этот голос; этот голос был воспет поэтами; говорили, что он укрощает диких зверей, очаровывает змей, как флейта; птицы замолкали при ней, слушали и старались подражать этому голосу. А теперь она говорила резко, глухо; это был мужской бас пораженного смертью горла, тяжелая, хрипкая речь, с заиканием.

— Сударыня! — закричала Амели.

Это было ужаснее всего.

— Останься, — сказала Тереза, — подыми меня.

Амели, дрожа, повиновалась, подняла легкое, иссохшее тело. Голова упала бессильно, но пальцы опять задвигались.

— Амели! — Тереза, казалось, не понимала, как страшно изменился ее голос, она произносила слова с трудом, но без остановок и раздельно, — Амели, не зови никого. Ни доктора, ни священника, ни репортеров; пускай никто не знает. Я умираю. Тихе, слушай, — я хочу покоя в эту последнюю минуту. Амели, семьдесят лет была борьба,

работа, метание. В этот час я хочу тишины и покоя. Я ничего больше не желаю. Когда я буду мертвая, скажи это всем. Если хотят, пусть тогда выезжают с моим трупом хоть на базар, я уже ничего не буду знать. Амели, поди к телефону, позови Эмиля, скажи ему, но только ему. Поняла? Это мое последнее приказание. Днем я буду уже далеко. Иди.

Амели пошла к телефону; она плохо соображала. Это было невыносимо. Ей было всего пятьдесят, но она чувствовала себя ближе к смерти, чем эта семидесятилетняя, которая все еще играла два раза в неделю и ездила на гастроли.

Эмиль еще спал. Амели настояла на том, чтобы лакей разбудил его, при чем было слышно, как он ругался. — «Барыня умирает», — крикнула она грубо. Она ненавидела этого вампира, из-за которого умирает теперь ее барыня. — «Приезжайте сейчас, скорее!» — Крик, вопросы, призывы. Амели злобно повесила трубку и дала отбой. Он должен был одеться. Во всяком случае, хороший автомобиль доставит его сюда минут через тридцать пять.

Тереза Фавар встретила ее глазами; она не могла двигать головой, двигались ее голубые глаза, — вчера еще сверкавшие, сегодня уже тусклые.

— Он придет?

— Да, сударыня.

— Останься здесь. Амели, я ничего не могу тебе оставить; у меня ничего нет.

Амели все знала, она тридцать лет служила у этой удивительной женщины. Она не ушла от кровати, присела и положила руку на этот бедный, холодный лоб. Много, много ночей, когда у барыни болела голова, она так высидела неподвижно, — любя, молясь, жертвуя собой. Сегодня она уже не могла помочь.

— Амели, ты молишься? Ты ему сказала: скорее, скорее? Он три дня не был у меня. У него новая любовница, Амели? Кто, кто?

Амели знала и это, но сегодня она солгала — она ничего не знает. Тереза улыбнулась своею удивительной улыбкой, превращающей ее в молодую девушку. Кровь еще не застыла.

— О, мои холодные ноги!

Амели встала и начала растирать ноги. Они были уже мертвы; она содрогнулась, но Тереза не желала звать врача.

— Растирай, растирай, Амели, я ничего не чувствую.

Нельзя было чувствовать: ноги были окоченелые, мертвые. — «Смотри, смотри», — сказала она вдруг в забытьи. Она увидела себя шестилетней девочкой, в первый раз на сцене, в балете, в танце бабочек; белокурый ангелом с фиолетовыми глазами, с губками, как гвоздика. С тех пор она не покидала сцены. В восемнадцать лет она была Федрой в *Comédie*; в двадцать стала знаменитостью. Она улыбнулась во сне. *Grande promenade* ролей и успехов началась — деньги дождем посыпались на нее, она стала покупать жемчуга, виллы, диких зверей,

старинные картины; она начала принимать королей и любила героев, преступников, принцев, поэтов. Европа была очарована, Америка безумствовала. Газеты жили ею, экстренные поезда, предоставленные ей президентом, возили ее, ордена украшали ее грудь. Она была стройна, гибка, как отрок. Ее руки вдохновляли скульпторов. Художники старались закрепить на полотне это вечно-юное лицо. В ней жили все красоты, характеры, страсти от Евы до деви Марии, от Елены до Саломеи. Она была и зла и добра, и скупа и расточительна, и зверски груба и нежна, и жестока и покорна, и робка и безумно смела. Ее лицо отражало все. Как сфинкс — беспричинно — она сеяла на своем пути любовь и отчаяние, и что за беда, если позади оставались трупы, самоубийцы, несчастные, потерявшие вкус к бытию. Ее это не задевало — на каторжных искусства она возвышалась над хаосом. Не было ничего, что могло ее тронуть. Дикие оргии оставляли ее чистой, невинность сохранялась в кутежах, и годы не разрушали ее вечной юности.

— Амели, дай воды.

Она уже могла поднимать голову, правая рука стала слушаться. Воля этой женщины побеждала в последний раз. Амели начала опять надеяться — дело не так плохо — днем она встанет, будет жить и играть в пятишную.

— Амели, его еще нет? Сколько времени прошло?

Прошло полчаса, — Амели плакала.

— Сударыня, прошло десять минут, раньше полчаса он не может приехать.

Она взглянула и испугалась: это лицо начало опадать; каждая минута делалась годом и разрушала эти черты. Время, — наконец! — сломало эту безграничную силу воли и бросилось на свою жертву; Тереза Фавар старела, и через час ей действительно будет семьдесят лет. Амели прошептала: — Сударыня, когда господин Эмиль придет... — она заплакала, — может быть, дать румяна, пудру... — Тереза закрыла глаза и помолчала. Пока она думала, длинные морщины побежали вокруг ее рта, и ее лоб, до сих пор чистый, ясный, невинный, страшно наморщился.

— Нет, — сказала артистка, — он меня должен видеть. Желаю правды. Амели, пусть учится меня любить, если разлюбил; а если испугается...

Амели слушала: нет автомобиля. Что же он не едет? Тереза продолжала вспоминать. Год за годом проходили перед ней.

II

Достигнув пятидесятилетнего возраста, она хотела покинуть сцену и мирно зажить в тишине и спокойствии где-нибудь на берегу у голубого моря. Она предприняла прощальную поездку по странам и городам

своих былых триумфов. Поездка должна была продолжаться один год, но по дороге заболел и умер ее партнер и любовник. Она стала искать другого и нашла его на какой-то маленькой сцене. Его звали Эмиль Латур. Ему было двадцать лет, это был довольно жирный Антиной, не герой женщины, но их кумир. Он был еще робок, неловок, молодость, казалось, мешала ему; он сам о себя спотыкался. Фавар пригласила его в свою труппу, предложив баснословное жалование. Она отстраняла его от издевательств критики, сражалась за него, воспитывала его. Через два года пришлось сдаться. Он покинул сцену и продолжал получать повышенное содержание уже в качестве ее пенсонера. Судьба настигла артистку: она любила! Она в первый раз испытала вечное, победительное, подлинное чувство после дикой жизни наслаждений, изображаемых страстей, наигранных ощущений. Тысячи оттенков любви, изображаемые ею пятьдесят лет подряд, растопились в единственном, настоящем чувстве. Она любила этого молодого, беспечного, не совсем чистого человека. Никто уже не находил в нем очарования. Он сначала покорила своей участи, но потом она стала ему в тягость. Он менялся на ее глазах. Когда она решила закончить поездку и начать спокойную жизнь, он восстал: как, отказаться от огромных доходов! Этого было довольно, она покорила; после торжественного прощания с миром продолжала играть и переносила безропотно насмешки газет, ибо Эмилю нужны деньги. Он рассеивал эти деньги, как дым, они текли из его рук, как вода. Он был игрок; может быть, у него были тайные пороки, для которых нужны тысячи. Он съедал ее виллы и сады, продавал ее коллекции, картины, старинную мебель, выбрасывал автографы королей и художников, которые она свято берегла в сундуках. А она продолжала играть, чтобы утолить вечный голод этого чудища. Он входил в года, ожирел, из Антиной превратился в Нерона. Он не любил ее, но притворялся иногда, чтобы не выпустить ее из рук. Когда она играла, он сидел в ложе с другой женщиной, а она там внизу действовала, пронзенная мечами любви, ревности, отчаяния, слабости, презрения, стыда и снова любви. Но покинуть его она не могла. Для него она несказанно напрягала волю, и ее воля хранила ее молодой, сильной, красивой. Для него! Она должна была жить, зарабатывать, очаровывать. Для него! Она любила, и ее грабили. Она презирала и лежала у его ног. Она видела его насквозь и все-таки молилась на него. Она ограничила свой штат прислуги, ее еда стала скромнее, образ жизни — с холодными ваннами, гимнастикой и спортом — принимал все более пуританский характер, наконец, она отказалась от всякой роскоши. Бриллианты были проданы, пришлось носить имитации. Остался один автомобиль, был отпущен секретарь, и горы писем без ответа валялись в пустой комнате. Все пошло кое-как, и в воздухе запахло крахом. Теперь смерть возвращала ей свободу. Так она дошла до этого часа.

— Эмиль, — сказала она, — я не могу умереть! Амели, он не умрет со мной. О, мои колени... — Они уже холодели, смерть шла неудержимо. — Амели, там в шкатулке лежит крест с рубинами. Они не поддельные. Несчастная королева Елизавета сняла его со своей груди и дала мне. Скорее бери его. Больше у меня ничего не осталось. Взяла? Все остальное подделка, ты знаешь.

Амели это хорошо знала. Она помогала ей переживать эту страсть, это унижение. Как это барыня однажды сказала? Унижение! Всякая, даже грубая страсть возвышает одержимого ею; самое высокое на свете — это способность чувствовать.

Становилось светлее. Пробыло девять часов. Еще шел дождь, но зеленые занавеси уже теряли свой цвет, день просвечивал насквозь. На стенах тихо горели электрические свечи. Шелковые обои, с золотыми лилиями на зеленом фоне, сияли.

Вдруг пронзительно и жалобно прокричал внизу, на тихой улице, автомобильный гудок.

— Эмиль! — вскрикнула Тереза. Она поднялась в постели; вместо нее в постели сидела уже старуха. Ее залихорадило. — Амели, дай зеркало! — Амели медлила, но нужно было повиноваться. Тереза Фавар ахнула и повалилась на подушки; она не узнала себя. Это было ужасно; неужели это лицо должно было остаться воспоминанием для любимого?

— Румяна, — простонала она, — Амели, дай шаль! Потуши свет. — Умирая, она продолжала играть. Не довольно ли? Быть актрисой до последнего вздоха. Это невыносимо, Лгать при смерти. Никогда не быть простым правдивым человеком! Она выбила ящик с румянами у Амели из рук. К ней возвратилась сила. Глаза блуждали. — Правда, — сказала она решительно, — только правда, это — испытание его любви.

Она не говорила, но противно каркала.

Дверь открылась, ворвался Эмиль. Он был одет кое-как, лицо распухло, глаза были красны. Он спал всего каких-нибудь два часа, так как провел ночь в очень веселой компании. Он огляделся. — Никого нет?! — Это были его первые слова: Тереза лежала, вдруг ослабев, в своей огромной постели под двумя шелковыми одеялами, пурпурным и присово-голубым. Она посмотрела на него. О, так легко было умереть и все-таки невозможно. — Врачей! — грубо обратился Эмиль к горничной, — священника! Вы ничего не сделали! Что случилось? Как это произошло?

Амели молча указала на постель. Не думает ли он, что она уже скончалась? Он быстро прошел — его походка была красива, легка и свободна — по длинной, узкой комнате и отскочил назад. — Тереза...

Это был вопрос? Или сомнение?

Умирающая ответила со своим обычным остроумием:

— Еще немного. Уже недолго. Последняя маска Терезы Фавар. Не путайся. Ты знаешь свое сердце.

Он был в ужасе. Этот голос! Здесь каркал голос старика, и старуха ему улыбалась улыбкой смерти. Это — он когда-то обнимал и целовал. Он встряхнулся, отвращение душило его. Слишком рано он приехал, но нужно было появиться. Он проговорил: — Я раньше не мог приехать! — он должен был заставить себя говорить, — я еще заехал в редакции «Figaro» и «Matin», чтобы сообщить о твоём нездоровьи.

Газеты! — Тереза возмущалась, — ей не дают умереть спокойно. Он, её любимый, гонит мир смотреть на последний акт, на драму смерти. Он был в редакциях и там сказал: «Она умирает, Тереза Фавар при смерти. Гонорар за сообщение потом. Я вам по телефону буду сообщать дальнейшее».

Тереза двинула левой рукой, правая осталась неподвижной.

— Эмиль, пожалуйста, чтобы никакого шума. — Она замолкла. Это была её первая и последняя просьба. Вдруг снаружи зазвучали голоса, — это был первый репортер.

— Амели! — с мольбою сказала умирающая. Горничная поняла. Она вышла и стала часовым перед дверью. Эмиль пошел за ней, ему нужно было говорить по телефону; он напрасно выпытывал у Амели подробности происшествия. Она ничего не сказала ему, и все же он позвонил в редакцию «Фигаро»; затем позвонил врачам, друзьям, перед которыми извинился, что не может с ними обедать или ужинать; позвонил какой-то даме, которую тут же насмешил и сам засмеялся. Так он провел много времени, затем опять ворвался в комнату, сел около постели и взял руку Терезы. Она закрыла глаза. Нет, ему слишком противно смотреть на нее. Смерть подходила без маски, открыто. Он наклонился к ней и сказал:

— Сделала ли ты свои последние распоряжения?

Он испугался, ему показалось, что смерть наступает, опавшие черты её лица опали еще больше, одеревенели, подбородок опустился, веки широко раскрылись; наступила страшная тишина; думая, что она не слышит, он повторил вопрос. Тереза спросила:

— Зачем?

Ее ужасный голос, хриплый, задыхающийся, скрипучий, звучал будто насмешливо.

— А я, — закричал возлюбленный, — ты меня оставляешь бедняком?

— Эмиль, что ты хочешь от меня?

— Все! — сказал он, зная на то, что приходится упоминать о вещах, столь понятных, — дачу, мебель, твоё состояние, короче говоря — все, что у тебя есть.

— Эмиль, все это давно уже твоё. Значит, ты... Нет.

— Говори! — закричал он так громко, что Амели приоткрыла дверь. Сердце старой женщины судорожно сжалось; надо было оторвать в первый и последний раз того, кого она любила до последнего дыхания.

— Эмиль, все это было твоё. У меня нет больше ничего. Я бедна. Я заложила дом, мебель, картины, все, все. Когда я умру, все будет продано с молотка; ничего не останется, все будет вывезено. Прости меня. Я тебя люблю.

— Твои драгоценности?

— Они фальшивые, настоящие ты... — нет, она не может договорить.

— Где деньги, что ты с ними сделала? — спросил он шепотом; казалось, он сейчас её ударит.

Нет, она не досказала: «все тебе»... Она его любила и продала его; но он будет жить, а она... и это ничего; пусть живет — но чем? Кто о нем позаботится; кто добудет ему тот миллион, который ему нужен? Ужасная мысль! Эта мысль отравляла её смертный час, разбивала покой последних минут, подгоняла и мучила её.

— Эмиль, — простонала она и приподнялась, — у меня ничего нет, а ты...

— Да я, — сказал он с горечью и злобой, — обо мне ты не подумала, ты меня погубила, отвлекла меня от моего призвания! Что делать теперь?

Внизу подкатывали экипажи, ревели автомобильные гудки. Первое экстренное издание газет всполошило весь Париж. Толпа уже неслась вверх по легкой красивой лестнице этого охотничьего домика, служившего двести лет местом любовных приключений. Шли репортеры, поставщики, знакомые, подруги, весь состав труппы театра Фавар, светские дамы.

Телефон звенел без перерыва, поступали телеграммы, букеты цветов. Амели сторожила у входа. Напор публики разбивался о её маленькую фигурку; три врача насильно ворвались в комнату умирающей.

Несомненно, Тереза Фавар находилась в агонии. Эмиль Латур пронесся по зале, вырывая на себе волосы. Он чувствовал себя гнусно обманутым. Крах дома, театра, всего состояния — двадцать лет роскошной жизни и затем возврат к нищете!

* * *

Артистка ожила под действием кокаина.

— Господа, — обратилась она к врачам, — я не хотела выходить на bis. Позвольте мне уйти. Уже поздно.

Она увидела Эмиля.

— Эмиль, — сказала она, её голос очистился, прояснился, стал опять полновзвучным.

— Эмиль, я что-нибудь придумаю, — позови Амели.

Амели вошла, прислонившись к двери, которую она защищала.

— Амели прости меня, ты любишь меня. Амели, дай ему крест с рубинами.

Эмиль сунул крест в карман, а горничная возвратилась на свой пост. Молчаливая, словно деревянная, внутренне она взвыла от горя по любимой госпоже. Тереза спросила:

— Господа, сколько времени мне остается жить?

Врачи дали ей срок еще два часа.

— Эмиль подойди. Телефонируй фирме Патэ. Скорее аппарат с человеком сюда. Меня будут снимать. Мою смерть. Заключи выгодный договор. Больше я тебе ничего не могу оставить, — мою собственную смерть в кинематографе. Скорее! будь выдержан и расчетлив. Фильма будет стоить огромных денег. Любишь меня?

Эмиль уже не было — он схватил мысль на лету. Тереза, торжествуя, лежала на своих подушках. Последнее проявление любви было величайшим за всю ее жизнь. Она отдавала ему все — стало — одиночество смертного часа. — Амели! — позвала она. Тужно гримироваться, завиться, надеть кружевной капот, в котором вчера умирала, играя Маргариту; открыть все окна для полного света; украсить фальшивыми бриллиантами. Затем: «коканну, господа, эфиру, камфоры, раствор поваренной соли; я очень знакома с вашим ремеслом; я сама изучала сотни смертей!» Она оживала и от вспрыскивания и от внутреннего возбуждения, — последний акт! Амели проделала все обычные притирания, завилла ее, украсила драгоценностями; ее классическая голова, с узким овалом лица, еще один раз оживла, пока смертное окоченение ползло по ногам кверху и уже захватило низ живота. Эмиль был занят у телефона, он вел переговоры с господами членами правления фирмы Патэ о присылке аппарата и мастера. Возвратясь в спальню, он начал устраивать инсценировку и в то же время умолял врачей продолжить драгоценную жизнь артистки.

— Господа, — говорил он, — не откажите в засвидетельствовании того, что единственная настоящая, подлинная лента, увековечивающая смерть артистки Фавар, будет именно эта. Я и нотариуса позвал. Фильма принадлежит мне. Тереза, ты слышишь? Фильма моя собственность!

— Твоя, твоя, — прошептала она. Ее голос очищался все более. Умирающая преобразилась. — Амели не плачь. — Амели беззвучно сказала: — Я люблю вас, сударыня.

— Амели, ты верная, прости меня.

— Я может быть, оскорбила вас, сударыня?

— Обними меня, Амели, — что с тобой будет? Успокой меня Амели.

Амели солгала: — Я поеду к моей сестре, она вдова в Лионе, живет на свои средства.

Появился нотариус. В автомобиле бурею прилетели два господина из фирмы Патэ. Две комнаты наполнились народом. Эмиль распорядился и даже оттеснил репортеров. Устроили совещание в маленькой комнате; там торговались. Был уже одиннадцатый час, и Эмиль позвонил директору Патэ. — 75% чистого дохода мне, — сказал он, — и сей-

час же после съемки деньгами 100.000 франков. — Тот возмутился: это неприемлемо! Но — это сенсация неслыханная, последний крик. Запретят и все-таки будут смотреть. Успех обеспечен. Фильма стоит миллионы. В конце концов, оказалось приемлемо. Эмиль дело провел, контракт написан, Тереза Фавар подписала — Эмиль водил ее рукой — что доходы ленты принадлежат Эмилю Латуру; это его фильма, Тереза не имела никаких прав; надо было спасти фильму от массы конкурентов. Все были очень осторожны, особенно Эмиль.

Начались приготовления. Свету в комнате с четырьмя большими окнами, было достаточно. Тереза режиссировала. Три знаменитых врача охотно согласились лицедействовать. Все забыли, что причиною всего была подлинная смерть.

Амели еле держалась на ногах, но и она должна была участвовать. — Вдруг ослабела — ей сделали вспрыскивание.

— Это последнее, — сказала она, — иначе лента будет длинная и слишком наскучит. — Она оглянулась взглядом полководца: штат прислуги был выстроен вокруг кровати, на заднем плане; плачущая девушка в ногах дополняла картину. — Начинать! — крикнула Фавар.

Аппарат начал действовать. Тереза Фавар звонким голосом отдавала распоряжения. Она приказала врачам приблизиться к постели и исследовать себя; нужные телодвижения, выражение лиц были указаны быстро, уверенно, безошибочно. Она заставила их отойти и позвала Эмиля. При всем этом она не забывала о собственной мимике; хотя бока у ней уже леденели, и рука смерти в первый раз сжала сердце. Она сказала:

— Обними меня; поцелуй меня; падай на колени; Эмиль, правда, ты меня любишь?

Она наклонилась над согбенным, подняла кверху глаза, — эти глаза были залиты слезами, казалось, она благословляет и молится — зрители кинематографа будут глубоко потрясены — и сказала:

— Дело идет отлично, мы играем без репетиции... Благодарю вас. Эмиль, не забудь заставить снять некоторые комнаты в доме, отдельные группы вне дома, устрой несколько грустных сцен; потом процессию на улице и, наконец, погребение. Будет очень эффектно. Лента может работать более получаса. Теперь встань, обойди кровать, прислонись в отчаянии к стене и рыдай, но так, чтобы мне не видно было; — Амели, теперь подходишь ты.

Амели повиновалась, полумертвая, слабее умирающей, — придвинулась:

— Амели, скажи мне последнее прости, — тебе нечего указывать; игра у тебя выходит сама. Ты чувствуешь горе.

— Амели, вы портите фильму, — крикнул рыдающий Эмиль сквозь пальцы, шипя от злости. — Тереза прогони ее, она ненатуральна, как палка.

— Эмиль, это ничего, это подчеркивает правду, — сказала Тереза, внезапно слабая, — приди, приди, — закричала она вдруг пронзительно, — приди, скажи, любишь ли. Скажи, говори! Врачи, помогите!

Она забывала играть, но Эмиль помнил за нее. Он быстро, в немногих словах, указал места врачам и снова рухнул к ногам кровати.

Тереза боролась. Ее сердце холодело, она эта чувствовала, — о мирный — тихий — одинокий смертный час! Вдруг она громко крикнула:

— Вертите, вертите!

Это был ее настоящий голос; он звучал как серебряный колокольчик. Уродливое, жесткое, противное слово пронеслось по комнате музыкой. Она молода, красива, ей восемнадцать лет, она выходит на сцену в Comédie Française, и тысячи людей ослеплены сиянием ее глаз.

— Вертите... — шепнула она. На лице выступило отвращение, ужас, дрожь. Она умирает.

— Вертите, — простонал Эмиль и бросился на постель, как помешанный: а вдруг техник перестанет вертеть в самую минуту смерти? что это будет за ужас!

Тереза вытянулась; врачи забыв свои позиции, наклонились над ней, она прошептала:

— Эмиль... Эмиль, поцелуй меня.

Эмиль сказал: — Нельзя — твоё лицо должно быть видно. Руку можно. — Рука уже была мертва. Она не почувствовала поцелуя. Тереза Фавар выдохнула свою душу в пустоту, в ничто, в безнадежность. Эмиль принял последнее содрогание. Он крикнул еще раз:

— Вертите!

Тереза слышала это последнее земное слово. Улыбка появилась у нее на лице, но она уже не покраснела. Эмиль закрыл ей глаза и закрыл лицо руками.

— Кончайте, — проговорил он сквозь пальцы, — готово. — Он перестал дышать. Да, это был бой! Но миллион спасен.

Врачи вышли. Болтовня, шум, беготня по комнатам сразу прекратилась. Толпа поняла. Эмиль сказал глухим голосом:

— Бессмертная Тереза Фавар скончалась.

Все бросились уезжать, автомобили покатились, экипажи ускользнули в туман. Перед решеткою сада стали собираться зеваки. Амели зажгла две свечи, привела в прежний вид комнату и все думала, как ее госпоже было бы теперь хорошо в тишине и безлюдьи. Тело Терезы Фавар продолжало коченеть, лицо оставалось румяным, со следами пудры. Амели ждала, но Эмиля не было. Он уехал домой. Еще было не поздно понасть к обеду у Вуазена. Ему, слава Богу, незачем пока ни в чем ограничивать себя: в 12 часов во Французском банке ему выплатят 100.000 франков. Ведь, по правде, эта Тереза при всех своих недостатках, хоть и бывала невыносима, но все-таки она гениальная женщина: надо же было придумать такую лихую штуку!

Амели закрыла лицо умершей белым полотном: оно так страшно изменилось. Затем она в последний раз села охранять свою госпожу.

Перев. с немецкого

А. Горюнов

БЕРНАРД ШО

НАЧИНАЕТСЯ

Печатаемая ниже пьеса Бернарда Шо представляет, в сущности, только одну часть его большой драматической пенталогии: «Назад к Мафусаилу». Книге этой предпослано обширное предисловие автора, где он подвергает анализу учение дарвинистов и ламаркистов, теорию эволюции и естественного подбора — и приходит к выводу, что будущее человечества в «Intentional selection» — в сознательном отборе и эволюции. Только таким путем, — утверждает Шо, — человек может, наконец, победить смерть и увеличить длительность своей жизни до мафусаиловых лет. А это, в свою очередь, будет иметь огромные социальные последствия: только при таком долголетии человек станет подлинно-взрослым и мудрым, — теперь люди кончают жизнь 70-летними детьми. Драматическое воплощение этого тезиса и составляет содержание пенталогии.

В первой из пьес пенталогии действие происходит в раю, в 4004 г. до Р. X. Действующие лица — Адам, Ева, Каин, Змий. В этой одноактной пьесе («In the beginning» — «В начале») люди впервые узнают смерть, из бессмертных становятся смертными.

Во второй пьесе, тоже одноактной («The Gospel of the Brothers Barnabas» — «Евангелие братьев Барнебас») — действие происходит в наши дни. В пьесе — два основных задания: дать карикатуру на современных общественных деятелей Англии (м-р Бардж и м-р Любэн) и одновременно изложить теорию продления человеческой жизни (братья Барнебас).

Третья часть (2170 г. по Р. X. «Начинается») отчасти связана со второй действующими лицами. Вакарлий Гаслам из второй пьесы переходит в третью под именем Архиепископа. Горничная — становится миссис Любестринг и, наконец, в м-ре Бардж-Любэн слиты в одно два соответствующих характера второй пьесы.

Четвертая, трехактная, пьеса — в 3000 г. после Р. X. («Tragedy of an elderly gentleman» — «Трагедия стареющего джентльмена») показывает смешанный период эволюции человека, когда одновременно живут и новые мафусаилы, и люди прежней — недолговечной природы.

В последней, пятой, одноактной пьесе (31920 г. после Р. X., «As far as Thought Can Reach» — «Так далеко, как только может залететь мысль») — уже нет недолговечных людей. Но и здесь есть драматическая коллизия: она дана противопоставлением «молодежи» и «древних». «Молодежь» — это люди в возрасте до 4-х лет (в этом периоде люди уже не рождаются, а выплывают из яиц в возрасте 16-17 л., так что четырехлетний возраст соответствует приблизительно 20-21 году). «Молодежь» свой срок проводит в «играх» — любви и занятиях искусством. После 4-х лет «игры» людям становятся уже скучны, и они посвящают себя мудрости, мысли, развитию в себе новых сил, — с точки зрения современной — сверхестественных.

Во всей пьесе «Назад к Мафусаилу» — много длинных — публицистических и философских — монологов, иногда — целые социальные памфлеты. И это делает пьесу скорее пьесой для чтения, чем для театра. Тем не менее, в Америке пьеса ставилась (исполнение ее занимает три вечера) и имела большой успех.

Е. З.

Летний день в 2170 году по Р. Х. Приемная президента Великобританских островов. Стол для заседаний; по длине стола — три стула с каждой стороны, председательское кресло на одном конце и простой стул на другом; стол занимает всю ширину комнаты. На столе, перед каждым стулом, маленький пюпитр с откидной доской, на ней циферблат. Камин нет. Стена в глубине представляет серебристый экран, шириной, приблизительно, в две створчатых двери. Дверь — слева от экрана; и рядом с ней ряд толстых штепселей, обтянутых подбитым ватой бархатом.

Входит довольно полный, благообразный, брызжущий весельем господин средних лет, одетый в шелковый, похожий на женскую рубашку, камзол, чулки и красивые узорчатые сандалии; на лбу золотой обруч. Он снимает обруч и вешает его на штепсель; потом садится на председательское место во главе стола, на противоположном конце от двери. Вставляет штепсель в свой пюпитр, передвигает стрелку на циферблате; вставляет второй штепсель и нажимает кнопку. Тотчас же серебряный экран исчезает, и на его месте появляется, как бы зеркально-отраженный, другой кабинет, одинаково меблированный, и в нем — худощавый, угрюмый человек, в таком же одеянии, но более тусклых цветов — перебирает бумаги на столе. Его золотой обруч висит на таком же штепселе возле двери.

Бэрдж-Любен — Алло, Баризбас!

Баризбас (не оглядываясь). — Какой номер?

Бэрдж-Любен. — Пять дважды икс три два гамма. Бэрдж-Любен.

(Баризбас вставляет штепсель в цифру пять; передвигает стрелку на дважды х, вставляет другой штепсель в 32, нажимает кнопку и поворачивается к Бэрдж-Любену, которого видит теперь так же хорошо, как и слышит).

Баризбас (предупредительно). — А, это вы, президент?

Бэрдж-Любен. — Да, мне сказали, что вы просили позвонить вам. Что-нибудь неблагополучно?

Баризбас (резко и сварливо). — Я хочу заявить протест.

Бэрдж-Любен (добродушно и насмешливо). — Что! Опять протест? В чем же дело на этот раз?

Баризбас. — Если бы вы знали о всех протестах, которых я не заявлял, вы подивились бы моему терпению. Это вы всегда обращаетесь со мной с величайшим неуважением.

Бэрдж-Любен. В чем же я провинился сейчас?

Баризбас. — Вы заставляете меня идти сегодня в Государственный Архив принимать какого-то американского молодчика и присутствовать на дурацком кинематографическом представлении. Это дело не генерал-статистика, а дело президента. Это оскорбительная трата моего времени и непростительное отлынивание от своих обязанностей за мой счет. Я отказываюсь идти. Ити должны вы.

Бэрдж-Любен. — Милый мой, ничто не доставило бы мне большего удовольствия, как избавить вас от работы...

Баризбас. — Так и сделайте это. Мне больше ничего и не нужно.

(Хочет выключить).

Бэрдж-Любен. — Не выключайте. Послушайте. Этот американец изобрел способ дышать под водой.

Баризбас. — А мне-то что за дело? Мне нет надобности дышать под водой.

Бэрдж-Любен. — Может понадобится, дорогой Баризбас, во всякую минуту. Вы, знаете ли, никогда не смотрите себе под ноги, когда погружаетесь в свои вычисления. В один прекрасный день вы забредете в Серпантин¹⁾. Изобретение этого человека может спасти вам жизнь.

Баризбас (сердито). — Вы не потрудитесь мне сказать, что это имеет общего со сваливанием ваших официальных обязанностей на мою шею? Я не желаю, чтоб меня третировали.

(Он исчезает, и вместо него появляется гладкий экран).

Бэрдж-Любен (с негодованием нажимая кнопку). — Пожадуйста, не разъединяйте нас; мы не кончили. Я, президент, говорю с генерал-статистиком. О чем вы мечтаете?

Женский голос. — Прошу извинения.

(На экране снова показывается Баризбас).

Бэрдж-Любен. — Если вы это так принимаете, я пойду вместо вас. А жаль, потому что, видите ли, этот американец считает вас величайшим из современных авторитетов в вопросе о продолжительности человеческой жизни, и...

Баризбас (перебивая). Американец *считает*. Что вы хотите сказать? Я и *есть* величайший из современных авторитетов в вопросе о продолжительности человеческой жизни. Кто осмеливается это оспаривать?

Бэрдж-Любен. — Никто, голубчик, никто. Не насакивайте на меня. Очевидно, вы не читали книги этого американца.

Баризбас. — Не говорите мне, что вы читали ее, или что за последние двадцать лет, вы читали хоть одну книгу за исключением каких-нибудь романов, я вам все равно не поверю.

Бэрдж-Любен. — Совершенно верно, старый дружище, я этой книги не читал. Но я читал то, что о ней говорится в Литературном Приложении к «Таймсу».

Баризбас. — Плевать мне на то, что там говорится о книге. Говорится ли там что-нибудь обо мне?

Бэрдж-Любен. — Да.

Баризбас. — О! Вот как? Что же именно?

Бэрдж-Любен. — Там отмечается, что за последние два столетия чрезвычайно много выдающихся личностей, в роде вас и меня,

¹⁾ Серпантин — речка в Гайд-Парке, в Лондоне.

погибли, утонув в воде, и что если это изобретение способа дышать под водой окажется действительным, ваше исчисление средней продолжительности человеческой жизни будет опровергнуто.

Барнэбас (испуганно). — Опровергнуто мое исчисление! Боже милостивый! Да понимает ли этот дурак, что это значит? *Вы-то сами понимаете ли, что это значит?*

Бэрдж-Любэн. — Я полагаю, это значит, что нам придется отменить Акт.

Барнэбас. — Отменить мой Акт! Чудовищно!

Бэрдж-Любэн. — Однако, придется. Мы можем требовать от людей, чтобы они работали до сорока трех лет только в том случае, если цифры наши неопровержимы. Ведь вы знаете, какая драка была из-за этих последних трех лет и как сторонники сокращения сорокалетней трудовой нормы чуть не победили.

Барнэбас. — Они разорили бы Великобританские острова, если бы победили. Но вам нет до этого дела; вам нет дела ни до чего, кроме вашей популярности.

Бэрдж-Любэн. — А, ну, так что ж: на вашем месте я не стал бы беспокоиться; ведь большинство людей жалуется, что им не хватает работы, и были бы очень рады продолжать трудиться, вместо того, чтобы выходить в отставку в сорок три года; стоит их только об этом попросить, как о любезности, а принуждать — совсем не придется.

Барнэбас. — Благодарю вас; я не нуждаюсь в утешениях.

(Решительно встает и надевает обруч).

Бэрдж-Любэн. — Вы уходите? Куда вы идете?

Барнэбас. — На эту кинематографическую ерунду, разумеется. Надо поставить вашего американского шарлатана на подобающее место.

(Уходит).

Бэрдж-Любэн (кричит ему вдогонку). — Будьте здоровы, старина!

(С усмешкой вынимает штепсель, экран становится чист. Нажимает кнопку и, держа ее, говорит).

Алло!

Женский голос. — Алло!

Бэрдж-Любэн (официальным тоном). — Президент почтительнейше просит бы чести побеседовать с премьер-министром и готов предоставить себя всецело в распоряжение его милости.

Голос китаец. — Он идет.

Бэрдж-Любэн. — А! Это вы, Конфуций? Как это любезно с вашей стороны. Пожалуйста. (Отпускает кнопку).

(Входит человек в желтом одеянии, наружностью своей напоминающий китайского мудреца).

Бэрдж-Любэн (весело). — Ну, знаменитый Луковский Мудрец, как поживают ваши бедные больные ноги?

Конфуций (важно). — Благодарю вас за доброе внимание. Я здоров.

Бэрдж-Любэн. — Вот и отлично. Садитесь и располагайтесь поудобнее. Есть какие-нибудь дела для меня на сегодня?

Конфуций (садится на первый стул от угла, справа от президента). — Никаких.

Бэрдж-Любэн. — Известен вам результат дополнительных выборов?

Конфуций. — Пустяки. Всего один кандидат.

Бэрдж-Любэн. — Хороший?

Конфуций. — Выпущен из местного сумасшедшего дома недели две тому назад. Недостаточно безумен для камеры Леты, недостаточно здравомыслии, чтоб занять какое-либо место, кроме как в прихожей фракции. Весьма популярный оратор.

Бэрдж-Любэн. — Жаль, что люди не проявляют серьезного интереса к политике.

Конфуций. — Я с вами несогласен. Англичанин по самой природе своей не приспособлен для понимания политики. С тех пор, как общественные функции стали выполняться китадцами, страна получила хорошее и честное управление. Разве это не все, что нужно?

Бэрдж-Любэн. — Но вот чего я не понимаю, почему же... Китай одна из наиболее дурно управляемых стран на земле?

Конфуций. — Нет. Им плохо управляли двадцать лет тому назад; но с тех пор, как мы запретили китадцам принимать участие в наших общественных делах и импортировали для этой цели уроженцев Шотландии, дела пошли хорошо. Ваши здешние сведения всегда отстают на двадцать лет.

Бэрдж-Любэн. — Повидимому, народы вообще не способны к самоуправлению. Я этого не понимаю. Почему это так?

Конфуций. — Справедливость есть беспристрастие. Беспристрастны только чужестранцы.

Бэрдж-Любэн. — В результате, общественные должности обслуживаются настолько хорошо, что правительству нечего делать, и ему остается только думать.

Конфуций. — Будь иначе, у правительства было бы слишком много дела, чтобы оно могло думать.

Бэрдж-Любэн. — Разве это оправдывает английский народ в том, что он выбирал парламент из помешанных?

Конфуций. — Английский народ всегда выбирал парламенты из помешанных. Какое же это имеет значение, если ваши постоянные чиновники честны и сведущи?

Бэрдж-Любэн. — Вы не знаете истории нашей страны. Что сказали бы мои предки об этом зверинде дегенератов, все еще именуемом Палатой Общин? Конфуций, вы мне не поверите, и я вас за это не осуждаю, но Англия некогда спасла вольности всего мира тем, что избрала парламентарный образ правления, который был ее особенной и величайшей славой.

Конфуций. — Я превосходно знаю историю вашей страны. Она доказывает как раз обратное.

Бэрдж-Любэн. — Каким же это образом?

Конфуций. — Единственная власть, какою когда-либо располагал ваш парламент, была власть урезать дивильный лист короля.

Бэрдж-Любэн. — Совершенно верно. Великий англичанин Симон де Монфор...

Конфуций. — Он был не англичанин; он был француз. Он вывез парламенты из Франции.

Бэрдж-Любэн (изумленно). — Что вы говорите!

Конфуций. — Король и его верноподданные убили Симона за то, что он навязал им свой французский парламент. Самое первое, что всегда делали британские парламенты — они назначали королю пожизненное содержание в восторженно-верноподданных выражениях; это потому, что они боялись, как бы им не получить настоящую власть и как бы от них не вздумали ожидать настоящего дела.

Бэрдж-Любэн. — Послушайте, Конфуций, конечно, вы знаете историю лучше меня; но демократия...

Конфуций. — Учреждение, характерное для Китая. И никогда не пользовавшееся там настоящим успехом.

Бэрдж-Любэн. — Ну, а наш акт о Habeas Corpus?

Конфуций. — Англичане всегда отменяли его, когда он угрожал оказаться хотя бы в малейшей мере полезным.

Бэрдж-Любэн. — Хорошо, а суд присяжных: не станете же вы отрицать, что это мы ввели его?

Конфуций. — Вес процессы, опасные для правящих классов, разбирались Звездной Палатой или Военным Судом, за исключением тех случаев, когда подсудимого вовсе не судили, а казнили, предварительно щедрой бранью лишив его популярности.

Бэрдж-Любэн. — Ах, бросьте! Вы, может быть и правы в этих мелких деталях; но, в общем, мы сумели отстоять себя, как великую расу. Ну, знаете ли, а народ, не умеющий сделать ничего, не смог бы этого добиться.

Конфуций. — Я не говорил, что вы ничего не умели делать. Вы умели драться. Умели есть. Умели пить. До двадцатого века умели производить на свет детей. Умели играть в разные игры. Умели работать, когда вас к этому принуждали. Но вы не умели управлять самими собой.

Бэрдж-Любэн. — Тогда каким же образом мы стяжали свою репутацию пионеров свободы?

Конфуций. — Упорным отказом подчиняться какому бы то ни было управлению. Конь, который сбрасывает всякого, кто попытается взнуздать его и им править, тоже может быть назван пионером свободы; но он не пионер управления. В Китае его бы пристрелили.

Бэрдж-Любэн. — Взор! Не хотите ли вы сказать, что администрация, президентом которой я являюсь, не есть правительство?

Конфуций. — Да. Правительство — это я.

Бэрдж-Любэн. — Вы! Вы! Кусок жирного желтого самодовольства!

Конфуций. — Только англичанин может быть настолько невежествен в делах управления, чтоб полагать, что талантливый государственный деятель не может быть жирным, желтым и самодовольным. Много англичан тощих, красноносых и скромных. Поставьте их на мое место, и через год вы вернетесь к анархии, к хаосу девятнадцатого и двадцатого веков.

Бэрдж-Любэн. — О, если вы ссылаетесь на те темные времена, мне нечего больше сказать! Но мы ведь не погибли. Мы выпутались из этого хаоса. И теперь мы — страна с наилучшим управлением в мире. Как мы достигли этого, если мы такие глупцы, какими вы нас изображаете?

Конфуций. — Вы достигли этого только после того, как резня и разорение, вызванные вашей анархией, заставили вас, в конце концов, признать два неопровержимых факта: во первых, что правительство вообще безусловно необходимо в интересах цивилизации, и что «спинать», как вы это называли, своих соседей да рубить голову своему королю, если он случайно оказывался логичным шотландцем и пытался принять свое положение всерьез, — этого мало, чтобы поддержать цивилизацию; во вторых, что управление есть искусство, к которому вы органически не способны. И сообразно с этим, вы импортировали образованных негритянок и китайцев и поручили им управлять вами. С тех пор вы благоденствуете.

Бэрдж-Любэн. — И вы тоже, старый хвостун. Но все равно, я не знаю, как вы выдерживаете свою работу. Мне положительно кажется, что вы любите общественную деятельность. Почему вы не хотите когда-нибудь поехать со мной на берег моря и поучиться игре в морской гольф?

Конфуций. — Это меня не интересует. Я не варвар.

Бэрдж-Любэн. — Вы хотите сказать, что я — варвар.

Конфуций. — Это совершенно очевидно.

Бэрдж-Любэн. — Как так?

Конфуций. — Народ вас *любит*. Он любит беспечных и добродушных варваров. Вас избирали на пост президента пять раз подряд. И изберут еще пять раз. Я тоже люблю вас. Ваше общество приятнее общества собаки или лошади, потому что вы наделены даром речи.

Бэрдж-Любэн. — Так я варвар потому, что вы любите меня?

Конфуций. — Конечно. Меня никто не любит; я внушаю ужас. Дельных людей никогда не любят. Я не из тех, кого любят; но я необходим.

Бэрдж-Любэн. — Ну, подбодритесь, старина: в вас вовсе нет ничего такого неприятного. Я не могу сказать, что не люблю вас;

а если вы думаете, что я вас боюсь, так вы мало знаете Бэрдж-Любэна: вот и все.

Конфуций. — Вы храбрый, да. Это — род глупости.

Бэрдж-Любэн. — Вы можете и не быть храбрым; от китайца этого и не ожидают, но сила у вас прямо дьявольская.

Конфуций. — Я обладаю твердой уверенностью человека, который видит и знает. Ваше веселое самохвальство, ваше беспечная самоуверенность приятны, как вольный воздух. Но они слепы; они беспочвенны. Мне представляется, будто я вижу большую собаку, которая виляет хвостом и весело лает. Но стоит ей отстать от меня на шаг, — и она пропала.

Бэрдж-Любэн. — Благодарю вас за комплимент. У меня есть большая собака, и лучшего товарища я не знаю. Если бы вы знали, насколько вы безобразнее дворняжки, вы не стали бы приводить такие сравнения. (Встает). Ну, если у вас нет для меня никаких дел, я намерен отстать от вас на сегодня и повеселиться. Что бы вы мне посоветовали с собой сделать?

Конфуций. — Предайтесь созерцанию, и к вам придут великие мысли.

Бэрдж-Любэн. — Неужели? Если вы воображаете, что я намерен сидеть здесь в такую прекрасную погоду, скрестив ноги, и ждать великих мыслей, то вы преувеличиваете мое пристрастие к ним. Я предпочитаю морской гольф. (Внезапно останавливается). Ах, кстати, совсем забыл. Мне надо сказать несколько слов министру народного здравия. (Возвращается к своему креслу).

Конфуций. — Ее номер...

Бэрдж-Любэн. — Я знаю.

Конфуций (вставая). — Не понимаю, что вы находите в ней привлекательного. Для меня женщина если она не желтая, не существует, разве что, как чиновница. (Уходит).

(Бэрдж-Любэн маневрирует со своим пюпитром, как раньше. Экран исчезает, и появляется нарядная комната. в комнате — кровать, гардероб и туалетный столик с зеркалом и пюпитром. Перед ним сидит красивая негритянка и примеривает яркий головной шарф. Пеньюар соскользнул с ее плеч на стул. Она в корсете, панталонах и шелковых чулках).

Бэрдж-Любэн (в ужасе). Простите, тысячу извинений... (Захваченная врасплох негритянка выдергивает штепсель из своего пюпитра и исчезает).

Голос негритянки. — Кто это?

Бэрдж-Любэн. — Я. Президент. Бэрдж-Любэн. Я не подозревал, что ваша спальня включена. Ради Бога, простите.

(Негритянка появляется вновь. Она небрежно набросила на плечи пеньюар и продолжает свои эксперименты с шарфом; совсем не заметно, чтобы она смутилась, — скорее ее забавляет щепотливость Бэрдж-Любэна).

Негритянка. — Какая я глупая! Утром разговаривала с одной дамой и позабыла вынуть штепсель.

Бэрдж-Любэн. — Я страшно огорчен.

Негритянка (с широкой улыбкой, продолжая возиться с шарфом). — Почему же? Это я виновата.

Бэрдж-Любэн (смущенно). — Да-а... мм... мм... Но я полагаю, в Африке вы к этому привыкли.

Негритянка. — Ваша деликатность чрезвычайно трогательна, господин президент. Она была бы забавна, не будь она так неприятна, потому что, подобно всякой белой деликатности, она неуместна. Как по вашему идет этот шарф к цвету моего лица?

Бэрдж-Любэн. — Как может любой яркий цвет не пойти к черной атласной коже? Это только к жалким бледным лицам наших женщин приходится так подбирать цвета, чтоб оживить их. А к вашему все идет.

Негритянка. — Да; жаль что у ваших белых красавиц у всех одинаковые пепельно-серые лица, одинаково бесцветное платье, одинаковый возраст. Но за то какие у них красивые носы, какие крошечные губки! В физическом отношении они пресны; в них нет красоты, их нельзя любить, но как они изящны!

Бэрдж-Любэн. — Вы не можете придумать какой-нибудь официальный предлог, чтобы приехать ко мне? Разве не дико, что мы до сих пор ни разу не встречались? Так мучительно видеть вас, разговаривать с вами, и все время знать, что вы от меня за двести миль, и я не могу прикоснуться к вам?

Негритянка. — Я не могу жить на восточном побережье; мне и здесь-то трудно поддерживать тепло в крови. Кроме того, мой друг, это небезопасно. А на почтенной дистанции такие флирты прелестны, и они учат самообладанию.

Бэрдж-Любэн. — К черту самообладание! Я хочу держать вас в своих объятиях, я хочу... (Негритянка выдергивает штепсель из пюпитра и исчезает. Слышно, как она хохочет) — черный дьявол! (С бешенством выдергивает штепсель, смех замолкает). Ах, эти любовные эпизоды! Почему я никак не могу воздержаться от них? Сущее несчастье!

(Снова входит Конфуций).

Конфуций. — Совсем забыл. На сегодняшнее утро для вас есть дело. Вам надо отправиться в архив, принять американского варвара.

Бэрдж-Любэн. — Конфуций, раз навсегда: я протестую против этой китайской привычки именовать белых людей варварами.

Конфуций (стоя на вытяжку у конца стола, со сложенными ладонями). — Я отмечаю в уме, что вы протестуете против наименования варварами американцев.

Бэрдж-Любэн. — Нисколько! Американцы действительно варвары. А мы нет. Повидимому, в частности, тот варвар, о котором вы говорите — американец, придумавший способ дышать под водой.

Конфуций. — Это он говорит, будто изобрел такой способ. По каким-то причинам, неясным в Китае, англичане всегда верят любому утверждению американских изобретателей, в особенности таких, которые никогда ничего не изобретали. Потому вы поверили и этому субъекту и устроили ему официальный прием. Сегодня Государственный Архив чествует его демонстрацией кинематографической летописи обо всех выдающихся англичанах, утонувших со времени изобретения кинематографа. Почему не пойти посмотреть, раз вам нечего делать?

Бэрдж-Любэн. — Какой интерес смотреть на движущуюся картину, изображающую множество людей только потому, что они утонули? Будь в них вот хоть на столько здравого смысла, они, вероятно, не утонули бы.

Конфуций. — Это не так. До сих пор это не было отмечено; но Государственный Архив на днях сделал два замечательных открытия относительно общественных деятелей обоего пола, проявивших выдающиеся способности в минувшем столетии. Одно — что они сохраняли необычайную молодость до очень преклонного возраста. И другое — что все они утонули.

Бэрдж-Любэн. — Да, я знаю. Как вы это объясняете?

Конфуций. — Этого нельзя объяснить. Это не разумно. И потому я этому не верю.

(Вбегает генерал-статистик, бледный, как мертвец. Останавливается у середины стола).

Бэрдж-Любэн. — Что с вами? Вы больны?

Барнэбас (задыхаясь). — Нет. Я... (падает на средний стул). Мне надо переговорить с вами наедине.

(Конфуций спокойно удаляется).

Бэрдж-Любэн. — В чем дело, чорт возьми? Вдохните кислороду.

Барнэбас. — Я уже вдыхал. Ступайте в архив. Вы увидите, как люди там то и дело падают в обморок, и как их приводят в чувство кислородом, так было и со мной. Они видели своими собственными глазами, что видел я.

Бэрдж-Любэн. — Что видели?

Барнэбас. — Видели архиепископа Йоркского.

Бэрдж-Любэн. — Ну, что ж, почему же им не видеть архиепископа Йоркского? Отчего же тут падать в обморок? Разве он был убит?

Барнэбас. — Нет, он утонул.

Бэрдж-Любэн. — Боже мой! Где? Когда? Бедняга!

Барнэбас. — Бедняга! Жалкий вор! Презренный обманщик! Презренный грабитель казны своей родины! Действительно, бедняга! Дайте мне только добраться до него!

Бэрдж-Любэн. — Как вы можете добраться до него, если он умер? Вы с ума сошли.

Барнэбас. — Умер! Кто сказал, что он умер?

Бэрдж-Любэн. — Да вы же. Утонул.

Барнэбас (яростно). — Вы желаете выслушать меня, или нет? Старый архиепископ Хэслэм, четвертый по счету предшественник теперешнего архиепископа, утонул или нет?

Бэрдж-Любэн. — Не знаю. Посмотрите в Британской Энциклопедии.

Барнэбас. — А-а! А архиепископ Стайкит, написавший книгу «Стайкит о псалмах», утонул или нет?

Бэрдж-Любэн. — Да, слава Богу. Туда ему и дорога.

Барнэбас. — А президент Дикенсон — утонул? А генерал Бул-либой — утонул?

Бэрдж-Любэн. — Да кто же это отрицает?

Барнэбас. — Так вот, сегодня американцу показали кинематографические изображения всех четверых; и оказалось, эти четверо и архиепископ — один и тот же человек. Теперь скажите мне, что я сумасшедший.

Бэрдж-Любэн. — Я и говорю вам, что вы сумасшедший. Чрезвычайно буйный сумасшедший.

Барнэбас. — Должен я верить своим глазам, или нет?

Бэрдж-Любэн. — Вы можете делать, что вам угодно. Все, что я могу сказать вам, это — что я не верю вашим глазам, если они не видят разницы между одним живым архиепископом и двумя мертвыми. (Аппарат звонит, он нажимает кнопку) Да?

Женский голос. — Архиепископ Йоркский желает видеть президента.

Барнэбас (хрипя от бешенства). — Давайте его сюда! Я поговорю с этим мошенником!

Бэрдж-Любэн (отпуская кнопку). — Нет, пока вы в таком состоянии.

Барнэбас (свирепо хватаясь за его кнопку и нажимая ее). — Сейчас же впустите архиепископа.

Бэрдж-Любэн. — Если вы выйдете из себя, Барнэбас, помните, что нас будет двое против одного.

(Входит Архиепископ. На шее у него белая повязка, заправленная под черный галстук. Одет в короткую шотландскую юбку из черных лент и в мягкие черные башмаки с длинными голенищами на пуговицах. Костюм его в общем мало чем отличается от костюма президента и генерал-статистика, но выдержан в черном и белом цветах. Он старше его преподобия Билли Хэслэма, когда тот ухаживал за Сэвви Барнэбас; но несомненно — это он. На вид ему никак не больше пятидесяти лет, да и для этого возраста он необычайно хорошо сохранился; но мальчишества в его манерах нет и следа: теперь он весь — авторитетность и самообладание. Действительно, президент немножко побаивается его, и совершенно естественно и неизбежно, что Архиепископ начинает говорить первым).

Архиепископ. — Добрый день, господин президент.

Бэрдж-Любэн. — Добрый день, господин архиепископ. Садитесь.

Архиепископ (садится между ними). — Добрый день, господин генерал-статистик.

Барнэбас (злобно). — Добрый день! Я хочу предложить вам один вопрос, если позволите.

Архиепископ (с любопытством глядя на него, удивленный его грубым тоном). — Разумеется. В чем дело?

Барнэбас. — Каково ваше определение слова вор?

Архиепископ. — Довольно устарелое слово, не так ли?

Барнэбас. — В моем ведомстве оно еще живет.

Архиепископ. — Наши ведомства полны пережитков. Посмотрите на мой галстук! На мой передник! На мои башмаки! Все это — пережитки, однако, повидимому, без них я не могу быть настоящим архиепископом.

Барнэбас. — В самом деле! Ну, а в моем ведомстве слово вор продолжает жить, потому что в обществе продолжает жить и самое явление — вор. И это весьма подлое и позорное явление.

Архиепископ (холодно). — Согласен.

Барнэбас. — В моем ведомстве, сэр, вор — есть лицо, которое живет дольше, чем ему разрешается установленным в законе сроком жизни, и продолжает получать народные деньги; если бы такой человек был честным человеком, он бы давно был покойником.

Архиепископ. — Тогда позвольте мне сказать, сэр, что ваше ведомство не понимает своего дела. Если вы неверно исчислили продолжительность человеческой жизни, то вина лежит не на тех лицах, долговечность которых вы не сумели правильно исчислить. И если они продолжают работать и производить, они оплачивают свое существование, хотя бы они прожили два или три столетия.

Барнэбас. — Мне ничего неизвестно относительно их работы и производительности. Это не дело моего ведомства. Я имею дело только со сроками их жизни; и говорю, что ни один человек не имеет права жить и получать деньги, когда ему надлежит быть мертвым.

Архиепископ. — Вы не разбираетесь в зависимости между доходом и производительностью.

Барнэбас. — Я разбираюсь в делах своего ведомства.

Архиепископ. — Этого недостаточно. Ваше ведомство есть часть синтеза, охватывающего все ведомства.

Бардж-Льюбэн. — Синтез! Это — затруднение отвлеченного характера. Это работа для Конфуция. Как раз сегодня он употребил это слово, и я спросил себя, какого чорта он хотел этим сказать? (Вставляет штепсель). Алло! Соедините меня с премьер-министром.

Голос Конфуция. — Вы с ним говорите.

Бардж-Льюбэн. — Затруднение отвлеченного характера, старина. Штука, которой мы не понимаем. Приходите выручать нас.

Архиепископ. — Позвольте спросить, каким образом возник этот вопрос?

Барнэбас. — Ага! Вы начинаете подозревать, не правда ли? Вы считали себя в полной безопасности. Вы...

Бардж-Льюбэн. — Тише, Барнэбас. Не торопитесь.

(Входит Конфуций).

Архиепископ (поднимаясь). — Здравствуйте, господин премьер-министр.

Бардж-Льюбэн (инстинктивно подражая архиепископу, тоже встает). — Окажите нам честь и благоволиите занять место, о мудрец!

Конфуций. — Церемонии излишни.

(Кланяется присутствующим и садится у конца стола. Президент и Архиепископ занимают прежние места).

Бардж-Льюбэн. — Мы хотим представить вам на обсуждение один казус, Конфуций. Предположим, что какой-нибудь человек, вместо того, чтоб сообразоваться с официальным сроком продолжительности его жизни, прожил бы больше двух с половиной столетий — вправе ли был бы генерал-статистик назвать его вором?

Конфуций. — Нет. Он был бы вправе назвать его лжецом.

Архиепископ. — Не думаю, господин премьер-министр. Как вы полагаете, сколько мне лет?

Конфуций. — Пятьдесят.

Бардж-Льюбэн. — Вам нельзя дать столько. Сорок пять. Да и то вы молоды для этих лет.

Архиепископ. — Мне двести восемьдесят три года.

Барнэбас (с мрачным торжеством). — Что! Я — сумасшедший?

Бардж-Льюбэн. — Вы оба сумасшедшие. Извините меня, архиепископ, но это заходит немножко... гм...

Архиепископ (Конфуцию). — Господин премьер-министр, предположите, в виде личного мне одолжения, что я прожил около трех столетий. В качестве гипотезы.

Бардж-Льюбэн. — Что такое гипотеза?

Конфуций. — Это не важно. Я понимаю. (Архиепископу). Как прикажете предположить — что вы жили в своих предках или посредством метемпсихоза?...

Бардж-Льюбэн. — Мет-там-пси... Господи! Что за голова! Конфуций! Что за голова!

Архиепископ. — Ничего подобного. Предположите в самом обыкновенном смысле, что я родился в 1887 году и работал без перерыва в той или другой профессии, начиная с 1910 года. Вор я или нет?

Конфуций. — Не знаю. Воровство было одной из ваших профессий?

Архиепископ. — Нет. Я был всего только архиепископом, президентом и генералом.

Барнэбас. — Он получил пять или шесть доходов, в то время, как имел право только на один, ограбил он или не ограбил казну? Ответьте мне на это.

Конфуций. — Разумеется, нет. Предполагается, что он работал непрерывно с 1910 года. У нас теперь 2170-ый. Каков официальный жизненный срок?

Барнэбас. — Семьдесят восемь. Конечно, это средняя цифра; и мы ничего не имеем против, когда люди изредка доживают до девяноста или даже, в виде курьеза, до ста лет. Но я утверждаю, что человек, перешагнувший за этот предел — мошенник.

Конфуций. — Семьдесят восемь в двухстах восьмидесяти трех содержится больше трех с половиною раз. Ваше ведомство должно архиепископу два с половиною воспитания и три с половиною пенсий при отставке.

Барнэбас. — Вздор! Как это возможно?

Конфуций. — С которого года ваши соотечественники начинают работать для общества?

Бардж-Любэн. — С трех. Они каждый день делают кое-что, начиная с трех лет. Просто для того, чтоб втянуться, понимаете ли. Но самостоятельными, или почти самостоятельными, они становятся с тринадцати.

Конфуций. — А каких лет они выходят в отставку?

Барнэбас. — Сорока трех.

Конфуций. — Это значит, что они трудятся в течение тридцати лет; и получают содержание и образование, не трудясь, в течение тринадцати лет детства и пенсию в течение тридцати пяти лет после отставки, всего сорок восемь лет за каждые тридцать лет труда. Архиепископ дал вам 260 лет труда, а получили от вас только одно образование и ни одной пенсии. Таким образом, вы должны ему пенсию за триста с лишним лет и около восьми образований. Следовательно, вы у него в крупном долгу. Другими словами, он принес нации огромную экономию тем, что прожил так долго; а вы, живя всего семьдесят восемь лет, пользуетесь всеми преимуществами за его счет. Он благодетель: вы — вор. (Приподнимаясь). Могу я теперь удалиться и вернуться к своим серьезным делам, имея в виду, что мой собственный жизненный срок сравнительно краток?

Бардж-Любэн. — Не торопитесь, старина. (Конфуций садится). — Эта гипотеза, или как вы там ее называете, поставлена серьезно. Я не верю; но если архиепископ и генерал-статистик будут настаивать, что это правда, нам придется или пренебречь их заявлениями, или рассмотреть это дело основательно.

Барнэбас. — Бесплезно применять ко мне эти китайские тонкости. Я простой человек; и хотя не понимаю метафизики и не верю в нее, я понимаю цифры; и если архиепископ имеет право всего на семьдесят восемь лет, а забирает 283, я говорю, что он забирает больше того, на что имеет право. Опровергните это, если можете.

Архиепископ. — Я не забирал 283 года; я взял 23, а дал 260.

Конфуций. — А ваши росписи показывают дефицит или излишек?

Барнэбас. — Излишек. Вот этого-то я и не могу понять. Это все козни таких вот людей.

Бардж-Любэн. — Дело ясно. Какой смысл спорить? Китаец говорит, что вы неправы, и делу конец.

Барнэбас. — Я ничего не возражаю против аргументов китайца. Но что вы скажете против моих фактов?

Конфуций. — Если ваши факты заключают в себе случай, что человек прожил 283 года, я советую вам отдохнуть несколько недель на берегу моря.

Барнэбас. — Пора положить конец этим намекам на мое сумасшествие. Пойдите и посмотрите кинематографическую летопись. Говорю вам, этот человек — архиепископ Хэслэм, архиепископ Стайкит, президент Дикенсон, генерал Бэллибой и он сам, на придачу: все пятеро.

Архиепископ. — Я этого не отрицаю. И никогда не отрицал. Меня никто не спрашивал.

Бардж-Любэн. — Но, чорт побери, слушайте, вы!.. Простите, архиепископ, но в самом деле... в самом деле...

Архиепископ. — Не беспокойтесь. Что вы хотели сказать?

Бардж-Любэн. — Послушайте, вы утонули пять раз. Ведь вы же не кошка, насколько мне известно.

Архиепископ. — Это объясняется очень просто. Представьте себе мое положение, когда я в первый раз сделал поразительное открытие, что мне суждено прожить триста лет! Я...

Конфуций (перебивая). — Простите. Такое открытие было невозможно. Вы и до сих пор его еще не сделали. Вы можете прожить миллион лет, если прожили уже двести. Здесь нет речи о трехстах годах. Вы допустили ошибку уже в самом начале вашей прекрасной речи, господин архиепископ.

Бардж-Любэн. — Прекрасно, Конфуций! (Архиепископу). Он вас поймал. Не понимаю, как вы из этого выпутаетесь.

Архиепископ. — Да, это хороший козырь. Но если генерал-статистик отправится в библиотеку Британского Музея и просмотрит там каталог, то под своей фамилией он найдет указание на одну любопытную и теперь забытую книгу, помеченную 1924 годом и озаглавленную «Евангелие Братьев Барнэбас». Это евангелие гласило, что для спасения цивилизации люди должны жить триста лет. Оно доказывало, что такое продление человеческой жизни возможно, и учило его достигнуть. Я женился на дочери одного из этих братьев.

Барнэбас. — Вы хотите сказать, что претендуете на родство со мной?

Архиепископ. — Я не претендую ни на что. Так как в настоящее время у меня имеется, вероятно, три или четыре миллиона кузенов и кузин в той или иной степени родства, я перестал видаться со своей семьей.

Бардж-Любэн. — Господи помилуй! Четыре миллиона родственников! Этот подсчет верен, Конфуций?

Конфуций. — В Китае их могло бы быть сорок миллионов, если бы на население не было наложено узды.

Бэрдж-Любэн. — Умопомрачительно! Это возвращает к... но (приходя в себя) это неправда, понимаете! Сохраним здравый смысл.

Конфуций (архиепископу). — Вы хотите сказать, что знаменитые предки генерал-статистика сообщили вам секрет, при помощи которого вы можете дожить до трехсот лет?

Архиепископ. — Нет. Никакого секрета. Они просто верили, что люди могут жить любое время, какое признают безусловно необходимым для спасения цивилизации от гибели. Я не разделял их убеждения: во всяком случае, не разделял сознательно; я думал, что их теория только забавляет меня. Мой тесть и его брат представлялись мне двумя умными чудаками, которые заговорили друг друга до навязчивой идеи, превратившейся у них в мономанию. И только на восьмом десятке, когда у меня возникли серьезные затруднения с высшими цензурными чиновниками, я начал подозревать истину.

Конфуций. — Истину?

Архиепископ. — Да, господин премьер-министр: истину. Подобно всем революционным истинам, она началась с шутки. Так как после сорока пяти лет я не обнаруживал никаких признаков старения, моя жена часто смеялась надо мной и говорила, что я непременно проживу триста лет. Она умерла шестидесяти восьми; последние ее слова, когда я сидел возле ее постели и держал за руку, были: «Билль, тебе положительно нельзя дать пятидесяти лет. Я думаю...» Она остановилась, так, в раздумьи, заснула и больше уже не проснулась. Тогда и я тоже начал задумываться. Вот вам объяснение трехсот лет, господин министр.

Конфуций. — Оно очень остроумно, господин архиепископ. И очень хорошо изложено.

Бэрдж-Любэн. — Разумеется, вы понимаете, что я ни на минуту не допускаю сомнения в правдивости ваших слов, архиепископ. Ведь вы это знаете, не правда ли?

Архиепископ. — Безусловно, господин президент. Вы только мне не верите: вот и все. Да я на это и не рассчитываю. На вашем месте я бы тоже не верил. Посмотрите лучше фильмы. (Указывая на генерал-статистика). Вот он верит.

Бэрдж-Любэн. — Но как же он с потоплением? Что вы скажете о потоплениях? Человек может утонуть один раз, даже два, если он исключительно неосторожен. Но не станет же он тонуть четыре раза. Он будет бежать от воды, как бешеная собака.

Архиепископ. — Может быть, премьер-министр найдет этому объяснение.

Конфуций. — Чтоб сохранить свой секрет, вам надо было умереть.

Бэрдж-Любэн. — Да бросьте вы все это, ведь он же не мертвый!

Конфуций. — В социальном отношении это невозможно — если человек не делает того, что делают все остальные. Человек должен умереть в положенное время.

Барнэбас. — Конечно. Простой вопрос чести.

Конфуций. — Вовсе нет. Простая необходимость.

Бэрдж-Любэн. — Ну, вот, повесьте меня, если я это понимаю! Я превосходно жил бы вечно, если б мог.

Архиепископ. — Это не так просто, как вы думаете. Вы, господин премьер-министр, уловили всю трудность положения. Позвольте мне напомнить вам, господин президент, что мне было больше восьмидесяти лет, когда закон 1969 года о перераспределении государственных доходов предоставил мне право на прекрасную пенсию при отставке. Благодаря моей молодежавшей наружности, я подвергся преследованию за попытку обманчивым образом получить народные деньги, когда явился получать свою пенсию. Я не мог представить никаких доказательств; потому что свидетельство о моем рождении было разорвано в клочки бомбой, ударившей в сельскую церковь много лет тому назад, — во время первой из великих современных войн. Меня снова заставили работать, как сорокалетнего, я должен был проработать еще пятнадцать лет, так как предельный возраст тогда был пятьдесят пять лет.

Бэрдж-Любэн. — Неужели пятьдесят пять! Как же люди мирятся с этим?

Архиепископ. — Меня не хотели отпустить даже и тогда, я все еще был чересчур молод по виду. В течение нескольких лет я причинял властям постоянное беспокойство. Промышленная полиция то и дело забирала меня, отказываясь верить, что я уже вышел из трудового возраста. Меня начали звать Вечным Жидом. Вы представляете себе всю невыносимость моего положения? Я предвидел, что еще через двадцать лет по официальной моей метрике мне будет значиться семьдесят пять лет; а по наружности моей невозможно будет допустить, что мне больше сорока пяти; настоящий же мой возраст будет равняться ста семнадцати годам. Что мне было делать? Искусственно поседеть? Ковылять на двух палках? Подражать голосу столетнего старца? Лучше убить себя.

Барнэбас. — Вы должны были убить себя. В качестве честного человека — вы не имели права на большее, чем установленный для честных людей жизненный срок.

Архиепископ. — Я и убил себя. Это было очень просто. Во время купального сезона, я оставил на берегу свое платье, вложив в карман документы, удостоверяющие мою личность. Потом уехал в незнакомое место, притворился, будто потерял память и не знаю ни своего имени, ни возраста — и вообще ничего о себе. Меня лечили, и я выздоровел, но память не вернулась. С тех пор, как я вступил на этот путь привычной смены жизни и смерти, я проделал несколько разных карьер. Три раза был архиепископом. Когда я убедил власти

снести все наши города и выстроить их заново с самого основания, или перенести их на другие места, я попал в артиллерию и был произведен в генералы. Я был президентом.

Бэрдж-Льюбэн. — Дикенсоном?

Архиепископ. — Да.

Бэрдж-Льюбэн. — Но ведь тело Дикенсона было найдено; его прах погребен в храме Святого Павла.

Архиепископ. — Тело почти всегда находили. Во время купального сезона утопленников бывает очень много. Меня несколько раз сжигали. Сначала я обыкновенно присутствовал при своих похоронах в переодетом виде, потому что читал про одного человека, который так поступал; это в старинном романе одного автора, по имени Беннет, у которого, помню, я занял в 1912 году пять фунтов. Но мне это надоело. Теперь я даже не перейду на другую сторону улицы, чтоб прочесть свою последнюю эпитафию.

(Премьер-министр и президент имеют довольно мрачный вид. Их недоверие, наконец, побеждено).

Бэрдж-Льюбэн. — Послушайте. Понимаете ли вы, господа, как это ужасно? Ведь мы сидим спокойно в присутствии человека, смерть которого запоздала на два столетия. Он может в любую минуту рассыпаться в прах на наших глазах.

Барнэбас. — Только не он. Он будет получать свою пенсию до конца света.

Архиепископ. — Не совсем так. Мой жизненный срок всего триста лет.

Барнэбас. — Во всяком случае, вы переживете меня: с меня этого достаточно.

Архиепископ (холодно). — Почему вы знаете?

Барнэбас (сбитый с толку). — Почему я знаю?

Архиепископ. — Да: почему вы знаете? Я относительно себя даже и не подозревал ничего почти до семидесяти лет. Я только кичился своей молодостью. До девятидесяти лет я не относился к этому с достаточной серьезностью. Даже и теперь я иногда бываю неуверен, хотя привел вам причины, заставляющие меня думать, что совершенно неумышленно я приговорил себя к тремстам годам жизни.

Бэрдж-Льюбэн. — Но что вы для этого делаете? Едите лимоны? Или бобы сои? Или...

Архиепископ. — Я ничего для этого не делаю. Оно делается само. Это может случиться со всяким. Может случиться с вами.

Бэрдж-Льюбэн (уясняя себе полное значение сказанного). — Значит, мы трое находимся, может быть, в одной лодке с вами, сами того не подозревая?

Архиепископ. — Может быть. Поэтому я советую вам быть очень осторожными, прежде чем предпринять какие-нибудь шаги, могущие осложнить мое положение.

Бэрдж-Льюбэн. — Ну, я сдаюсь. Один из моих секретарей еще сегодня утром сказал мне, какой прекрасный и молодежавший у меня вид. Барнэбас: я абсолютно убежден, что я один... скажем, одна из жертв? — этой странной судьбы.

Архиепископ. — Ваш пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадед составил себе такое же убеждение, на седьмом десятке. Я знавал его.

Бэрдж-Льюбэн (уныло). — А — а! Но он умер.

Архиепископ. — Нет.

Бэрдж-Льюбэн (с надеждой). — Вы хотите сказать, что он жив до сих пор?

Архиепископ. — Нет. Он был убит. Под влиянием убеждения, что он проживет до трехсот лет, он совершенно изменился. Начал говорить людям правду; и это им так не понравилось, что они воспользовались некоторыми пунктами парламентского постановления, которое он же сам провел во время Четырехлетней войны и сознательно забыл затем его отменить. Его засадили в Лондонский Тоуэр, а потом расстреляли.

(Аппарат звонит).

Конфуций (отвечает). — Да? (Слушает).

Женский голос. — Министр внутренних дел просит принять.

Бэрдж-Льюбэн (не совсем расслышав). — Кто просит принять?

Конфуций. — Министр внутренних дел.

Барнэбас. — Ах, чорт возьми! Эта ужасная женщина!

Бэрдж-Льюбэн. — В ней, несомненно, есть что-то такое, слегка пугающее. Не понимаю хорошенько, почему; она ведь совсем недурна собой.

Барнэбас (теряя терпение). — Ради Бога, не впадайте в фривольность.

Архиепископ. — Он над этим не властен, господин генерал-статистик. Трое из его шестнадцати пра-пра-пра-прадедов женились на урожденных Льюбэн.

Бэрдж-Льюбэн. — Ну, ну! Я вовсе не впадаю в фривольность. Я не приглашал сюда эту даму. Кто из вас пригласил ее?

Конфуций. — Это ее официальная обязанность — раз в три месяца делать личный доклад президенту.

Бэрдж-Льюбэн. — Ах, вот что! В таком случае, я полагаю, что моя официальная обязанность — принять ее. Пожалуй, надо попросить ее сюда. Вы ничего не имеете против? Она вернет нас к реальной жизни. Не знаю, как чувствуете себя вы, а я так положительно ошалел.

Конфуций (говорит в телефон). — Президент примет министра внутренних дел сейчас же.

(Они молча смотрят на дверь, в ожидании министра внутренних дел).

Бэрдж-Льюбэн (внезапно, архиепископу). — Я полагаю, вы были женаты очень много раз?

Архиепископ. — Один раз. Не очень-то станешь клясться в верности до смерти, когда ее надо ждать триста лет.

(Снова устанавливается тягостное молчание. Входит министр внутренних дел. Это — красивая женщина, повидимому, в расцвете лет, с изящной, стройной, очень прямой фигурой и поступью богини. Выражение ее лица и осанка важны, резки, решительны, грозны, непреклонны. Она одета в тунику Дианы, заменяющую блузу, на голове серебряная корона, вместо золотого обруча. В остальном — платье ее не особенно отличается от костюма мужчин, которые встают при ее появлении и склоняют головы в инстинктивном ужасе. Она подходит к свободному стулу между Барнэбасом и Конфуцием).

Бэрдж-Льюбэн (с решительной веселостью и любезностью). — Я в восторге, что вижу вас, миссис Лютетринг.

Конфуций. — Мы польщены вашим небесным присутствием.

Барнэбас. — Здравствуйте, сударыня.

Архиепископ. — Я не имел удовольствия встречаться с вами раньше. Я архиепископ Йоркский.

М-с Лютетринг. — Наверное мы встречались, господин архиепископ. Я помню ваше лицо. Мы... (внезапно обрывает). Ах, нет! Я теперь припоминаю: это был кто-то другой. (Садится).

(Все садятся).

Архиепископ (тоже в замешательстве). — Вы уверены, что ошиблись? У меня тоже возникают какие-то ассоциации в связи с вашим лицом, м-с Лютетринг. Вот как будто все время открывается дверь — и в дверях показывается вы. И та же приветливая улыбка, как сейчас, когда вы узнали меня. Уж не открывали ли вы мне когда-нибудь дверь?

М-с Лютетринг. — Я часто открывала дверь человеку, которого вы мне напомнили. Но он умер много лет тому назад.

(Остальные, за исключением архиепископа, быстро переглядываются).

Конфуций. — Разрешите спросить, как много лет тому назад?

М-с Лютетринг (пораженная его тоном, смотрит на него с неудовольствием, потом отвечает). — Это безразлично. Давно.

Бэрдж-Льюбэн. — Не делайте поспешных заключений относительно архиепископа, М-с Лютетринг. Он птица гораздо постарше, чем вы думаете. Во всяком случае, старше вас.

М-с Лютетринг (с грустной улыбкой). — Не думаю, господин президент. Но тема эта деликатная. Я бы предпочла оставить ее.

Конфуций. — Тут есть один вопрос, который не был задан.

М-с Лютетринг (очень решительно). — Если этот вопрос касается моего возраста, господин премьер-министр, лучше его не задавать. Все интересующее вас по части моих личных дел, вы найдете в книгах господина генерал-статистика.

Конфуций. — Вопрос, который я имел в виду, будет обращен не к вам. Но позвольте мне заметить, что ваша шепетильность в этом направлении чрезвычайно странна, так как обнаруживается в женщине, которую мы считаем бесконечно выше обычных слабостей.

М-с Лютетринг. — У меня могут быть причины, не имеющие ничего общего с обыкновенными слабостями, господин премьер-министр. Надеюсь, вы отнесетесь к ним с уважением.

Конфуций (поклонившись ей в знак согласия). — Итак, я задаю свой вопрос. Имеете ли вы, господин архиепископ, какие-либо причины предполагать, как повидимому это и есть, что случившееся с вами не случилось с другими людьми?

Бэрдж-Льюбэн. — Да, чорт возьми! Это мне и в голову не пришло!

Архиепископ. — Мне никогда не приходилось встречать другого случая, кроме моего.

Конфуций. — Почему вы знаете?

Архиепископ. — Ну, никто никогда не говорил мне, что находится в таком же необычном положении.

Конфуций. — Это ничего не доказывает. Вы сами-то говорили кому-нибудь о своем положении? Нам никогда не говорили. Почему вы нам никогда не говорили?

Архиепископ. — Я поражен этим вопросом, исходящим от такого острого ума, как ваш, господин министр. В том возрасте, когда я открыл, что со мной случилось, я был уже достаточно стар и знал, что надо опасаться жестокой ненависти, с которой человеческие животные, подобно всем прочим животным, набрасываются на всякую злополучную особь, имеющую несчастье в каком-либо отношении не походить на них: быть, что называется, ненормальным. Среди произведений классика двадцатого века Уэллса, вы найдете повесть об одном племени, где люди были вдвое выше обыкновенного человеческого роста, и другую повесть о человеке, попавшем в руки расы слепорожденных. Великанам пришлось сражаться с малорослыми, чтобы отстоять свое право на жизнь; а зрячему слепые выкололи бы глаза, если бы он не бежал в пустыню, где погиб самым жалким образом. Поучительный вывод Уэллса и в этом случае и в других не прошел для меня бесследно. Кстати, Уэллс одолжил мне однажды пять фунтов, которые я ему так и не отдал; и это до сих пор тревожит мою совесть.

Конфуций. — А разве вы были единственным читателем Уэллса? Если были люди в вашем положении, разве у них не имелось тех же причин хранить тайну?

Архиепископ. — Это верно. Но я бы знал. Вы, недолговечные люди, ужасно ребячливы. Если бы я встретил человека моих лет, я сразу узнал бы его. Но я никогда не встречал.

М-с Лютетринг. — Как вы думаете — вы узнали бы женщину ваших лет?

Архиепископ. — Я...

(Останавливается и поворачивается к ней, пытливо смотрит, пораженный намеком и подозрением, которое сейчас явилось у него).

М-с Лютетстринг. — Сколько вам лет, господин архиепископ?

Бэрдж-Любэн. — Он говорит, двести восемьдесят три. Вот как он мило шутит. Вы знаете, м-с Лютетстринг, он уж почти заставил нас поверить ему, но тут вы вошли и очистили воздух своим крепким здоровым смыслом.

М-с Лютетстринг. — Вы действительно так чувствуете, господин президент? Я слышу в вашем голосе ноту бодрого утверждения. Но не слышу ноты убежденности.

Бэрдж-Любэн (вскочив со стула). — Послушайте. Перестанем говорить об этой проклятой чепухе. Я не хочу быть резким; но это расстраивает мне нервы. Самая лучшая шутка теряет всю прелесть, когда заходит за известные пределы. Этот предел достигнут. Я... я очень занят сегодня. У нас у всех пропасть дел. Вот Конфуций вам скажет, какой мне сегодня предстоит тяжелый день.

Барнэбас. — Разве у вас имеется что-нибудь важнее этого, если это правда?

Бэрдж-Любэн. — Ах, если, если, если это правда! Но это неправда.

Барнэбас. — Да и вообще, у вас есть ли какие-нибудь дела?

Бэрдж-Любэн. — Какие-нибудь дела! Вы позабыли, Барнэбас, что, случайно, я президент, и что бремя всех государственных дел этой страны на моих плечах.

Барнэбас. — У него есть какое-нибудь дело, Конфуций?

Конфуций. — Он должен быть президентом.

Барнэбас. — Это означает, что ему нечего делать.

Бэрдж-Любэн (угрюмо). — Очень хорошо, Барнэбас. Продолжайте валять дурака. (Садится). Продолжайте.

Барнэбас. — Я не уйду из комнаты, пока мы не докопаемся до дна в этом мошенничестве.

М-с Лютетстринг (тяжко, ужасающе повернувшись к генерал-статистику). — До чего, как вы сказали?

Конфуций. — Эти слова не могут быть доказаны. Вы затемняете ими спор.

Барнэбас (довольный, что может избежать ее взгляда, обратившись к Конфуцию). — Ну! этого противоестественного ужаса. Это вас удовлетворяет?

Конфуций. — Это приемлемо. Но мы не можем осуждать себя на путаницу, которая может возникнуть из-за различного толкования слова «ужас».

Архиепископ. — Под словом ужас генерал-статистик подразумевает только нечто необычное.

Конфуций. — Я отмечаю, что уважаемый министр внутренних дел, узнав о преклонном возрасте почтенного прелата, не обнаруживает никаких признаков изумления или недоверия.

Бэрдж-Любэн. — Она не принимает этого в серьез. Да и кто примет? Скажите, м-с Лютетстринг?

М-с Лютетстринг. — Я принимаю это совершенно серьезно, господин президент. Я вижу теперь, что сначала ошиблась. Я действительно уже встречалась с архиепископом.

Архиепископ. — Я был в этом уверен. Этот образ открываемой мне двери и женского лица, приветствующего меня, несомненно воспоминание о чем-то, реально имевшем место; хотя теперь мне это представляется как видение ангела, отверзающего предо мной врата рая.

М-с Лютетстринг. — Или горничной, открывающей дверь дома, где жила женщина, в которую вы были влюблены?

Архиепископ (с искаженным лицом). — Это — то, что было в действительности? Как вырастают подобные вещи в нашем воображении! Но позвольте мне сказать, м-с Лютетстринг, что превращение горничной в ангела не более поразительно, чем превращение горничной в весьма достойного и делового министра внутренних дел, с каким я имею честь говорить. Я узнаю в вас ангела. Откровенно говоря, я не узнаю горничной.

Бэрдж-Любэн. — Что это такое — горничная?

М-с Лютетстринг. — Вымерший вид. Женщина в черном платье и белом переднике, открывавшая парадную дверь, когда люди стучали или звонили, и бывшая или ваним тираном или ватней рабой. Я была горничной в доме одного из отдаленных предков генерал-статистика. (Конфуцию). Вы спрашивали, сколько мне лет, господин премьер-министр. Двести семьдесят четыре.

Бэрдж-Любэн (любезно). — Вам нельзя их дать. Положительно нельзя!

М-с Лютетстринг (серьезно повернув к нему лицо). — Посмотрите хорошенько, господин президент.

Бэрдж-Любэн (храбро смотрит на нее, потом улыбка исчезает с его лица, и он внезапно закрывает глаза руками). — Да, вам можно дать столько. Теперь я вижу, что это правда. Конфуций, соединитесь с домом умалишенных и прикажите прислать за мной карету.

М-с Лютетстринг (архиепископу). — Зачем вы выдали свою тайну? нашу тайну?

Архиепископ. — Они сами доискались. Меня выдали кинематографическая летопись. Но я никогда не воображал, что есть и другие, кроме меня. А вы?

М-с Лютетстринг. — Я знала еще одну. Она была кухаркой. Но ей надоело, и она лишила себя жизни.

Архиепископ. — Боже мой! Однако, ее смерть упрощает положение, так как мне удалось убедить этих господ, что всю эту историю лучше не разглашать.

М-с Лютетстринг. — Что вы! Когда о ней знает президент! Да весь город будет оповещен еще до конца этой недели.

Бэрдж-Льюбэн (оскорбленно). — Вот как, м-с Льютстринг! Вы говорите так, как будто я общепризнанный болтун. Барнэбас, неужели у меня такая репутация?

Барнэбас (смирненно). — Ничего не поделаешь. Это у вас конституциональное.

Конфуций. — Это в высшей степени не конституционно... Но, как вы говорите, тут уж ничего не поделаешь.

Бэрдж-Льюбэн (торжественно). Я протестую, — никогда, ни одному человеку я не проговорился ни о какой государственной тайне. Разве что министру народного здравия, который — сама олицетворенная скромность. Люди думают, что, раз она негрityнка...

М-с Льютстринг. — Сейчас это не имеет особого значения. В свое время, это могло бы иметь большое значение. Но мои дети все умерли.

Архиепископ. — Да: дети, должно быть, причинили вам страшные затруднения. К счастью для меня, у меня их не было.

М-с Льютстринг. — У меня была дочь, которую я безумно любила. Через несколько лет после того, как я утонула в первый раз, я узнала, что она лишилась зрения. Я поехала к ней. Она была уже девяностолетняя старуха, слепая. Она попросила меня сесть и поговорить с ней, потому что мой голос напомнил ей голос ее покойной матери.

Бэрдж-Льюбэн. — Осложнения тут, должно быть, получаются ужасные. Я положительно не знаю, хотел ли бы я прожить многим дольше, чем другие.

М-с Льютстринг. — Вы всегда можете лишить себя жизни, как сделала кухарка: но у нее была инфуэнца. Долгая жизнь сложна и даже страшна, но в то же время и чудесна. Я не поменялась бы с обыкновенной женщиной, как не поменялась бы с бабочкой поденкой, живущей всего час.

Архиепископ. — Что навело вас впервые на эти мысли?

М-с Льютстринг. — Книга Конрада Барнэбаса. Ваша жена говорила мне, что эта книга гораздо замечательнее Наполеонова оракула и Календаря Старого Мавра, которые мы с кухаркой постоянно читали. Я была очень невежественна. Мне это показалось не так невозможным, как показалось бы образованной женщине. Но я позабыла обо всем, вышла замуж, стала женой бедняка и тянула лямку, рожала детей и казалась на двадцать лет старше своего настоящего возраста; и, наконец, однажды, уже много лет после того, как муж мой умер, а дети жили собственным трудом и разбрелись по свету — однажды я заметила, что по внешнему виду я на двадцать лет моложе, чем мне было на самом деле. Истина раскрылась передо мной мгновенно.

Бэрдж-Льюбэн. — Поразительный момент. Ваши тогдашние ощущения, должно быть, не поддаются описанию. Какова была ваша первая мысль?

М-с Льютстринг. — Неподеленный ужас. Я видела, что маленьких моих сбережений хватит не надолго, и что мне опять придется идти в люди и работать. Тогда существовали так называемые пенсии для престарелых: жалкая подачка для выдохшихся старых тружеников, которых обрекали на голодную смерть. Я боялась, что попадусь, если буду получать эту пенсию слишком долго. Ужасная перспектива второй жизни, полной тяжелого труда, возможность потерять с таким трудом заработанный отдых и лишиться моих жалких сбережений, — это вытеснило из моей головы все остальное. Вы, нынешние люди, не можете себе представить страха бедности, висящего над нами тогда, или безмерного утомления от сорока лет нескончаемой непосильной работы и от попыток превратить шиллинг в фунт.

Архиепископ. — Удивляюсь, что вы не лишили себя жизни. Я часто удивляюсь, почему люди в те недобрые старые времена не убивали себя. Они не убивали даже других.

М-с Льютстринг. — Себя не убиваешь, потому что всегда можно отложить это до завтра. А на то, чтоб убить другого, не хватает энергии и убежденности. Да и потом, как станешь осуждать других, когда на их месте сам стал бы делать то же.

Бэрдж-Льюбэн. — Дьявольски-жалкое утешение.

М-с Льютстринг. — В те дни для людей, подобных мне, существовали другие утешения. Мы пили алкогольные препараты, чтоб избавиться от тяготы жизни и искусственно вызвать в себе ощущение счастья.

Бэрдж-Льюбэн	} вместе, с гримасой. —	{	Алкоголь!
Конфуций			Фу-у!
Барнэбас			Какая гадость!

М-с Льютстринг. — Небольшое количество алкоголя исправило бы ваш характер и манеры, господин генерал-статистик, и сделало бы общение с вами гораздо приятнее.

Бэрдж-Льюбэн (смеясь). — Чорт побери, я вам верю! Попробуйте, Барнэбас.

Конфуций. — Нет. Попробуйте чай. Из двух ядов — это наиболее культурный.

М-с Льютстринг. — Когда вы, господин президент, родились — вы уже были отравлены этим вашим здоровьем и избытком сил. Вы не можете себе представить, что значил алкоголь для такой изголодавшейся женщины, как я. Я тщательно рассчитывала свои маленькие сбережения, так что могла «напиваться», как это у нас называлось, один раз в неделю; и единственным моим удовольствием было предвкушение этого жалкого кутежа. Это-то и спасло меня от самоубийства. Я не могла отказаться от моей следующей попойки. Когда же я перестала работать и стала жить на свою пенсию, усталость от моей каторжной жизни постепенно начала проходить, потому что, понимаете, я ведь не была по настоящему стара. Я оправилась. Стала

молодеть и молодеть. И, в конце концов, настолько отдохнула, что у меня явилось мужество и силы начать новую жизнь. Кроме того, политические перемены сделали жизнь легче; для девяти десятых людей, привыкших быть наемными рабами, жить стало немножко лучше. После этого, я никогда не возвращалась к старому и не сбивалась с пути. Единственное, о чем я теперь жалею, это, что я умру, когда мне минет триста лет или около того. Была только одна вещь, омрачавшая мою жизнь; теперь и она исчезла.

Конфуций. — Можно спросить, что именно?

М-с Лютеттинг. — Вы, пожалуй, обидитесь, если я скажу.

Бэрдж-Любэн. — Обидимся! Дорогая лэди, неужто вы полагаете, что после такого ошеломляющего открытия, что либо, кроме удара молотом, способно произвести на нас хотя бы малейшее впечатление?

М-с Лютеттинг. — Ну, так вот: мне, видите ли, было ужасно тяжело никогда не встречаться со взрослыми людьми. Вы все такие дети. А я никогда особенно не любила детей, за исключением той единственной дочери, пробудившей во мне материнские чувства. По временам я чувствовала себя странно одинокой.

Бэрдж-Любэн (с прежней галантностью). — Но разумеется, м-с Лютеттинг, это произошло по вашей вине. Разрешите мне сказать, что такой обаятельной женщине никогда не пришлось бы быть одинокой.

М-с Лютеттинг. — Почему?

Бэрдж-Любэн. — Почему? Ну... Ну... ммм... Ну... (умолкает).

Архиепископ. — Он хочет сказать, что вы могли бы выйти замуж. Курьезно, до какой степени они не понимают нашего положения.

М-с Лютеттинг. — Я была замужем. Я вторично вышла замуж в день своей сто первой годовщины. Но, разумеется, мне пришлось выйти за пожилого человека: шестидесяти с лишним лет. Он был знаменитый художник. На смертном одре своем он сказал мне: «Мне потребовалось пятьдесят лет на изучение моего ремесла и на то, чтоб написать все дурацкие картины, какие человеку необходимо написать и сбить, прежде чем, через них, он подойдет к тому великому, что он должен писать. И теперь, когда нога моя, наконец, ступила на порог храма, я убеждаюсь, что одновременно это и порог моей могилы». Этот человек был бы величайшим художником всех времен и народов, проживи он столько, сколько я. Он умер от старости в то время, как по его собственным словам, он был всего только дилетант, подобно всем современным художникам.

Бэрдж-Любэн. — Но зачем же вам было выходить за пожилого человека? Почему вам не выйти за молодого? или, скажем, за человека средних лет? Если бы мое сердце уже не было занято, и если бы, сказать по правде, я немножко не боялся вас — потому что, по нашему общему признанию, вы женщина весьма выдающаяся, — я почел бы себя счастливым...

М-с Лютеттинг. — Господин президент: злоупотребляли ли вы когда-нибудь невинностью малого ребенка для удовлетворения своих чувств?

Бэрдж-Любэн. — Господи помилуй, сударыня, за кого вы меня принимаете? Какое право вы имеете задавать мне такие вопросы?

М-с Лютеттинг. — Мне в настоящее время двести семьдесят пять лет. А вы предлагаете мне воспользоваться невинностью тридцатилетнего младенца и выйти за него замуж.

Архиепископ. — Неужели вы, недолговечные люди, не можете понять, что сумбур, незрелость и примитивный анимализм, в которых мы живем первые сто лет нашей жизни, в области сексуальной еще хуже, чем во всех иных областях, а потому вы для нас в этом отношении совершенно нестерпимы.

Бэрдж-Любэн. — Не хотите ли вы сказать, м-с Лютеттинг, что смотрите на меня, как на ребенка?

М-с Лютеттинг. — А неужели вы думаете, что я могу относиться к вам, как к человеку с вполне развитой душой? О, вам есть отчего меня бояться! Бывают моменты, когда ваша легковесность, ваша неблагодарность, ваша праздная веселость — вызывают во мне такую тошноту, что если б я не напоминала себе, что вы — ребенок, я не устояла бы перед искушением усумниться в вашем праве на жизнь вообще.

Конфуций. — Неужели вы отняли бы у нас немногие отпущенные нам годы? Вы, — на долю которой выпало целых триста!

Бэрдж-Любэн. — Вы обвиняете меня в легкомыслии! Позвольте напомнить вам, сударыня, что я — президент, а вы всего только — глава ведомства!

Барнэбас. — Да еще и в неблагодарности! Вы получаете пенсию в течение трехсот лет, когда мы должны вам только за семьдесят восемь; и вы называете нас неблагодарными!

М-с Лютеттинг. — Да. Когда я подумаю о благах, которые были излиты на вас, и сопоставлю их с бедностью, с унижениями, с тревогами, с сердечными муками, с наглостью и тиранией, которые были ежедневным уделом человеческого рода, когда я училась страдать, вместо того, чтоб учиться жить! когда я вижу, как легко вы все это принимаете! как вы ворчите из-за помятых лепестков на ваших ложах из роз! как вы разборчивы относительно своей работы, которую, если ее не сделать вам интересной или приятной, вы предоставляете негритянкам и китайцам, — когда я вижу это, я спрашиваю себя: смогут ли даже триста лет размышлений, вдумчивости и опыта спасти вас от уничтожения той властью, которая создала вас и будет вершить над вами суд.

Бэрдж-Любэн. — Дорогая лэди, наши китайцы и цветнокожие друзья вполне счастливы. Им в двадцать раз лучше живется здесь, чем в Китае или в Либерии. Они выполняют свое дело вели-

коленно, и выполняя его, освобождают нас для занятия более высокими предметами.

Архиепископ (заражаясь ее негодованием). — А способны ли вы к занятиям более высокими предметами? ведь вы выходите в отставку семидесяти лет, а в восемьдесят умираете!

М-с Льютстринг. — На самом деле вы не выполняете никакой работы высшего порядка. Предполагается, что вы решаете и распоряжаетесь; но негритянки и китайцы вырабатывают за вас ваши мнения и подсказывают вам ваши приказания, точь в точь, как мой брат, сержант гвардии, в старину вертел своими офицерами. Когда мне нужно добиться чего-нибудь в министерстве народного здравия, я иду не к вам: я иду к чернокожей даме, которая все время после вашего последнего избрания была подлинным президентом, или к Конфуцию, который остается несменяемым при всех сменах президентов.

Бэрдж-Любэн. — Это оскорбление. Это измена белой расе. И позвольте сказать вам, сударыня, что я никогда в жизни не встречался с министром народного здравия и что я протестую против вульгарного предрассудка относительно цветных рас, умаляющего деловые способности этой женщины и ее огромные заслуги перед государством. Мои отношения к ней чисто телефонные, граммофонные, фотофонные, и, прибавлю еще, чисто платонические.

Архиепископ. — Во всяком случае, у вас нет никаких причин их стыдиться, господин президент. Но разберем положение безотносительно к личностям. Станете ли вы отрицать, что то, что происходит, превратило английский народ в акционерную компанию, допускающую азиатов и африканцев в качестве акционеров?

Барнэбас. — Это не верно. Мне известно все относительно старинных акционерных компаний. Акционеры там не работали.

Архиепископ. — Да, но, подобно им, мы получаем дивиденд, все равно, работаем или нет. Мы работаем отчасти потому, что знаем, что если мы не станем работать, не будет и дивидендов, а отчасти потому, что если мы откажемся, на нас будут смотреть, как на умственно дефективных и засадят в камеру Леты. Но над чем же мы работаем? До тех мелких реформ, которые мы были вынуждены ввести, благодаря революциям, последовавшим за четырехлетней войной, наши правящие классы были так богаты, как это тогда называлось, что они превратились в самых интеллектуально ленивых и умственно ожирелых людей на земном шаре. Порядочная доля этого жира до сих пор еще пристала и к нам.

Бэрдж-Любэн. — В качестве президента, я не могу выслушивать такую непатриотическую критику нашего национального характера, господин архиепископ.

Архиепископ. — В качестве архиепископа, господин президент, я считаю своим официальным долгом беспощадно критиковать нацио-

нальный характер. Во время канонизации Святого Генрика Ибсена, вы сами снимали покров с его памятника, на пьедестале которого красуется благородная надпись: «Я пришел призвать к покаянию не грешников, а праведников». Доказательство моих слов в том, что к выполнению нашей рутинной работы, к выполнению того, что можно назвать нашей орнаментальной и скульптурной работой, все более и более стремятся англичане, тогда как мыслительная, организационная, руководящая работа выполняется желтыми мозгами, коричневыми мозгами и черными мозгами, как в дни моей юности она исполнялась еврейскими мозгами, шотландскими, итальянскими, германскими мозгами. Единственные белые люди, которые еще выполняют серьезную работу, это те, что подобно генерал-статистику не обладают способностью наслаждаться и не имеют никаких общественных талантов, делающих людей приятными вне их служебных кабинетов.

Барнэбас. — Вот дьявольское бесстыдство! У меня, во всяком случае, достаточно талантов, чтоб вывести вас на свежую воду.

Архиепископ (не обращая внимания на эту вспышку). — Если вы сейчас убьете меня, вам придется назначить мне в преемники индейца. Я сегодня пользуюсь правом старшинства не как англичанин, но как человек, имеющий за собой более полутора столетия опыта вполне зрелого существования. Мы даем власти целиком перейти в руки цветных народов. Еще через сто лет мы превратимся попросту в их балованных домашних животных.

Бэрдж-Любэн (шумно протестуя). Нам отнюдь не грозит такая опасность. Я согласен, что мы передаем им наиболее трудную часть государственных дел. И прекрасно: к чему над ними корпеть? Зато подумайте об использовании наших досугов! Есть ли на свете более приятное место для жизни, чем Англия в неприсутственные часы. А кому мы обязаны этим? Самим себе, а не неграм. Негры и китайцы хороши со вторника до пятницы, а с пятницы до вторника — их просто нигде нет; настоящая же жизнь Англии — с пятницы до вторника.

Архиепископ. — Это страшно верно. Придумывать глупейшие забавы, предаваться им с огромным рвением и принимать их самым искренним образом в серьез — в этом наш английский народ мастер на удивление всему миру. И всегда был. И это как раз отлично; потому что иначе чувственность англичан сделалась бы болезненной и погубила бы их. Что меня поражает, так это то, что эти забавы их действительно забавляют. Это забавы для мальчиков и девочек. Они извинительны до пятидесяти или шестидесятилетнего возраста: дальше они становятся смешны. Я скажу вам: плохо в нас то, что мы — какая-то несовершеннолетняя раса; ирландцы же и шотландцы, негры и китайцы, хотя их жизнь так же коротка, как наша, или и еще короче, — все-таки каким-то образом ухитряются вырасти раньше своей смерти. Мы умираем в юности; зрелость.

которая сделала бы из нас величайшую из наций — лежит для нас за могилой. Или мы погибнем седобородыми старцами с палками для игры в гольф в руках, или должны стремиться жить подольше.

М-с Льютстринг. — Да, так оно и есть. Я бы не сумела выразить это, словами: но вы высказались за меня. Даже будучи невежественной домашней рабой, я чувствовала, что у нас есть возможность сделаться великой нацией; но наши недостатки и безумства довели меня до цинического отчаяния. Тогда мы все этим кончали. Именно высшие существа созревают всего медленнее, и они всего беспомощнее в период своей незрелости. Теперь я знаю, что мне потребовалось целых сто лет, чтоб вырасти. Серьезная жизнь моя началась, когда мне минуло сто двадцать лет. Азиаты не могут управлять мною: я не ребенок в их руках, как вы, господин президент. И архиепископ, я уверена, тоже нет. Они меня уважают. А вы недостаточно взрослые даже для этого, хотя любезно заявили, что боитесь меня.

Бэрдж-Любэн. — По совести, да. И не считите меня слишком грубым, если я скажу, что если б мне предстояло выбирать между белой женщиной, по возрасту годящейся мне в прабабушки, и между чернокожей, равной мне по возрасту, я, вероятно, нашел бы чернокожую более симпатичной.

М-с Льютстринг. — Может быть, и более привлекательной по цвету?

Бэрдж-Любэн. — Да. Если вы меня спрашиваете, более? — нет, не более привлекательной: я не отрицаю, что у вас восхитительная внешность — но я сказал бы: пышнее, ярче, более напоминающей Венецию, тропики. «Переливающая ливрея вороненого солнца».

М-с Льютстринг. — Наши женщины и их излюбленные романисты уже начинают поговаривать о мужчинах с золотым цветом лица.

Конфуций (распускаясь в улыбку и лицом и всем телом). А-а-а-х!

Бэрдж-Любэн. — Ну, так что же, сударыня. Вы не читали очень интересную книгу библиотекаря Биологического общества, который предсказывает, что будущее мира — в руках мулатов.

М-с Льютстринг (вставая). — Господин архиепископ, если белой расе суждено спастись, то наше назначение очевидно.

Архиепископ. — Да, наш долг совершенно ясен.

М-с Льютстринг. — У вас не найдется времени поехать сейчас ко мне и поговорить?

Архиепископ (вставая). С удовольствием.

Барнэбас (тоже встает, устремляется мимо м-с Льютстринг к двери и преграждает ей выход). Нет, вы не поедете. Бэрдж, вы понимаете, нет?

Бэрдж-Любэн. — Нет. В чем дело?

Барнэбас. — Они собираются пожениться.

Бэрдж-Любэн. — А почему же им не пожениться, раз им хочется?

Барнэбас. — Им вовсе не хочется. Они сделают это с полным хладнокровием, потому что дети их будут жить триста лет. Этого нельзя допустить.

Конфуций. — Вы не можете этого предотвратить. Нет такого закона, который давал бы вам власть помешать им.

Барнэбас. — Если они меня к тому вынудят, я добьюсь закона о запрещении браков для людей старше семидесяти восьми лет.

Архиепископ. — Времени слишком мало, мы успеем заключить брак раньше, господин генерал-статистик. Будьте любезны, пропустите, пожалуйста, меня и женщину.

Барнэбас. — Времени достаточно, чтоб засадить вас в камеру. Леты раньше, чем из вашего брака что-нибудь выйдет. Не забывайте этого.

М-с Льютстринг. — Какая нелепость, господин генерал-статистик. Прощайте, господин президент. Прощайте, господин премьер-министр.

(Те встают и кланяются ей. Она идет прямо на генерал-статистика, который инстинктивно отступает перед ней, и она выходит из комнаты).

Архиепископ. — Вы меня поражаете, господин Барнэбас. Ваш тон — словно эхо из мрака времен.

(Уходит вслед за министром внутренних дел. Конфуций, качая головой и прищелкивая языком в знак сожаления об этом печальном эпизоде, подходит к стулу, только что покинутому Архиепископом, становится позади него и, сложив ладони, смотрит на президента. Генерал-статистик потрясает кулаком вслед ушедшим и разражается страшной бранью по их адресу).

Барнэбас. — Воры! Проклятые воры! Вампиры! Что вы думаете делать, Бэрдж?

Бэрдж-Любэн. — Делать?

Барнэбас. — Да, делать. Таких людей на свете наверное дюжины. Неужели вы позволите им сделать то, что намерены сделать только вышедшие отсюда — смести нас с лица земли.

Бэрдж-Любэн (сядая). — Ну, что вы, Барнэбас! Что плохого собираются они сделать? Разве они вас не интересовали? Разве они вам не нравятся?

Барнэбас. — Нравятся? Я их ненавижу! Это чудовища, кровавые чудовища. Они для меня — яд.

Бэрдж-Любэн. — Какие же разумные возражения можно представить против того, чтобы они жили столько, сколько смогут? Ведь это же не сокращает наших жизней?

Барнэбас. — Если я должен умереть семидесяти восьми лет, я не вижу, почему другой человек может иметь привилегию прожить до двухсот семидесяти восьми. Это относительно сокращает мою жизнь. Это делает нас сменяемыми. Если они будут ростом в две-

надцать футов, ведь они всех нас превратят в карликов. Они говорили с нами так, словно мы дети. О любви между нами не может быть и речи: их ненависть к нам обнаружилась очень быстро. Вы слышали, что сказала эта женщина, и как архиепископ подержал ее?

Бэрдж-Любэн. — Но что же мы можем с ними сделать?

Барнэбас. — Убить.

Бэрдж-Любэн. — Чепуха!

Барнэбас. — Засадить в тюрьму. Обесплодить как-нибудь, все равно, как.

Бэрдж-Любэн. — Но на каком же основании?

Барнэбас. — На каком основании вы убиваете змею? Сама природа подсказывает вам это.

Бэрдж-Любэн. — Милый Барнэбас, вы сошли с ума.

Барнэбас. — Вы не находите, что повторяли мне это сегодня чересчур часто?

Бэрдж-Любэн. — Я не думаю, чтобы вы встретили в ком-нибудь сочувствие.

Барнэбас. — Понимаю. Я знаю вас. Вы думаете, что и вы их поля ягода.

Конфуций. — Господин генерал-статистик, и с вами может быть то же.

Барнэбас. — Как вы смеете обвинять меня в таких вещах? Я честный человек, а не чудовище. Я завоевал себе место в обществе жизни, доказав, что истинная продолжительность человеческой жизни — семьдесят восемь лет. И я до последней капли крови буду противиться всякой попытке изменить или опровергнуть это утверждение.

Бэрдж-Любэн. — Ах, перестаньте, перестаньте! Успокойтесь! Как можете вы, потомок великого Конрада Барнэбаса, человека, которого до сих пор помнят по его бесподобной Биографии Черного Таракана, доходить до таких нелепостей?

Барнэбас. — А вам я рекомендовал бы написать автобиографию осла! Я подниму всю страну против этой гнусности — и против вас тоже, если вы проявите малейший признак слабости в этом отношении.

Конфуций (очень выразительно). — Вы пожалеете, если это сделаете.

Барнэбас. — Что же заставит меня пожалеть?

Конфуций. — Все до одного мужчины и женщины в государстве начнут надеяться прожить триста лет. Произойдут вещи, которых вы не в состоянии предвидеть: страшные вещи! Семья распадется: родители и дети перестанут разделяться на старших и младших: братья и сестры будут встречаться, как чужие, после сотни лет разлуки: узы крови утратят свою чистоту и невинность. Воображение людей — получив свободу работать над возможностями, скры-

тыми в трех столетиях жизни, доведет их до безумия и разрушит человеческое общество. Это открытие должно быть глубочайшей тайной. (Садится).

Барнэбас. — А если я откажусь сохранить тайну?

Конфуций. — Я запрячу вас в сумасшедший дом на другой же день после того, как вы проболтаетесь.

Барнэбас. — Вы забываете, что я могу сослаться на архиепископа, который подтвердит мое показание.

Конфуций. — И я тоже. Как вы думаете, кого из нас он поддержит, когда я разъясню ему, что ваша цель в раскрытии его возраста — добиться того, чтобы его убили?

Барнэбас (в отчаянии). — Бэрдж, неужели вы станете на сторону этого желтого уродца против меня? Что вы, — государственные деятели и члены правительства, или ответные негодяи?

Конфуций (невозмутимо). — А знали ли вы хоть одного государственного деятеля, которого бранчивые люди не называли бы ответным негодяем, когда какой-нибудь неосмотрительный субъект рассказывал о нем публике больше, чем следовало.

Барнэбас. — Попридержите свой язык, дерзкий язычник. Бэрдж, я говорил с вами.

Бэрдж-Любэн. — Ну, что ж, милый Барнэбас, вы знаете, Конфуций очень сообразительный мальчик. Я понимаю, куда он клонит.

Барнэбас. — Понимаете? Тогда позвольте мне заявить, что за исключением официальных дел я никогда не скажу с вами ни слова. Вы слышите?

Бэрдж-Любэн (легкомысленно). — Скажете! Скажете!

Барнэбас. — И не смейте никогда больше со мной разговаривать. Слышите! (Направляется к двери).

Бэрдж-Любэн. — А я буду! Буду! Прощайте, Барнэбас! Господь с вами!

Барнэбас. — Желаю вам жить вечно и быть посмешищем всего мира!

(В бешенстве выбегает).

Бэрдж-Любэн (снисходительно посмеиваясь). — Он отлично сохранил тайну. Я знаю Барнэбаса. Не беспокойтесь.

Конфуций (тревожно и серьезно). — Нет тайн, кроме тех, которые себя сами хранят. Подумайте. В Государственном Архиве имеются эти фильмы. Мы не в силах помешать заведующему летописью опубликовать открытие, сделанное его ведомством. Мы не можем заставить молчать американца — кто может заставить молчать американца?! Или людей, принимавших его сегодня. К счастью, фильма не может доказать ничего, кроме сходства.

Бэрдж-Любэн. — Совершенно верно. В конце концов, все это невероятная чепуха, правда?

Конфуций (поднимает голову и смотрит на него). — Вы решили не верить, как только поняли все неудобство положения. Чисто английский метод. В данном случае он может оказаться недействителен.

Бэрдж-Любэн. — Чорт бы побрал англичан! Это — здравый смысл. Знаете, эти двое нас загниготизировали. Это несомненно. Они, разумеется, обманули нас. Обманули, правда?

Конфуций. — Вы взглянули в лицо этой женщине и поверили.

Бэрдж-Любэн. — Ну, да. На этом-то она меня и поймала. Я не поверил бы ей ни на поту, если б она повернулась ко мне спиной.

Конфуций (несколько раз медленно качает головой). — ???

Бэрдж-Любэн. — Вы в самом деле думаете... (запинается).

Конфуций. — Архиепископ всегда был для меня загадкой. Еще с тех пор, как я научился отличать одно английское лицо от другого, я отметил то, о чем говорила эта женщина: что английское лицо — не лицо взрослого человека, точно так же, как английский ум — не ум взрослого человека.

Бэрдж-Любэн. — Оставьте это, Джон Китаец. Если существовала когда-либо раса, предназначенная для того, чтоб опекать невзрослые расы, направлять их, обучать и спасать от бед, пока они не вырастут и не станут способными усвоить наши учреждения, то эта раса — английская раса. Единственная раса в мире, отличающаяся этой характерной чертой. Ну?

Конфуций. — Это фантазия ребенка, няньчащего куклу. Но с вашей стороны в десять раз большее ребячество оспаривать величайший комплимент, какой я когда-либо вам говорил.

Бэрдж-Любэн. — Вы называете комплиментом то, что подводите нас под рубрику взрослых детей?

Конфуций. — Вы не взрослые дети, а дети пятидесяти, шестидесяти, семидесяти лет. Ваша зрелость настолько запоздала, что вы никогда ее не достигаете. Надо, чтобы вами управляли расы, которые созревают к сорока годам. Это значит, что потенциально вы наиболее высоко развитая раса на земле, и были бы на самом деле величайшей расой, если б могли прожить достаточно долго, чтоб достигнуть зрелости.

Бэрдж-Любэн (уловив, наконец, его мысль). — Чорт возьми! Конфуций, а ведь вы правы! Я никогда об этом не думал. Этим все объясняется. Мы действительно школьники: нечего это отрицать. Заговорите с англичанином о чем-нибудь серьезном — он с минуту будет слушать вас с любопытством, точь в точь так, как он слушает ребенка, исполняющего классическую музыку. Потом он возвращается к своему морскому гольфу, автомобилю, аэроплану или к женщинам, все равно, как кусок растянутой резинки, когда ее отпустишь (улыкаясь своей мыслью). О, да, вы совершенно правы. Мы только еще переживаем свое детство. Мне следовало бы лежать в детской колясочке и иметь няню, которая катала бы меня. Это верно, безусловно верно. Но когда-нибудь мы ведь вырастем; и тогда, клянусь Богом, мы им покажем!

Конфуций. — Архиепископ — взрослый. Когда я был ребенком, я подчинялся и боялся людей, относительно которых теперь знаю, что они были слабее и глупее меня, боялся потому, что в самом их возрасте было нечто чудесное, что меня пугало. Признаюсь, хотя я сохранял самообладание, но архиепископа я всегда побаивался.

Бэрдж-Любэн. — Между нами, Конфуций, и я тоже.

Конфуций. — Это-то меня и убедило. То же самое в лице женщины убедило вас. Их вступление в историю расы — не обман. Оно даже не удивляет меня.

Бэрдж-Любэн. — Ах, да перестаньте! Не удивляет! Это ваша всегданняя поза: никогда ничему не удивляться; но если вы не удивились этому, вы — не человек.

Конфуций. — Я потрясен, как был бы потрясен человек взрывом, для которого он сам заложил и поджег фитиль. Но я не удивлен, потому что, в качестве философа, изучавшего эволюционную биологию, я пришел к тому выводу, что развитие, подобное этому, неизбежно. Если бы я не подготовился таким образом к доверчивости, то никакая очевидность в роде фильм и прекрасных речей не убедила бы меня. А так, как обстоит дело — я верю.

Бэрдж-Любэн. — Ну, хорошо, раз это установлено, что же, чорт возьми, должно случиться дальше? Каков наш ближайший шаг?

Конфуций. — Мы не сделаем ближайшего шага. Ближайший шаг сделают архиепископ и женщина.

Бэрдж-Любэн. — Их брак?

Конфуций. — Более того. Они сделали важное открытие, что они не одни на свете.

Бэрдж-Любэн. — Вы думаете, есть еще другие?

Конфуций. — Каждый из них думает, что он или она — единственный, с кем случилось это чудо. Но теперь архиепископ знает истину. Он поместит объявление в выражениях, понятных только долговечным людям. Он объединит их и организует. Они устремятся из всех стран земного шара. И сделают огромной силой.

Бэрдж-Любэн (встревоженный). — Что вы, неужели? Пожалуй, да. Я думаю, не прав ли, в конце концов, Барзбас? Следует ли нам это допускать?

Конфуций. — Мы ничем не можем предотвратить это. Да в глубине души и не можем по настоящему желать предотвратить: жизненная сила, вызвавшая эту перемену, будет парализовать наше противодействие ей, если бы мы оказались настолько безумны, чтоб противодействовать. Но мы и не станем противодействовать. Ведь и вы, и я тоже можем оказаться в числе избранных.

Бэрдж-Любэн. — Да, на этом мы всегда среемся. Но, чорт! Что же нам делать? Ведь что-нибудь надо же с этим сделать?

Конфуций. — Давайте, посидим спокойно и молча обдумаем, какие перед нами выходы.

Бэрдж-Любэн. — Чорт поberi, вы, кажется, правы. Посидим. (Они сидят и думают, китаец — естественно, президент — с видимым усилием и напряженно. Он положительно впивается взглядом в будущее, когда раздается голос негритянки).

Негритянка. — Господин президент!

Бэрдж-Любэн (радостно). — Да! (Берет штепсель). Вы дома?

Негритянка. — Нет. Омега, нуль, икс в квадрате.

(Президент поспешно вставляет штепсель в пюпитр, приводит в действие диферблат и нажимает кнопку. Экран становится прозрачным, и негритянка, в роскошном туалете появляется, повидимому, на мостике паровой яхты, среди залитого солнцем зеркального моря. Аппарат, посредством которого она сообщается, находится возле компаса).

Конфуций (оглядывается и откидывается назад с криком отвращения). — Ах! Прочь! Прочь! (Выбегает из комнаты).

Бэрдж-Любэн. — В какой это части побережья?

Негритянка. — Бухта Финшгард. Почему бы вам не прокатиться сюда и не провести со мной денек? Я не прочь быть сегодня доступнее.

Бэрдж-Любэн. — Но Финшгард! Двести семьдесят миль!

Негритянка. — В половине семнадцатого по Ирландской воздушной дороге отходит экспресс-молния. Вас спустят в бухту на парашюте. Купанье вас освежит. А я вас подберу, обушу и постараюсь, чтоб вы провели время как можно приятнее.

Бэрдж-Любэн. — Чудесно. Но, пожалуй, немножко рискованно, не правда ли?

Негритянка. — Рискованно! Я думала, вы ничего не боитесь.

Бэрдж-Любэн. — Я не то, что боюсь, но...

Негритянка (обиженно). — Но вы думаете, что это не особенно заманчиво. Прекрасно! (Поднимает руку, чтоб вынуть штепсель из своего пюпитра):

Бэрдж-Любэн (умоляюще). — Нет, подождите, позвольте мне объяснить, не разъединяйте еще минутку. Ах, прошу вас!

Негритянка (ждет, держа руку на штепселе). — Ну, что такое?

Бэрдж-Любэн. — Видите ли, еще недавно я вел себя очень безрассудно, так как был уверен, что жизнь моя настолько коротка, что не стоит о ней беспокоиться. Но я только-что узнал, что могу прожить... ну, да, что я могу прожить гораздо дольше, чем предполагал. Я уверен, что при вашем уме, вы согласитесь, что это значительно меняет дело. Я...

Негритянка (со сдержанным бешенством). — О, вполне! Прошу вас не рисковать из-за меня вашей драгоценной жизнью. Извините, что побеспокоила вас. Прощайте.

(Выдергивает штепсель и исчезает).

Бэрдж-Любэн (настойчиво). — Нет, ради бога подождите! Уверю вас... (громкое гуденье). Занято! Кого это она вызывает? (Нажимает кнопку и кричит). Верните премьер-министра. Скажите ему, что мне необходимо его видеть, на минутку.

Голос Конфуция. — Женщины нет?

Бэрдж-Любэн. — Нету, нету, все в порядке. На одну минутку, если... (Конфуций входит). Конфуций, у меня важное дело в бухте Финшгард. Ирландская воздушная дорога может снустить меня в море на парашюте. Надеюсь, это совершенно безопасно, не правда ли?

Конфуций. — Ничего нет совершенно безопасного. Воздушная дорога так же безопасна, как любой из наших способов передвижения. Парашют тоже безопасен. Но море не безопасно.

Бэрдж-Любэн. — Почему? Ведь мне же дадут костюм, в котором нельзя утонуть.

Конфуций. — Вы и не утонете; но вода очень холодная. Вы можете схватить на всю жизнь ревматизм.

Бэрдж-Любэн. — На всю жизнь! Это решает дело: я не желаю рисковать.

Конфуций. — Отлично. Наконец-то вы становитесь осторожны; вы уже не то, что у вас называется спортсмен, — вы благоразумный трус, почти взрослый человек. Поздравляю вас.

Бэрдж-Любэн (решиительно). — Трус или не трус, но во всем мире нет женщины, ради которой я стал бы обрекать себя на вечный ревматизм. (Встает и подходит к рамке взять свой головной обруч). Я передумал: поеду домой. (Небрежно надевает обруч). Добрый вечер.

Конфуций. — Так рано? А если позвонит министр народного здравия, — что ей сказать?

Бэрдж-Любэн. — Скажите ей, пусть убирается к чорту! (Уходит).

Конфуций (качает головой, шокированный невежливостью президента). — Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. О, эти англичане! Эти грубые молодые цивилизации! Что за манеры! Свиньи! Свиньи!

Перев. с английского

К. Жижарева

КЛОД МАК-КЭЙ

В американской литературе все чаще раздается голос негра. В семье выдающихся негритянских поэтов теперь появился еще один — Клод Мак-Кэй. Только что в Нью-Йорке вышла его новая книга «Гарлемские тени», откуда мы и заимствуем печатаемые ниже стихи.

Мак-Кэй еще молодой человек. Он родился на острове Ямаике в 1890 году. До двадцати двух лет он писал стихи на диалекте ямайских негров, за что и получил в 1912 году медаль от Института Искусств и Наук, — первую медаль, присужденную негру. Поселившись в Нью-Йорке, он работал чистильщиком сапог, лакеем в ресторане и пр., продолжая в то же время творить, — и вскоре выбился на литературную дорогу. В настоящее время он состоит одним из редакторов журнала «Liberator» («Освободитель»). К. Ч.

ПРОКЛЯТИЕ ПОРАБОЩЕННОГО

Помыслию лишь о расе черной, той,
В чреде веков презренной, угнетенной.
Личеванной не раз, угла лишенной
На христианском Западе, в родной
Своей стране обкраденной, наследство
Утратившей там, где встречала детство, —
Вдруг сердце станет тяжелей свинца,
И из глубин души кричу я жадно,
Чтоб Ангелы Отмщенья беспощадно
Мир белый истребили до конца:
Пусть рухнет он в разверзнутые бездны,
Всклубится дымом жертвы в купол звездный,
Клеймо стирая с черного лица!

Перев. с английского
Валерий Брюсов

МАРСЕЛЬ МАРТИНЭ

ИЗ КНИГИ «ПРОКЛЯТЫЕ ГОДЫ»

Знакомство русского читателя с Марселем Мартинэ, волей случая, началось с конца: первой появилась у нас его последняя по времени вещь, — драма «Ночь»: она печаталась на столбцах газет, она появилась в отдельном издании, о ней писала литературная и политическая критика, она увидела свет русской сцены. Между тем, это далеко не типичская и вовсе не наиболее значительная вещь Мартинэ. Правда, его литературный багаж вообще не велик: на его писательском пути есть только три поэмы: «Проклятые годы», роман «Дом под защитой» и драма «Ночь». Но тем заметнее выступает их неравное значение для характеристики Мартинэ. В сущности, не прегрешая против истины и не умаляя дарования Мартинэ, можно сказать, что Мартинэ — *poeta unius libri*, человек одной книги. Такой книгой явилась его литературная первина — «Проклятые годы». С 30-го июля 1914 года — дата, которой помечена главная, ставшая знаменитой, поэма книги, ниже напечатанная в переводе, — и по текущие дни 1922 года, то-есть на протяжении восьми лет, Мартинэ был творчески целиком исчерпан работой над созданием первой книги, которой он посвятил три слишком года. Обе позднейшие вещи, собственно, живут за счет «Проклятых годов», как их отголоски, их развитие или их выводы, во всяком случае — как создание более слабой творческой воли или, осторожнее, как создание меньшей творческой удачи. Может быть, будущее изменит что-либо в этом отношении, но пока в литературе Марсель Мартинэ — есть автор «Проклятых годов».

Поэма «Ты идешь сражаться» — лучшая и центральная вещь книги. Это стержень ее. Остальные сорок четыре поэмы располагаются вокруг нее, как вокруг магистрали. Они варьируют ее, нюансируют, дополняют, но не меняют ее основного тона. Ее мощь и целостность поражает — особенно во французской литературе. Она как-то вне традиций этой литературы. Она вдвойне революционна: и социально-политически, и формально-художественно. Не то, что нет для этого жанра Мартинэ французских аналогий или предпосылок: *vers libre* вообще, — в частности, могучие верхарновские ритмы, с одной стороны, и с другой — великолепные прозаизмы, введенные во французскую поэзию мастерами бывшего «Аббатства» (Вильдраком, Дюамелем, Ромэном) подготовили ритмику и лексику Мартинэ; но настоящее ее происхождение, конечно, все же чисто уитмэнианское, и в этом отношении значительно то, что с Мартинэ впервые уитмэнианство перестало быть литературным «чехлом», внешним «приемом», ходовым «стилем». Оно стало звучанием живой, органической поэзии.

Мы воспринимаем ныне эти поэмы Мартинэ несколько менее ярко, чем в те годы, когда они появились. Их лозунги нам давно знакомы, их пафос

мы пережили. И все же они сотрясают нас, как воздушная волна звучащего колокола. Надо представить себе, как прозвучали они в финальный год войны, когда книга появилась в свет. Во Франции ее не допустили к изданию. Она была впервые напечатана в Швейцарии, в Женеве, в 1917 году, и переведана во Франции, только с ослаблением цензурных строгостей, после заключения мира. Она создала Мартинэ настоящую славу; ее лучшие части, в особенности поэма: «Ты идешь сражаться», были переведены на другие языки, и из за вражеских границ слышались отклики: таков ответ немецкого поэта Карла Оттена Марселию Мартинэ, начинающийся словами «Брат, я услышал твой крик...» Сравнительно обширная поэтическая литература «братания» бывших враждебных лагерей, вроде «Kameraden der Menschheit» на немецком языке или «Le coeur de l'ennemi» на французском — может считать книгу Марселия Мартинэ своей родоначальницей.

Печатаемые ниже поэмы носят две исторические даты: июль 1914 года и ноябрь 1918 года. Этим объясняется то, что именно эти поэмы выбраны для первого знакомства с поэзией Мартинэ: тут ее первый звук, и ее последний. Перевод всей книги печатается «Всемирной Литературой» в серии «Новости иностранной литературы».

А. Э.

I

ТЫ ИДЕШЬ СРАЖАТЬСЯ

Ты идешь сражаться.

Покидая
Мастерские, заводы, конторы, верфи, —

Покидая, крестьянин,
Свой плуг, между борозд, лезвиями кверху,
На корню посева, на лозах гроздя,
И быков, мычащих к тебе с поля, —

Покидая, приказчик, твоих сударынь,
Их перчатки, их юбки, их флаконы,
Их наглые речи, их светские манеры,
Покидая твою столь любезную улыбку. —

И ты, рудокоп, покидая шахты,
Где ты выхаркивал легкия
Черной мокротой, —

И ты, стекольник, покидая плавильню,
Ценко держащую твои безумные взоры, —

И ты, солдат, покидая казарму,
И глухой двор, где томят тоскою,
И глупую жизнь, где тебя обучают
Покрепче забыть привычное дело,
Покидая улицу веселых притонов,
И пьяный кабак, и проститутку, —

Ты идешь сражаться.

Ты идешь сражаться?
Ты бросаешь свой облик, ты нужду бросаешь,
Ты бросаешь инструмент, служащий хозяину,
Ты идешь сражаться?

Уж не против ли этого тебя родившего буржуа,
Что иногда приезжает к тебе в деревню,
Мальчик при ферме, смотрящий за плугом,
И любит давать тебе советы,
Читая своему отвергнутому чаду
Маленькую проповедь о милосердии?

Уж не против ли этого кавалера дамы,
Что платила за твою любезную улыбку
Продавца, служащего за сто франков в месяц,
Покупая заказанные платья,
Изготовленные в мансардах?

Уж не против ли этого акционера коней,
Иль против владельца стекольного завода?

Уж не против ли этого фата в визитке,
Пришедшего в свет, чтобы развратничать с мальчиками
В отдельных кабинетах,
И чтобы пьянствовать с твоими девушками,
Выпивая твоё вино, виноградарь,
Из твоего стакана, рабочий-стекольник?

Уж не против ли тех, кто в своих казармах
Тебя муштровал, чтоб ты был защитой
Их шкурам и их владеньям,
Против хилой тени восстанья,
Которое в шахтах, или на фабриках,
Или на верфях, поднять могли бы
Твои братья, твои братья, рабочий?

Бедняк, ты идешь сражаться?
Против богатых? Против хозяев?
Против тех, — что едят твою долю?
Против тех, — что едят твои годы?
Против откормленных, что пожирают

Долю и жизнь твоих маюток?
Против тех, у кого есть авто,
У кого есть лакеи, у кого есть виллы,—
Авто, обдающие твою блузу грязью,
Виллы, на которые ты глядишь сквозь решетку,
Лакеи, глумящиеся над твоей рабочей курткой?

Ты идешь сражаться за твой кусок хлеба?
За твою мысль и за твое сердце?
За твоих ребятишек или за мать их?
Против тех, что тебя обобрали,
Против тех, что тебя осмеяли,
Против тех, что тебя загрязнили
Своим милосердием, своей клеветой?
Бедный дряхлец, бедный согбенец,
Бедный бунтарь, ты идешь сражаться
Против создавших тебе нищую душу,
Сердце отчаявшегося и сердце поверженного?..

О, бедняк, рабочий, крестьянин,
Вместе с создавшими тебе нищую душу
Вместе с богатым, вместе с хозяином,
Вместе с расстреливавшими тебя на стачках,
Чтобы уменьшить твою заработную плату,
За тех, кто построили для тебя вокруг фабрик
Храмы и тюрьмы,
Кто заставил плакать у опустевшего шкафа
Твоих маюток и жену без хлеба,—
За тех, что создал тебе нищую душу,
Чтоб ты на них одних работал,
И чтоб не смущали их великое сердце
Слезы их родины,—

Чтоб сам ты крепче забыл свою долю
О, бедняк, крестьянин, рабочий,
Вместе с богатым, вместе с хозяином,
Против ограбленных, против раздавленных,
Против таких же, против себя же
Ты идешь сражаться, ты идешь сражаться!

Что ж, — иди!

На конгрессах вы жали друг другу руки,
Товарищи. Общая кровь текла по общему телу.
Лондон, Берлин, Париж, Вена, Москва, Брюссель —
Все собрались там; единый народ рабочих
Там собрался; старый мир, угнетатель и варвар.

Чуя уже над собой нажим ваших сомкнутых рук,
Трепетал, различая, как там, в глубине, поднимаются
Сквозь его неравенство, сквозь его тиранию,
Голоса справедливости и освобождения, —
Вчера.

Созидатели городов, — свободные, гордые души —
Прямые сердца, — вы там были, братья по оружию, стоя,
Слитые вместе перед общим врагом —
Вчера.

А сегодня? Сегодня, как и вчера,
Лондон, Берлин, Париж, Вена, Москва, Брюссель, —
Снова вы там; единый народ рабочих
Там. Да, он там, этот народ рабов,
Этот народ хвастунов и клятвопреступных братьев.

Эти руки, что ты пожимал,
Теперь держат крепко винтовку,
Пики и сабли,
Теперь они ставят пушки,
Снарядные ящики и пулеметы, —
Против тебя.
И у тебя, у тебя тоже есть пулеметы,
И ты тоже крепко держишь винтовку,
Против такого ж, как ты.

Работай, рабочий!
Металлист из Крезе, пред тобой
Такой же металлист из Эссена —
Убей его!
Рудокоп из Сакса, пред тобой
Такой же рудокоп из Ленса, —
Убей его!
Докер из Гавра, пред тобой
Такой же докер из Бремена, —
Убей же, убей, убейте друг друга, —
Работай, рабочий!

О, взгляни себе на-руки!

О, бедняк, рабочий, крестьянин,
Взгляни на свои тяжелые, черные руки,
Взгляни ослабевшими красными глазами
На твоих дочерей, на их бледные щеки,
На твоих сыновей, на их хилые руки,
Взгляни на их помертвевшее сердце,
И на старую жену, — взгляни на лицо ее,
Что уже двадцать лет с тобою рядом,

И на ее жалкое тело, и на увядшую душу,
И еще вот на это перед тобою, —
Взгляни на эту общую яму,
Там отец твой и мать, и там друзья твои —

И теперь, и теперь,
Иди сражаться!

Четверг, 30 июля 1914.

II

ЭТОТ МИР

Они тебя славят

И я, — и я тебя вижу.
И бывают минуты,
Когда и мое, мое сердце бьется свободно,
Когда и я чувствую эту легкость дыхания,
И это сияние, и этот восторг...

Они больше не будут убивать друг друга!
И вновь раскрыта земля со всеми морями и тропами.
И вновь пробил час
Возродившейся жизни и закрывшихся ран.

Они больше не будут убивать друг друга!
О, как небо прекрасно с своими осенями и веснами, —
— Но есть этот пустой рукав у безрукого,
И он заграждает дорогу мне, —
Но есть этот кашель у человека с остановившимся взглядом —
И вот погибло оно, светлое молчание.

Я иду. Поднимаются ветви туманом мечтаний
На лучащемся небе, светлом, как горлица.
О сладость жизни, тончайшей, всечувствующей. —
— Но есть эти матери с черными вуалями...

Этот мир... Снова будем мы жить. О, други мои убиенные,
Тени, полные крови, с жизнью моею слитые...
Мир?... Мои думы о вас, об ужасном мире убитых.

8 ноября 1918 года.

III

ПОНЕДЕЛЬНИК 11-го НОЯБРЯ 1918 года

Звон колокольный, звон колокольный —
По всем этим улицам, во всех этих людях, —
Перезвон колокольный —
Над домами, над фабриками,
Над полями, вдали замирающими,
Над горами, над долами, —
Звон колокольный, звон колокольный.

О, как лицо твое бледно!
И не бьется ли сердце твое так, что вот-вот разобьется?
И желание плакать
Словно страх не сжимает ли горла?

Мне хочется крикнуть: о Боже!
О, Боже, и вы все, — вы, люди вселенной.
Неужели же правда, что нет ее, нет ее больше?
Неужели же правда, что больше не убивают друг друга?

Мертвые, о мои мертвые, так страшно погибшие, —
Неужели же правда, что все уже кончено,
И что больше я вас не увижу?

О, как звонят они! Как звонят они!
О, как звонят они, во всех сердцах, —
Тех, что знают, и тех, что плачут.

Да! Да! Они больше не будут убивать друг друга, —
Но чувствовать радость на этом кладбище?...
Но быть здесь счастливым?..

И однако же сердце трепещет:
Звон колокольный, — отовсюду, — звон колокольный,
Простите же меня, убиенные:
Любовь моя — там в ваших бедных могилах,
С вами она, вся она с вами,
Но ведь мы дождались конца, мы дождались конца.
О, как звонят они! Как звонят они!
Вы недвижимые, павшие — простите меня,
Мир снова, снова свободен.

Перевел с французского
Абрам Эфрос

А. ЛУНАЧАРСКИЙ

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НОВЕЙШЕЙ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

Германская литература с большой силой, а иногда и большим талантом, отражает те яркие переживания, которые происходят теперь в глубине души великого народа, потерпевшего катастрофическое крушение.

Присматриваясь к германской литературе, нельзя не отметить, что совершенно ушло в прошлое всякое формальное эстетство. Не только новая Германия, но и большинство старых писателей, прежде казавшихся богу «искусство для искусства», теперь от него отходят целиком.

Что же идет на место этого, игравшего крупную роль, течения? Прежде всего, конечно, известная часть германской литературы остро революционизировалась. Если Генрих Манн, например, который и раньше, в последний период своего творчества, был ярко выраженным прогрессистом, сделался сейчас довольно яростным защитником республики с уклоном к социализму, то другие пошли еще гораздо дальше и стали на точку зрения революционной оппозиции и к самой буржуазной республике в тех формах, в каких она отличалась сейчас в Германии.

Особенно значительное число революционеров, так или иначе примыкающих к коммунизму, имеется среди молодежи, в частности, среди рабочей молодежи. В скором времени я думаю опубликовать специальный этюд о пролетарской поэзии в Германии. В своих рядах группа пролетарских поэтов насчитывает несколько несомненных талантов. Немного правее стоят те, по нашей терминологии футуристические, по немецкой — экспрессионистские, группы, которые колеблются между идейно-революционным толстовством и практически-революционным коммунизмом; я бы сказал: между позицией Ромэн-Роллана и позицией Барбюса. Сюда относятся такие крупные поэты, как недавно скончавшийся Рубинер, как лирик и драматург Верфель, примыкающий скорее к правому уклону, роллановскому, и такой писатель, как Штернгейм (кажется, даже организационно принадлежащий к так называемой рабочей коммунистической партии), как молодой Газенклевер, как сидевший в тюрьме в качестве коммуниста Толлер и многие другие. Эти писатели интеллигенты, даже в самых левых своих устремлениях, во многом являются на наш взгляд еретиками, что, конечно, отнюдь не уменьшает ни литературных достоинств, ни даже социальной значительности их сочинений, ибо только самые узкоголовые педанты

могут требовать теперь какой-то программности от искусства и не понимать, что вольное искусство революционно только тогда, когда революционность эта органически ему присуща. Разумеется, у пролетариев коммунистов чрезвычайно возможно совпадение верности программы и свободы их исканий, и революционного инстинкта. Для интеллигентов это гораздо менее возможно. Во всяком случае, и пролетарская поэзия хороша только тогда, когда такое совпадение является естественным, а отнюдь не тогда, когда искусство подгоняется к программным колодам. Если существуют еще коммунисты, смотрящие на дело иначе, то им стоит только пересмотреть блестящие страницы, посвященные Марксом Гете, и вспомнить ту головомойку, которую задал Маркс Либкнехту за его отзыв о Гейне.

Однако из этого не следует, чтобы коммунистическая критика не имела права указывать в произведениях поэта, драматурга, романиста тенденции по ее мнению ошибочные, или даже вредные, а это в первую голову относится к социал-нацизму, весьма охотно заявляющему о своей близости ко всемирной революции, но творящему в значительной степени в духе благородной пассивности.

Еще хуже то, что как раз от этого же пункта немецкой литературы, т. е. от благородного нацизма, начинается, как это было в России с Толстым, запыряние с богом.

Совершенно естественно, что страна, пережившая огромные потрясения и отнюдь не свободная еще и до войны от различных христианских, метафизических, или метафизико-религиозных элементов, сейчас, в минуту глубокой горечи, откачнувшись к мистике.

Мистицизм очень распространен сейчас в германской литературе. Начиная с грубейшего спиритизма и успехов талантливого шарлатана Штейнера, до тончайших пантеистических чаяний, иногда полных глубочайшей прелести и, может быть, не подлежащих даже огульному философскому осуждению. Есть такие нюансы этого пантеизма, которые по существу не противостоят любой научной точке зрения, как марксизм не противостоят, по заявлению Плеханова, спинозизму, взятому, как целостное мирозерцание.

Одним из замечательнейших, на мой взгляд, проявлений немецкой поэзии, одним из образчиков ее является небольшой сборник «Благовещение», антология молодых лириков, изданный под редакцией очень тонкого и очень характерного для Германии литературного критика Рудольфа Кайзера (не смешивать с знаменитым германским драматургом Георгом Кайзером). Для издания этого сборника собрались почти все силы самой молодой Германии, т. е. поэтов, которым от 20 до 30 лет. Пролетарские поэты, правда, здесь не представлены.

Общий характер группы ярко выражен в предисловии Кайзера, в так называемом «прологе». Уже эпиграфом к этому прологу Кайзер берет слова Новалиса: «ничто не может быть более поэтично, чем переходные эпохи, чем многосложные смещения».

«Время осени 1920 года с ее усталой атмосферой — отнюдь не может считаться временем подъема и завершения. Это, наоборот, период понижения, или, во всяком случае, перехода, а если выхода, то только в виде бледных теней предутренней зари. Это конец культуры, плодотворной и творческой, начало которой совпало с ренессансом».

И далее: «после годов юношеского кипения, после вспыхнувших было призывов к революции мы должны признать: Германия не

достигла исполнения. Мы люди гонимые, мы люди ищущие, мы застряли между сыновством и отцовством. Вот почему слова ныне предлагаемой нами антологии не заключают в себе никакого юношеского задора, и это является моей гордостью. В первый раз в наше время собралась молодежь, которая незаражена чрезмерным оптимизмом».

Кайзер называет своих собратьев по перу «проблематистами», но вместе с тем присоединяется к лозунгу Фридриха Шлегеля: «в каждом хорошем стихотворении все должно быть преднамеренно и все инстинктивно».

«Как раз в наше время, — говорит Кайзер, — время тоски и неудовлетворенности, лирика есть наиболее подходящая литературная форма. Великая драматургия свойственна классическим эпохам, когда воззрения на мир и искусство уверены в себе и круглы. Великая эпика предполагает точку зрения, позволяющую широкие кругозоры. Не случай поэтому, что книга лирики решается быть представительницей нашего времени: самое содержание нашего времени, по существу, лирично. Лирика нашего времени родилась из нужды, жажды будущего. Она ищет новой родины и новой веры. Она религиозна, она старается открыть пути к новому богу, к некоему языкохристианскому богу, которому не нужны никакие ады и рай, но который, тем не менее, обещает спасение и искупление».

Здесь я должен сказать, что Кайзер, несомненно, не прав в суждении о нынешней германской литературе. Ее главным выражением является отнюдь не лирика, а именно драматургия. Да и вообще совершенно неверно, будто бы драматургия расцветает тогда, когда основные воззрения на мир и на искусство становятся «уверенными и округлыми». Даже в классической трагедии, у самого классического писателя, у Софокла, мы встречаем постановку *проблем*, широчайших и почти неразрешимых. Стоит только вспомнить, скажем, «Антигону». Если же мы припомним драму Эврипида, то утверждения Кайзера покажутся нам совсем смешными.

Нечего приводить здесь другие примеры. Напротив, можно было бы потребовать приведения в пример, такой трагедии или комедии, которые не являлись бы собой зрелища борьбы двух или нескольких начал в обществе. Полное успокоение общественности не дает никакой почвы для драмы. Условность должна убить театр в такие времена. Если даже какая-нибудь идея *доминирует* в уме и в сердце драматурга, скажем, например, такая, как католицизм у Кальдерона, то и тогда драма возможна лишь в связи с изображением каких-то колебаний, каких-то протестов против этой доминирующей силы, а затем примирения с ней.

Единственная уступка, которую можно сделать точке зрения Кайзера, заключается в том, что в эпохи очень органичные, огромное число сограждан разделяют ту точку зрения, с которой великий драматург *разрешает* изображаемые им раздражающие конфликты, а во времена критические, наоборот, каждый драматург молится, так сказать, *своему* богу, борется своим оружием за *свою* Дульцинею; публика сама также распадается на разные группы. Отсюда часто совершенно противоположные мнения о том или другом драматическом произведении и даже прямо потасовки в театральной зале между аплодирующими и свистящими.

Именно подобное время и переживает сейчас Германия. Одни говорят, что Кайзер, Штернгейм, Уиру, даже Газенклевер и Эдмунд

являются чуть-что не великими драматургами. Другие находят их разрушителями театра, вертопрахами, шарлатанами и т. д. Последняя пьеса Газенклевера («Антигона»), которая даже на наш русский взгляд (а уже, кажется, Россия тоже взволнованная страна) ни в коем случае не могла бы возбудить «драки в зале», такую драку, в самом буквальном смысле слова, в Германии возбудила. Но вместе с тем, надо отдать справедливость немецкой драме: она, правда, невероятно широка количественно. Положительно невозможно перечислить одному человеку, хотя бы обладая всем свободным временем, даже одной четверти того неслыханного обилия драматургических произведений, которые выкидывают теперь германские издательства: но и качество ее весьма незаурядно. Государственное издательство в скором времени выпустит сборник избранных драм Кайзера и Штернгейма, двух крупнейших немецких драматургов. Но, конечно, на этом нельзя остановиться. Надо познакомить русскую публику и с другими, второстепенными драматургами, из которых некоторые создали пьесы, приближающиеся к шедеврам.

За последнее время лично мне удалось перечитать сорок-пятьдесят драм и комедий, написанных за последние годы войны или после крушения Германии. Весьма высокий процент, пожалуй, не менее трети прочитанных драм, заслуживает всяческого внимания. Есть вещи, которые, на мой взгляд, безусловно войдут в общую мировую драматургическую сокровищницу. Очень и очень мало что могут противопоставить этим вещам другие страны Европы, а также и Россия.

Что же касается лирики, которой так гордится Р. Кайзер, то, надо сознаться, и здесь обилие — умопомрачительно. Французская поэзия все последнее время до войны и теперь поражает большим количеством, богатым потоком томиков стихотворений, но германская может вполне поспорить с ней в отношении количества.

Я постарался прочесть, по крайней мере, избранные лирические произведения каждого из мало-мальски крупных нынешних поэтов. Это очень интересно, как искания, это очень характерно для переживаемого немцами культурного момента, но это стоит значительно ниже драмы. В драму ушли те из поэтов, которым присуще, так сказать, конфликтное мирозерцание — динамизм. Этого динамизма чрезвычайно много в нынешней Германии. В лирику, главным образом, удалились мечтатели, которые хотят отмахнуться от мучительной динамики скорбными, а иногда попросту «красивыми» стихами. И хотя, конечно, немецкая лирика, как я уже сказал, принципиально уходит от лозунга «искусство для искусства», но в некотором отношении она все же гораздо ближе к нему, чем современная немецкая драма.

То же надо сказать и относительно искания бога. Это богоискательство, столько глубоко присущее нынешней германской интеллигентской жизни, совершенно чуждо, например, Штернгейму или Кайзеру. Конкретно оно проявляется, главным образом, сквозь группу специально католических драматургов, составляющих, правда, довольно внушительную фалангу, не лишнюю дарований.

В общем вы можете перечитать десятки немецких драм, даже не заметив этого богоискательства. Наоборот, как только вы беретесь за немецкую лирику — искание бога встретится на каждом шагу. Исключением являются почти единственно пролетарские писатели или поэты, очень к ним близкие.

Послушаем дальше пролог Кайзера: «Лирика старого поколения — говорит он, — знаменуется именами Георге, Рильке и Гюффмансталя. Их объединяют одинаковое переживание формы и умение безостаточно выразить душевные переживания. Никогда еще немецкая романтика не достигала такой силы магии слова. Они дали последнее овеществление внутренних событий. Они жили в атмосфере артистической утонченности. Они отвергали всякий пафос и всякую моральную борьбу».

И вот теперь, по словам Кайзера, новая Германия, отнюдь не отрекаясь от этих тонких мастеров и их формальных завоеваний, отшатнулась к другому полюсу. Боги новой Германии — Достоевский, Стриндберг, Уитмен. Главное же их переживание: падение империалистической Европы.

«Поэтическое творчество подобных юношей все полно морального пафоса. Это есть штурм видений. Знамя искусства возвращается к своей основной миссии — быть выразительницей полноты всех человеческих переживаний, искать бога. Новое поколение хочет разбить все старые формулы, в том числе и предшествовавшую ей формулу «искусство для искусства». Мы не хотим рисовать то, что есть. Нашими дрожащими руками мальчиков мы хватаем самую гущу вселенной, мы поем, мы предсказываем, мы молимся».

Кайзер величает свою группу «бунтарями слова и звука». Он говорит, что они стоят «на вершине Абарим между пустыней и землей обетованной».

Само собой разумеется, что при такой концепции кайзеряне должны отрицательно относиться к своим ближайшим соседям, революционерам из пролетарского лагеря, и действительно, Кайзер говорит: «В Германии невероятное число псалмодирующих мальчиков, организованных апостолов, — певцов человечества. Это поэты-нацифисты и социалисты. Они скрывают свою неоригинальность за разными формулами «образа мыслей». Время идет мимо них, как и мимо группы рабочих писателей. Мы тоже идем мимо».

Однако же, по этому поводу надо сказать, что, как ни хочет Кайзер пройти мимо этой струи поэзии — он всё же включил в свой сборник стихотворения Газенклевера, стихотворения ярко революционные, которые я привожу ниже; и я должен сказать, что эти стихотворения едва ли не лучшие во всем сборнике.

В общем же, поэзию своего времени Кайзер характеризует так: «Она эпически бурная, разрушительная. Она выражает собой революционную эпоху, она есть подготовка к чему-то более великому. Вероятно, наша буря и наш натиск когда-то перейдут в классику формы и знания. Вероятно, из этого беспомощного времени юности, которая страдает больше кого-либо другого, мы имеем полное основание с надеждой смотреть на будущее».

Итак, тоска, неудовлетворенность, искания, стремление помимо революции в собственном смысле этого слова найти другую, какую-то духовную революцию — вот то, чем живут в молодой Германии правое крыло и центр, в общем очень левые в литературном и философском отношении.

Я выбрал самым объективным образом в сборнике «Благовещение» стихотворения целого ряда молодых поэтов. Тут и тихий, даже таинственный Макс Брод, и идиллик Мартин Гумперт, и бурно-револю-

ционный Газенклевер, которого называют возродившимся юным Шиллером, аристократический, горький Фон-Гаффельд, и христианский Пост, и молодой Казак, к сожалению, умерший, напоминающий тонкого французского поэта — полудекадента Лафорга — Лихтенштейн.

Я постарался переводить этих поэтов возможно ближе к подлинникам. Надо сказать несколько слов о их размерах. Эти размеры: порой почти неуловимый вольный стих, порой тот или другой метр с постоянными от него отступлениями. Во всех тех случаях, где читатель найдет увеличение количества строк в строфе или перебой метра от строфы к строфе или даже внутри строфы, причудливую чередовую рифму и т. д., он должен помнить, что то же явление он нашел бы и в подлиннике.

Тем не менее я не выдаю, конечно, моих переводов, которые я не мог отшлифовать до конца, ни за окончательный перевод этих произведений, ни за передачу их вполне адекватную. Я думаю, однако, что все же они дают довольно правильное представление о группе самых молодых немецких поэтов.

А. Луначарский

МАКС БРОД

РАЙСКИЕ РЫБКИ НА ПИСЬМЕННОМ СТОЛЕ

Куда б ни поплыли мы, всюду стекло,
А там, за стеклом, непонятное что-то;
И дразнит, как некое темное зло,
Угрозой какою-то странного гнета.

А тут у нас зелени листики, тут
Сквозь водоросль сестры тихонько плывут,
И тонки волокна, и мох, и лучи...
Застынешь и слушаешь: ах, различь,
Далекие зовы затонов поют!..

Толчок! — и прозрачное снова стекло.
Дрожишь и глядишь, а чужая страна,
Которая к рыбкам проникнуть не может,
Нас дразнит, и странно, и жутко тревожит.

Печальные круги в сосуде хрустальном...
Мы глазом недвижным, там — в странном и дальном...
Какие-то бледные краски и тени,
Предметы и стены, миражи видений...
К ним нету пути, и к ним нет достижений.

Но вот из-за муты туманных миражей,
Чернила и пара, все ближе нам кажется
Себя что-то белое: ярко приник
Большой и большой человеческий лик.

Похож на луну белизною своей...
А в светлом плывет тяжело, тяжело
Плененная грустная пара очей,
Как рыбки, как мы, кого это стекло
Средь шири — прозрачной стеной облекло.

МАРТИН ГУМПЕРТ

ТАИТИ

В Таити к морю девы подходят с тяжелыми косами,
Склоняются темными шеями, слушаю раковин шумы.
А почва кругом обещает плоды,
А солнце, встав поутру, обжигает остывшее за ночь.
В Таити по ветру морскому проносятся белые птицы,
И перья падают с крыльев, кружась, к танцующим детям,
И нежные пальцы ловят нежность пушинок,
Белые зубы сверкают довольством,
А руки подняты кверху и ждут.
Работа не сторожит у ворот обновленного утра.
Сон до конца может сниться.
Созревши, девицы желают мужчин.
Полеты охоты соколей бывают успешны,
Враги друг от друга не бегают в страхе,
Средь будничных игр звучит себе флейта,
А в праздники мягкая арфа звенит тихострунно.
Цветы водяные у берега пахнут,
И пестрые лодки скользят осторожно,
Шумит темное лесье вершинами важно,
А стройные травы внизу — те шепчутся дружно.
В Таити журчат ручейки по равнинам цветущим,
И легкие ивы, высокой дугою согнувшись, их гладят,
И тонкие ножки бегут то песком, то лужайкой,
И всякое место — манит остаться,
И всякая даль — зовет торопиться.

Там редкие люди работают, не утомляясь,
Деревья срубают топор их кремневый.
Глядят они, молча, на хлопоты женщин.
К напевам гортанным светлая песня любви примешалась.

ГАЗЕНКЛЕВЕР

К ДРУЗЬЯМ

Колокола! Вот мы родились...
Вокруг враждебных сил стена,
Пророки встречу нам явились.
«Вы — ваши! Вечность — в вас она!»
Меж тем свистят бичи тиранов,
Сердца терзают скорбь и срам.
Видали вы? вот ваши раны.
Мы гибли, так велели нам!

Но дали стены исполнены.
Проклянем долг, долой закон!
Над бесконечною долиной
Огнем сияет Апполон.
Оковы темной земли распались,
И быстрой страстью мир стал пьян.
Вот облака, сияя, раздались. —
Навстречу утру идет караван!

Да, да, меж туч светлеет небо,
И среди лучей парит орел,
Довольно чувств безвкусного хлеба.
Уж голубь к духу свой путь нашел!
А впрочем, неких, еще отсталых,
В изгнании все же туман таит,
И в лабиринтах, душных залах
Они еще пляшут в честь Афродит.

Свету, ветру нет границы,
И бескрайна почти тьма,
Как могучие зарницы
Нас рождает мощь сама.
Нам сдается, что летим мы
Над осевшей к долу мглой,
Каждый волею стремимой,
Безотчетною стрелой.

Друзья, мы дрались, брэнча цепями
И ждал нас ужас у края бездн,
Судьба играла, играла нами.
Еще мгновение — и ты исчез!
Себя мы постигли, как хаоса дети.
Любовь, сомнение и страх вокруг.
Нас песнь творенья обняла, как сетью,
Но живы мы, живы, и я — ваш друг!

Тогда мы набат свободы взбудили,
Мы были юны, мы мужи теперь.
Кошмары, тьмы пока победили.
На битву, на жертву! — царствует зверь!
Друзья мои, где вы? Я ваш всецело
Не все ль мы родились из непа костров?
Где наше пламя, что заблестело, —
Маяк спасения этих веков!

Не в вас ли огонь тот? Вас я найду ли?
Куда увели вас ваши пути?
Вы не устали? Вы не заснули?
Для братьев сумели помощь найти?
В шумящих чашах столиц многолюдных
О человеке думали вы?
Путь к святости светлой из каторг трудных
Кропила ли кровь ваших ран, мои львы?

Словесные подвиги нынче не к месту.
Товарищ, скорее! товарищ, в ряды!
Месить надо времени взбухшее тесто.
Эй, выше свой факел! Эй, ярче свети!
Не мечтаний о далеком
Наше знание хочет, нет!
Воля с веющим орлим оком
Повелит: да будет свет!

Под созвездьем братской дружбы
Вся земля обновлена,
Средь борьбы, усилий, службы
Вновь людская честь видна.
Вы, народы, из провалов
К человечеству — в одно!
Время пало, время пало, —
Вам поднять его дано!

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОЭТ

Он из цистерн глубоких подземных
Парами белыми с усилием дышит.
Из кранов хлещет кровь его, пропели
В гудках его стенанья тем, кто слышит.

Он с гиомами, на чьи горбы громады
Нагромоздились тяжело грузных кладей,
С рабами, что в галерах муки ада
Претерпевают, чьих-то выгод ради.

И жил его биенье в реве пушек,
Он жив среди армий, яростью обьятых,
Он с проституткою в грязи подушек,
С бунтовщиком в унылых казематах.

И, часто ухо прислонив к окошку
Мансарды в час, когда зовят к вечерне,
Вздых нищеты печально и сторожко
Он слушает в своем венке из терний,

А по ночам, когда кино мигает,
А голод просит возле пышных лестниц,
Когда в больнице мальчик умирает,
И ругань слышится гнилых прелестниц,

Когда с моста летит самоубийца,
А окна желтые палат сияют,
И анархист, плейный кровопийца,
С проклятьем точит нож, отмычку к раю,

Когда неправда, правдою сказавшись,
Главу тиранов лижет ореолом
И молния восстаний, запылавши,
Осветит вдруг вершины, склоны, доли, —

Ах, да! Тогда на самой высшей башне
Распято сердце в зареве востока,
И медною трубой, трубою страшной,
Гремят слова: встань, слушайся пророка!

Встань и убей, иди, беги в атаку!
Грохочуще, распасться могут цепи.
Оставь парламента беззубую собаку,
Лай заглушит рев львиный, все свирепей.

Рапсодий конных топот непомерный
Все гонит, очищая мостовые.
Смятение... Судьба наших битв неверна.
И воют женщины в минуты роковые.

А с колоколен трубы режут, ржут.
Дома готовы пасть, дрожат их стены.
А телеграф дал уши мятежу,
И провода звенят про перемены.

Последняя толпа застряла в рынке,
Трепчат и хлещут залпы пулеметов.
И люди падают, как под косой былинки.
На камни, в смесь из грязи и помета.

Из окон облили кипящим маслом
Майора, бушевавшего, как пламя...
Уж вечер. Солнце в зареве погасло.
На фабриках алеет наше знамя.

Стой, бой! Да разве против нас не люди?
Солдаты, граждане. Да разве не одно мы?
И уж ответ идет от груди к груди.
Уже сплелись, ведь мы давно знакомы.

Сплелись в шествие... К дворцу, ребята!
А на балконе, сам король — властитель.
«Долой пишиак пред мертвыми! — расплата!»
Над гробом навших грозен гневный мститель.

Темно. Зола. Ночь после баррикады.
Насилье бродит. Все сегодня можно.
Фонарь преступника нащупывает клады,
Грабеж зашевелился вдруг тревожно.

Как черви из подвалов, в спальни знатных
Ползут скоты на тел девичьих негу,
И пальцы с кольцами у трупов смрадных
Шакалы режут, быстрые к побегу.

Танцует страшная толпа, пьянея,
Как кровь над лбами — шапки якобинцев.
О, справедливость, ты придешь позднее
И кончишь дело масс и разночинцев!

Боец свободы будь ее судьбою,
Пока измены ложь не зашипела.
Смотри, идет небесною стезею
Поэт на землю для земного дела.

В очах его, исполненных восхода,
Ночь, хаос принимают формы света.
В его объятиях изменится природа
Под лаской духа нового поэта.

Не будет он мечтать средь синих взморий,
Пред ним потомков светлый вылет юный,
Ногой своей он топчет прах позора,
А головой творит народам руны.

Уж не оружием победа достается.
Никто, никто не думает о бое.
Вкруг гроба моего пускай же вьется
Венок, сплетенный, род людской, тобою!

ФОН-ГАЦФЕЛЬД

ТРАВЛЯ

Охота вскачь! багряной Галали!
Осенние леса оделись в бархат алый,
В нас жажда действия дрожала,
Как будто звала кровь вдали,
В погоню страстно мы ушли.
Охота вскачь, багряной Галали!
Мы баре, впору красный фрак,
Батист белья, ботинок лак.
Уже немного зверю жить,
Лишь нашей милостью ему
Дано перед отходом в тьму
Купаться в солнце. Для забавы,
Для прыткой, жуткой песьей лавы,
Средь страхов, неудач, потерь
Весь в ранах умирает зверь.

Конец охоты. Стихло Галали.
Коричневою смерью стаснул лес...
И кто-то знает: на лице земли,
Перед лицом темнеющих небес,
Пролитый пенный пот,
Твой смертный пот, а тот
Жестокий ток, кровавая струя —
То кровь *твоя*.
Последний миг, последний мрак,
И в мускулах клыки собак,
Ты умер так.

Ты мячик в лапах демонов охоты,
И гонят в муку, грязь и жуть,
И не позволят отдохнуть!
Над ужасом смеются. Кто ты?
Средь страха, неудач, потерь
Травимый демонами зверь.
Конец охоты. Стихло Галам.
И черный лес в немую ночь ушли...

ПОСТ

А В Э М А Р И И А

Тихие, спокойные,
Белые Марии
С большими глазами,
Вы в темных часовнях
Красуетесь в золоте.
Плачьте,
Слушайте, плачьте
Над тысячью слабых сестер,
Сидящих в душных каморках.
Они сынов,
Вам подобно —
Не провожали к Голгофе.
Предсмертный глоточек
Вина не давали.
Предсмертному слову
Они не внимали.
Слову благодати дивной,
Что, как аминь,
Вспорхнуло с распятия.
Нет, ваши сестры, о, тихие, тонкие
И золотые Марии,
В жизни живут,
Трудятся,
Как и всегда.
Только за дверью
Чуют глазами,
От тяжелой бессоницы
Слезливыми — руку,
Что вдруг постучит,
И встать не посмеют,

Спросить не посмеют,
Помочь не умеют:
Они только мамы,
Мамы из жизни.
Нет у них золотых ореолов,
Но слезы кровавы.
И слепнут их очи.
Тихие, тонкие
Белые Марии,
Сложите же руки,
Плачьте о сестрах.

ХЕЙНЕРЕ

* * *

Высоко взлетела душа моя в мраке над миром
Над мукой почей непроглядных
И гулками залами шумных заводов,
Незрячими окнами складов глухих,
Провалами шахт,
Качаемой матерью люлькой,
Дешевыми ласками любящих дев,
Крестами, что жалобно молятся к небу,
И выше брильянтовой змейки-ракеты
Душа моя в пеньи готовых взорваться снарядов
И над человеками, мглами земными
Душа моя плачет,
Во взлете
Землю покинув.
Взлетевши к нему,
Ему моя скорбь
Завопила в лицо:
Пусть на себя подымает сильного сила
Людскую
Скорбь...
Про всех нас ему я кричу.

КАЗАК

ОСТРОВ БОГОВ

Где-то за тучами дивно цветет
Остров блаженных богов.
Руки играют там звездами,
Тени там светятся зорями,
Южные ветры
Дышат любовью,
Вечер синеет
Вечностью,

А на дымных холмах
Гаснет стон человеческий,
Им и во сне
Сон не поет
Флейтой взысканий.
Но одинокого святы рыдания:
Оку его утомленному
Только вершина безумья осталась.
Кажется чашей пустою,
Чаша божия полная
В мертвых руках.

Люди, морями охвачены,
Смерти смеются в лицо,
Кровью испачканы, для себе
Глупую жизнь
И не кричат о спасении,
И не вопят о прощении.
Холодны лица их,
Темны.

В их темноте не выпрает
Молния.
Словно морозом,
Гниенье печалью оковано.

Правда, иной раз проснется
Мальчик, дитя,
Где-то отыщет цветок, голубой он, —
Ветер сурово тотчас
Вырвет и бросит находку на скалы.
Так что ужас застынет
В горьких ребенка устах.

Правда, бывает,
Девушка ходит.
Сердце горячее носит.
Воды холодны скоро, однако,
Пламя погасят,
И в утомленьи, в стареньи
Вянет она.

Где-то
Плавают остров богов.

Но человек,
Мглою окруженный,
Бессильный, отринут
Дальними звездами
Вечности.

ЛИХТЕНШТЕЙН

I

ГОРОДСКОЙ ВЕЧЕР

Вдоль грязной улицы дома, как барка,
Над их горбами солнца серый шар,
Безумный пудель, надушенный, из под арки
Мигает туго в мировой пожар.

В одном окне мальчишка ловит муху,
Другой, весь напояженный, орет.
Под небом, по мосту, мчит, громыхая глухо
Дымящий поезд.... Ветер дым сотрет.

Как Ундервуды, стучают упруго
Пролетки. Вот гимнастов пыльный строй,
Из кучерской пивной несется крепко ругань...
Но веет колокольною игрой.

На площади идет борьба атлетов.
Уж сумраки ползут на смену дню.
Шарманка плачет, рубятся котлеты,
Какой-то муж нещадно бьет жену.

II

ДЕВИЦЫ

Им вечером в комнатах трудно дышать,
Скользят они вниз к перекресткам дорог.
Как мягко фонарные светлы дрожат,
Как в гуле поток бытия изнемог.

Бегут они мимо домов и садов.
Как будто маяк где-то цымя вознес...
И похоть мужская сулит им любовь,
И видится в каждом мужчине... Христос.

III

БОЛЬНИЦА

На лицах у нас синеватые тени
От вечера, ламп и от долгих мучений.

Сидим у окна и глядим, как огнем
Закаты горит многоярусный дом.

Мы жизнь ощущаем едва...
От морфия спит голова...

Ослепшее небо спустилось туманом,
Потухли сады под вечерним обманом.

Вошли сторожа, — им велели
Нести нас в постели.

Яд вспрыснули в кровь нам они...
Убили в больнице огни.

От ночи закрыты мы черною шторой.
Нас нет. Мы исчезли так мягко и скоро.

Хоть стонут порой, но не слышно речей
И спим мы в могилах тяжелых ночей.

IV

ПЯТЬ ПЕСЕН О МАРИИ

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Так много лет ищу тебя, Мария,
В садах, домах, на улицах, в горах,
В притонах, лавках, театральных школах,
В больницах и домах для сумасшедших,

Между прислуг, на пикниках, во всякую погоду, всякий день,
В кафе, между матрон, меж танцовщиц.
Я не нашел тебя в пивных, кино-театрах,
Ни на концертах, ни на пароходах.
Кто муку выразит, с которой я ночами
На улицах кричал глухому небу
Мой зов к тебе.

СЛЕДУЮЩАЯ ПЕСНЯ

Кто идет так, Мария, тот сидит,
Теряет лик и тело, кто так идет.
Щель в сердце, кровь и сон бледны.
Покоя!... Быть бы мне в твоих объятьях,
Быть осеянным взорами твоими.

ВЫСОКАЯ ПЕСНЯ

Мария, ты... подумать только. Как
Обрел тебя... кружится голова...
Луна и море, луноморе, ветер и свет,
Вкруг тела белого песок белел, Мария,
А волосы, улыбка... Море... буря,
И крик, и жажда, и волшебство неги,
Все это пенье до изнеможенья
Спустилось с неба колыбельной мамы
К нам, как к челу дитяти.

ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

И вновь брожу среди зверей и дней,
Камней, и глаз, и звуков.
Чужая... Я потерял тебя.
А тело грешницы Марии было дивно.
И вновь ищу среди зверей и дней
Камней и шума — след твой.
Я знаю, потерять был должен.
Да и нашел ли? — Только имя.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Хлещи же, дождь... Плюй мне в лицо, оранжевый фонарь.
Падите здания:
Я не хочу прямых и ровных улиц.

Так, хорошо... Но вот, под фонарем:
Мария... Черный дождь кругом.
А, ладно!.. Стану тоже рядом.

Что горы мне, что мне долины, что города
С египетскою пестротой мраков!
Назад, на море, на берег, где звезды!

Не вся Мария ты, которой я искал,
Но все ж ты, бесконечная Мария!..
Родная, глупая... проклятая!.. моя!

Перевел с немецкого
А. Луначарский



Д. С. МИРСКИЙ

О СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Письмо из Лондона)

I

Тем, кто привык сочетать с представлением об английской поэзии могучие взлеты романтической фантазии Шекспира, Мильтона, шотландских баллад, Блэка, Колриджа, Шелли и прерафаэлитов, придется с разочарованием отойти от ее современных проявлений. Теперь это поэзия осенняя, упадочная, еще бодрящаяся в лучах бабьего лета, но по существу глубоко усталая, поэзия, в которой больше искусства, чем гения, больше совершенства, чем оригинальности, больше вкуса, чем энергии. Нам, читателям Блока и Маяковского, надо сделать некоторую операцию над нашими критическими аршинами, чтобы иметь возможность мерить английских поэтов; надо забыть о действительной, жизненной, революционной стихии творчества и вернуться к представлению XVIII века о поэзии.

Приятной, сладостной, полезной,
Как летом сладкий лимонад;

войти в психику великого дегустатора поэтических ценностей проф. Сейнтсбери (Saintsbury), на восьмом десятке увенчавшего свою критическую карьеру написанной с тонким вкусом и большим подъемом книгой о винах своего погреба. Но вино английских поэтов — крепости не свыше мадеры, и нам, привычным к самогону, оно может показаться жидким.

Немногочисленны английские поэты, которых можно было бы исключить из только-что сказанного, — и все они так или иначе не додали себя. Таков рано умерший, хаотический и гениальный Франсис Томпсон (Thompson); таков популярный у нас, давно уж погрязший в шовинизме Киплинг; таков огромный и нелепый Честертон, единственный живой человек в хороводе теней. Таков, прежде всего, великий Томас Харди, не только старейший (р. 1840), но и величайший из писателей современной Англии.

Наружно Харди господствует над всей современной словесностью; репутация его огромна и бесспорна; «губное служение» (lip-service) перед его кумиром не оскудевает. Обсуждался даже вопрос: совместно ли с достоинством Англии участвовать в присуждении Нобелевской премии, если эта премия до сих пор не была присуждена Харди. Но как

все величайшие писатели, учеников он не имеет, и великоление его одиноко.

Харди, несомненно, один из могущественнейших и оригинальнейших гениев второй половины XIX века. В нем есть гениальная простота и наивность, сближающая его со Львом Толстым и придающая ему совсем не современный облик. Он мужик, самоучка, «своим умом» дошедший до всех сомнений и отрицаний. На этой самородной почве он строит здание чистого пессимистического атеизма, — философия позитивного XIX века, влитая в формы сознания почти средневековые.

До конца XIX века Харди был известен только как романист и как великий прозаик, хозяин чистейшего и прозрачайшего английского прозаического стиля. Только в 1898 г. появилась первая его книга стихов («Wessex Poems»), и с тех пор стихи стали главной формой его творчества: случай едва ли не единственный. В противоположность прозе Харди, стихи его заковыристы, замысловаты и корявы той прекрасной корявостью, которая есть верный признак гения, борющегося с непокорным материалом, — корявостью Микель Анджело и Роберта Браунинга. Браунинга Харди не любит, но именно к Браунингу восходит его стих, стих, чуждый красноречия, но мучительно-сознательный, с его любовью к сложным строкам и насильственным рифмам; к Браунингу и к «метафизикам» XVIII века, Донну и Вогну (Vaughan). Тема его — человеческая личность, во всем ее многообразии и уродстве, — и Рок, «грубая случайность» («gross casualty»), бесчеловечно управляющая судьбой человека. Самая большая и значительная его вещь «Династы» (The Dynasts), огромная драматическая «мистерия» о Наполеоновских войнах, в которой особенно ярко выступают и его огромная жизнетворческая сила, и титанически-примитивная наивность его мысли¹⁾.

Молодые поэты смотрят на Харди, как на учителя и вождя, но, право, без оснований. Гораздо правильнее видят они своих учителей в двух других старших — Роберте Бриджесе (р. 1844) и А. Э. Хаусмане (р. 1859) (A. E. Housman).

Бриджес (с 1913 г. поэт-лауреат) — поэт ученый. Он принадлежит к Викторианскому еще типу поэтов-филологов, которые разделяли свои просвещенные годы между историей литературы и стихами. Бриджес отличается от них тем, что вместо того, чтобы делать свои стихи музеем филологической культуры, он ограничил себя задачами формальными и посвятил себя исторически-обоснованной работе над стихом и ритмом. Стихи его, чрезвычайно искусные — как бы иллюстрации к его метрической доктрине. Он классик английской просодии, и его монография о стихосложении Мильтона — труд исключительной ценности. По духу своему Бриджес всецело принадлежит Викторианскому эклектическому идеализму, но, что особенно привлекает в нем нынешнюю, Георгианскую, молодежь — это его любовь к деревне, к природе, к «English countryside» — английской провинции.

Та же любовь к деревне у Хаусмана²⁾. Карьера этого поэта необычайна: за свою долгую жизнь он написал только одну книжку

¹⁾ Собрание стихотворений Харди вышло в 1920 г. В 1922 г. вышла новая книга «Late Poems and Earlier» — «Поэмы прежние и новые».

²⁾ Не следует смешивать с Лоренсом Хаусманом, автором замечательным, но второстепенным.

в несколько десятков коротеньких стихотворений («A Shropshire Lad», 1896) и стяжал себе положение национального классика. Со стороны несколько трудно понять высокую репутацию этой книги. Но в искусстве играет роль иногда не только присутствие любимых, но и отсутствие нелюбимых черт. Именно отсутствием Викторианской риторики, Викторианского многословия, Викторианского педантизма пленяет нынешних англичан Хаусман. Стихотворения его написаны простыми балладными размерами, простым почти разговорным, не идеализованным языком. В них нет ни сладкозвучной мелодии Теннисона, ни трудного глубокомыслия Браунинга, ни яркой пышности Суинберна. Экономить свое поэтическое богатство, не хватать звезд с неба и не заходить умом за разум — учил Хаусман Георгианских поэтов. Но лучшему своему качеству он их не научил. Некоторые кратчайшие его стихотворения, напоминающие одновременно искусную конструктивность Александрийской эпитафии и четкую недоговоренность немецкой песни — лучшие в его книге. Такого напр. 58-ое:

When I came last to Ludlow
Amidst the moonlight pale
Two friends kept step beside me,
Two honest lads and hale.
Now Dick lies long in the churchyard,
And Ned lies long in jail,
And I come home to Ludlow
Amidst the moonlight pale¹⁾.

Такие стихи, не принадлежавшие к наиболее популярным, как будто действительно дают Хаусману право на большое место среди поэтов.

Могущественное обще-европейское движение «декадентства», «модернизма» — как еще его ни называть, — так существенно изменившее облик всей поэзии Франции, России и большинства других стран Континента, — почти не коснулось Англии. Этим объясняется странный, старосветский характер английской поэзии среди молодых поэзий Европы. Был, однако, и в Англии момент брожения — девятые годы, fin de siècle Викторианского века. Самый характерный их представитель — Обри Бардсли не принадлежит к литературе. Поэты же, группировавшиеся вокруг «Желтой книги» (The Yellow Book), несмотря на высокий иногда уровень мастерства, остаются поэтами очень малыми, не сравнимыми даже с второстепенными именами французского символизма или немецкого модерна. Таковы Эрнест Дуасон (Dowson 1867—1900) и Артур Саймонс (Symons, р. 1865). Сюда же принадлежит и славное на всем Континенте имя Уайльда.

Когда в родной мне Ладло
Я шел в последний раз,
Два друга шли со мною
В вечерний тихий час.
Но Дик давно в могиле,
А Нед сидит в тюрьме;
Один иду я в Ладло
В вечерней полутьме.

(Перев. Н. Бранского).

Репутация Уайльда в Англии, как известно, далеко не соответствует репутации у нас, или в Германии. В конце концов, суд над поэтом принадлежит его стране, и англичане отвергли Уайльда вовсе не из одного своего пресловутого *cant'a*, т. е. шепетильности (которая, конечно, и теперь является очень реальной силой), а по причинам вполне понятным и законным. Не нужно быть пропитанным эстетикой Маяковского, чтобы чувствовать всю пустую красоту Уайльдова эстетизма. Стихи его, уж во всяком случае, — стихи эпитога Теннисона и прерафаэлитов, — никогда не имели значения. Остается одна вещь — «Баллада Рэдингского Острога», и она, конечно, сохранит его имя от забвения. Но она стоит одиноко в его творчестве, и во всей английской литературе, вне ее традиции и без потомства. По духу и по судьбе баллада принадлежит гораздо больше к русской литературе, которой она и усвоена переводами Брюсова и Бальмонта.

Девяностые годы, и вне эстетизма и декадентства, были временем общего подъема романтической поэзии. Значительнейшим выражением его было изумительное поколение ирландских поэтов — Йетс, А. Е. Тренч, Мойра О'Нейл, и гениальный драматург Синг. Они стоят, однако, вне общего потока английской литературы, объединены рядом характерных, чуждых современной Англии, черт, и разговор о них должен быть особый.

Другой великий романтический поэт того времени был Фрэнсис Томпсон (1859 — 1907), тоже католик, поэт, по своим немногим высшим достижениям безмерно превосходящий все созданное англичанами (кроме опять-таки Харди) со времен Браунинга. «Его в небо упирающееся смирение, его нагромождения мистических деталей, его повторные и пестящиеся слабости, его внезапные и священные кощунства», как о нем говорит Честертон («The Victorian Age in Literature» — «Викторианская эпоха в литературе»), ставят его совершенно особо ото всего современно-английского. Его корни уходят в XVII век, в мистическую поэзию «метафизиков», особенно Крашо (Crashaw), изумительного автора гениальных стихов о святой Терезе. Подобно этим поэтам XVII века, он менее всего мастер. Ежеминутно он срывается с головокружительных высот, и большая часть его стихов полна невыносимой путаницы и невязицы. Его язык манерен, архаичен, богат неупотребительными, иногда *ad hoc* созданными словами. Гениальнейшая его вещь и несомненно одна из гениальнейших мистических поэм когда-либо написанных — «Небесная Гончая» (The Hound of Heaven), где Божье милосердие изображено в виде гончей, преследующей и настигающей не желающего довериться ему грешника. Перефразируя слова Честертона, можно сказать, что кратчайшее определение современной английской поэзии будет в том, что Томпсон совершенно для нее не типичен. Его влияние сказывается только на творчестве его личного друга Алисы Мейнелл (Alice Meynell p. 1862), издательницы его сочинений, умной, утонченной и замкнутой поэтессы, унаследовавшей его сложный и запутанный стиль, без высших его взлетов, но и без глубочайших падений. Впрочем, она интереснее своей критической прозой, зоркой и оригинальной, чем своими метафизическими стихами.

В этой связи, пожалуй, будет уместно упомянуть двух старых дев — (Katherine Bradley, 1847 — 1914, и Edith Cooper, 1862 — 1914),

писавших совместно под псевдонимом Michael Field (Майкэл Филд). Лирика их, так же как и лирика Харди и Томпсона, зависима от метафизиков XVII века. Творчество их мало оценено, но заслуживает внимания по чрезвычайной своей интенсивности. Как и Томпсоново, оно стоит совершенно вне современных английских вкусов. Особенно замечательны их трагедии (главным образом, «Magianne»), в которых они бессознательно сближаются с величайшим трагиком XIX века — Фридрихом Гёббелем.

II

Отчасти одновременно с эстетизмом 90-х годов, отчасти на смену ему, или писатели, сделавшие из литературы орудие практической политики, писатели — каков бы ни был их художественный дар, — чувствовавшие себя прежде всего публицистами, — Бернард Шоу, Уэлс, Киплинг, Честертон, Беллок. Трое последних значительны и как поэты.

Киплинг хорошо известен в России, известен главным образом своими лучшими, ранними, наименее публицистическими вещами, в которых еще не угадывается его позднейший грубый империализм. Высшие вершины Киплингова творчества не в его стихах. Стихи играют у него служебную роль, являются как бы скойней на полях главного прозаического творения. В ранних его стихах (Казарменные Баллады) — большой подъем, и сознательное стремление обновить поэтический язык, безнадежно ушедший от разговорного, языком улицы и казармы. Здесь происходит, как принято теперь говорить, «канонизация» уличной поэзии, мюзикхольной баллады, и местами он достигает в этом направлении успехов поистине изумительных («Мандадэй» и «Баллада о Востоке и Западе»). Но творческий импульс сменяется застылой манерой. За последние десять слишком лет поэзия Киплинга совершенно мертва. Влияние, оказанное ею, широко и пагубно. Ученики Киплинга, многочисленные в желтой прессе, стоят, в сущности, вне литературы.

Политика Честертона (р. 1874) противоположна Киплинговой, — он фанатик Демократии и вместе с тем христианской церковности. Его главное, неоцененное качество — безошибочный нравственный нюх, делающий такими вескими его оценки и осуждения. Как художник, он имеет много общего со своим любимым Диккенсом. Он побеждает больше стихийным напором своей человечности, чем верным выбором своих художественных средств. Его стихи англичане считают «нехудожественными», как у нас когда-то нехудожественными считались стихи Некрасова (которому Честертон, впрочем, по темпераменту совершенно полярен). Он сознательно презирает хороший вкус и не боится ни смешить, ни казаться смешным. Один из современных англичан, он не боится страшных слов «vulgar» и «gaudy» — «вульгарный» и «торжественный». Стихи его откровенно публицистичны, — говорит ли он против принудительной трезвости, против парламентской олигархии, или против врагов христианской демократии. Он великий мастер восхитительного английского искусства «nonsense», блестящих, наполненных парадоксами фельетонов о совершенных как будто бы пустяках: о кусочке мела, о дожде, об автобусе (книга «Tremendous Trifles» — «Чудовищные пустяки»). Он убийственно владеет оружием

сарказма и инвективы. Но он и великий мастер стиха, преемник В. Скота и Маколея. Лучшее из его стихотворений *The Ballad of Leranto*, характерное и по теме (борьба за единое христианство), и по композиции (рефренов), и по образам — ярким, буйным, мажорным.

Литературный близнец Честертона Хилер Беллок (Hilaire Belloc, р. 1870) не менее его публицист. Методы его публицистики иные — холодная, сухая проза, сближающая со Свифтом и Вольтером; железная и не всегда добросовестная диалектика (особенно мало добросовестности в его последних книгах «Europe and the Faith» и «The Jews» — «Европа и вера» и «Еврей»). Но рядом с этими «латинскими» качествами (Беллок полу-француз) у него есть и чисто английское тончайшее чувство романтического, тесно сплетенное с любовью к «nonsense», и со своеобразной, крайне конкретной любовью к родной английской, французской, вообще «римской», земле, любовью к пиву и вину, и к необозримому разнообразию сыров. Это все проявляется в его стихах и книгах прозы, в роде «On Nothing» («Ни о чем»). Его лучшее стихотворение «The South Country» («Юг»), написанное во славу его любимого Сэссекса, один из самых пленительных и самых «английских», в поэтичнейшем смысле этого слова, цветов современной поэзии.

III

К тому же поколению, что Честертон и Беллок, принадлежит Уотер Де-ла-Мар (De-La Mare, р. 1873) и Джон Мэзфилд (Masefield, р. 1874), но они совершенно чужды публицистике и по своему отношению к поэзии, как искусству, близки к следующему за ними и ныне господствующему поколению Георгианцев. Между собой они мало имеют общего. Де-ла-Мар — любимый поэт поэтов и иностранцев. Мэзфилд самый популярный в средних классах английского общества и очень ходкий на книжном рынке.

Де-ла-Мар¹⁾ естественным образом привлекает тех, кто любит в английской поэзии то, что в ней есть самого неповторимого — баллады Кольриджа и nursery rhymes (детские стихи). Он продолжает традицию Кольриджа и Эдгара По, традицию романтической фантастики, но он вносит в нее струю интимности и домашности, чуждую великим романтикам, и сближающую его с Беллоком. Он сознательно перебивает музыкальную сладкозвучность романтических размеров искусным накапыванием неударных слогов и, таким образом, избегая слишком легкой напевности. Он один из изысканнейших мастеров английского ритма. Стихи его сотканы из тончайшей паутины фантазии, совершенно чуждой кричащих красок и громкой риторики. У него слишком конкретное и интимное чувство «потустороннего», скорее спиритического, чем мистического. Его стихи и, в еще большей мере, его повести полны искусно внушенного чувства незримых присутствий. Наиболее замечательным образом в этом отношении является известное его стихотворение «The Listeners» («Слушающие»). Но Де-ла-Мар умеет возбуждать и иную чувствительность, более «клас-

¹⁾ Первая книга 1902; Poems 1901 — 1918, изд. 1920.

сическую», открывая вечные горизонты за словами наружно тривиальными. Таковы, напр., в его стихах о «Писце» (*The Scribe*), которыми заканчивается его последняя книга («Mottley» — «Пестрядь» 1919). Писец, который сидя «by some tarn in the hills» (у озера на холмах), посвятил свою жизнь тому, чтобы

To write of Earth's wonders,
Its live, willed things.
Flit would the ages
On soundless wings.
Ere unto Z
My pen drew nigh;
Leviathan told
And the honey — fly:
And still would remain
My wit to try —
My worn reeds broken,
The dark tarn dry,
All words forgotten, —
Thou, Lord, and I¹⁾,

Де-ла-Мар, может быть, и не равнороден величайшим поэтам, но во всяком случае, его напиток приготовлен из чистейшего меда Муз.

Задача Мэзфилда была совершенно иной, — вернуть стиху потерянные им области прозаической повести. Его учителем стал не Кольридж, а Чосер. Но Мэзфилд совершенно лишен солнечной гармоничности и весенней свежести великого средневекового поэта. Что хуже, он совершенно лишен и великого английского спасительного средства — sense of humour (что не совсем то же, что мы называем юмором). Нет более благодарной пищи для пародии (Англия издавна славится лучшими пародистами), чем реалистические поэмы Мэзфилда. Их сентиментальная мелодраматика правится среднему английскому читателю, но не на них зиждется его репутация в литературе. Чуждый юмора, — он, однако, совершенный англичанин в своей любви к спорту. И лучшие его (последние) поэмы посвящены спорту — «парфорной охоте» («Reynard the Fox» 1919) и скачкам («Right Royal» 1921). Из более коротких его вещей наиболее интересна и характерна «Biography» (1911), где он в 250 стихах рассказывает о том, чего не расскажут его биографы, — о самых ярких минутах своей жизни. Характерно для современного англичанина, что эти минуты связаны с природой и спортом (40 стихов об одном гребном матче!), не с любовью или творчеством. Но в Мэзфилде есть истинная простота, сила и художественная честность. Стих его не певуч, но кре-

¹⁾ Писать о давнем,
О чудесах;
А крыл столетий
Беззвучен взмах,
От А до Z
Я путь прошел:
Левифаны —
И крылья пчел.

Но все ж пытаюсь
Не сбиться с ног, —
Камыш поломан,
Мой пруд засох,
Слова забыты,
И я, и Бог...

(Перев. Н. Брянского).

пок и ёмок. Он не боится ни прозаизма, ни банальности. Поэтому он иногда срывается в скучнейшую косолапость, но иногда возвышается и до большой высоты.

Отсутствие артистичности и способность к сильной и не стыдящейся эмоцией отдаляет Мэзфида от настоящих Георгианцев, с которыми сближает его любовь к простоте, природе и спорту.

IV

Имя Георгианской поэзии (Georgian Poetry — от короля Георга V, ныне царствующего в Англии) выдумал Эд. Марш, издавший в 1912 г. первый выпуск антологии молодых поэтов под этим заглавием.

Georgian Poetry явилась реакцией против многого зараз: против «больших тем» и большой риторики XIX века; против эстетизма декадентов; против Киплинга и публицистики. Это было движением (поскольку его можно так назвать) в сторону объективности, сознательного, но не заносчивого мастерства, инсULARности и «здоровости». Это было тоже некоторым подъемом поэзии вообще. Поэты осознали свои «профессиональные интересы» и захотели играть в литературе роль, большую, чем прежде. Поэзия в связи с этим движением вообще, пожалуй, окрепла; но все движение это было по существу бескрылым. Объективизм роднил бы его с Парнасом, но в Георгианцах нет и следа трагической поэмы Парнасцев, — они добрые английские буржуа, в большинстве случаев исправно играющие в крикет по праздникам.

С 1919 года Георгианская поэзия сосредоточена вокруг журнала «The London Mercury», издаваемого Дж. К. Скуайром (J. C. Squire). Тот же Скуайр издал лучшую антологию английских поэтов, родившихся после 1870 года¹⁾. Хороший критик и умелый редактор, он является и очень типичным Георгианским поэтом. Поэзия его прежде всего довольно скучна; темы ее неинтересны; мастерство, хотя и высокое, но не того качества, как, напр., у Эредиа, которое само по себе становится увлекательной темой. Характерно господство глаза над слухом и над мыслью; статика над динамикой; английского над человеческим, — одна из его последних поэм — («The Rugger Match») — это характерно — посвящена футболу.

Самая последняя его поэма («The Stockyard» — «Склады», в журн. «London Mercury», June 1922) показывает, однако, что он способен и на другое — это поэма о Чикагских бойнях, написанная сильными полусвободными стихами, создающая почти — «дантовское» видение бесчеловечного уродства. Здесь его объективность служит ему хорошую службу. Но характерно, что он считает нужным, когда речь заходит об этой поэме, извиняться, что он написал такую не «здоровую» и не «радостную» вещь.

Другие типичные Георгианцы: Уильям Дэвис (Davies, p. 1870), человек с интересной биографией и некоторым даром песни (что

¹⁾ Selections from Modern Poets. Martin Secker. 1921. (Избранные стихотворения современных поэтов).

выделяет его из отнюдь не песенных Георгианцев), но и с непобедимым даром банальности и отсутствием мысли: англаизированный и более способный Фифанов; Эдуард Шенкс (Shanks, p. 1892), — ближайший сотрудник Скуайра; Эдмунд Бланден (Blunden, p. 1895), очень молодой еще поэт, но, к сожалению, уже нашедший свою манеру, балуемый ребенком критиков, типичный и очень законченный поэт деревни, провинции, усадеб, чуждый музыки и воскрешающий — *mutatis mutandis* — описательную и повествовательную поэзию XVIII в., Томпсона и Гольдсмита.

Большой поэт, чем каждый из этих — покойный Эдуард Томас (1877 — 1917), один из многих английских поэтов, убитых на войне. В его стихах есть истинная крепость и полновесность интенсивного восприятия, и есть то, чем «объективные» поэты обыкновенно пренебрегают, умение *строить* стихотворение. Вот одно стихотворение — хороший образец его стиля:

They have taken the gable from the roof of clay
On the long swede pile. They have let in the sun
To the white and gold and purple of curled fronds
Unsunned. It is a sight more tender — gorgeous
At the wood corner where Winter moans and drips,
Than when, in the Valley of the tombs of Kings,
A bay crawls down into a Pharaoh's tomb
And, first of Christian men, beholds the mummy,
God and monkey, chariot, throne and vase,
Blue potters, alabaster and gold.

But dreamless long-dead Amen-hotep lies.
This is a dream of Winter, sweet as Spring¹⁾.

V

Вокруг ядра наиболее типичных Георгианцев раскинулось большое разнообразие поэтов, более или менее уклоняющихся от установленного образца. Одни уходят из пределов Англии в экзотические страны, как покойный Джеймс Элрой Флекер (1884 — 1915), автор яркой и красочной поэмы о Востоке купцов, караванов, ковров и драгоценных камней «Золотое путешествие в Самарканд» («The Golden Journey

¹⁾ Разрушен верх из камней и из глины
Огромной пирамиды; солнца луч
Упал на мрамор, золото и пурпур,
Таившийся во мраке. Все ж прекрасней
Вид плачущей зимы в лесу, в глуши,
Чем фараонов взрытая могила,
Когда увидел первый из христиан
Их мумии сквозь черные отверстия,
Их золото, и трон, и колесницу,
Их уварь, обезьяну и богов,
Где непробудным сном спит Аменхотеп.
Мечта зимы — но веет в ней весна.

(Перев. Н. Бряиского).

to Samarkand»); или как Ральф Ходжсон, — написавший превосходную поэму о Быке (The Bull), полную знойного дыхания тропиков и сравнимую с лучшими «зверинными» стихами Леконт-де-Лилля.

Другие не пренебрегают «метафизикой» и «большими темами», тем сближаясь с Викторианской традицией. Таков Джон Фримэн, замечательный своею упорной и упрямой работой над поэтическим языком, создающий стиль тугой, напряженный, удаленный от разговорной речи (в истинной традиции английских поэтов), богатый метафизической образностью и чуждающийся легкого сладкозвучия. Его, кажется, никто не читает, но товарищи по ремеслу ценят в нем знающего мастера, и недавно ему был присужден один из больших литературных призов.

Но наиболее значительный и показательный из стремившихся к большим темам Георгианцев — Руперт Брук (1887—1915). Высокая оценка, данная ему современниками, объясняется, повидимому, его личным очарованием больше, чем высотой его поэтических достижений. В годы перед войной он казался «самой яркой звездой Георгианского созвездия». Теперь интерес к нему теряет свою остроту, и он становится уже добычей историков литературы. Брук, несомненно, представляет современную культурно-буржуазную Англию с ее лучшей стороны. Сын учителя одной из больших «публичных школ», Регби, — он глубокими корнями уходит в прочную и спокойную культуру англиканской церкви, такую приветливую, уютную и не мало не трагичную. Одно из популярнейших и прелестнейших его стихотворений — «The Old Vicarage, Grantchester», «Старая священническая усадьба в Грантчестере», — где, в Берлинском ночном кафе, он мечтательно вспоминает о единственном месте на свете, — старой священнической усадьбе в Грантчестере, около Кембриджа. Эта прочная почвенность, и — несколько скудная — цельность сближает его с типичными Георгианцами. Но определенная склонность к «миросозерцанию» и любовь к сладкозвучной красоте мелодии делает его в то же время и Викторианцем, и он может почитаться типичным для всей вообще английской культуры нового времени. Он истинный поэт, с подлинным лиризмом и другим качеством, еще более ценным в уютной Англии, — подлинным sense of humour. Но именно этот-то sense of humour, ничего общего не имеющий ни с романтической иронией, ни со «смехом сквозь слезы», ни с буйным буффонством Честертона, и делает его безнадежно осенним, безнадежно бесплодным, — и глубоко типичным для всей современной Англии. Брук погиб на войне, умер от заражения крови во время Галиполийской авантюры. Его военные стихи, прекрасные, ясные, безо всякой задней мысли о своей правоте, типичны для той части английской буржуазии, которая дала первый состав добровольцев четырнадцатого года.

Война не была для Англии великой национальной трагедией, какой она была для Франции и Германии. — только рядом маленьких, личных семейных трагедий, она не оживила, и не переродила, и не искалечила английской души и, несмотря на рост подоходного налога и безработицы, — Англия осталась до сих пор почти во всем такой же, какой она была в 1913 г.

Военных стихов написано очень много, и в том числе немало очень хороших. Среди поэтов, выдвинутых войной, можно особенно отметить, Франсиса Брет-Йонга (Brett Young), служившего в Восточной

Африке, Роберт Николса (Nichols), особенно Сигфрида Сасуна (Siegfried Sassoon, p. 1886).

Сасун представляет собой, сравнительно с Бруком, обратный полюс восприятия войны. С большой словесной силой, трезвым и простым стилем он явил безобразный и прозаический лик войны, чуждый привлекательности и очарования. Сила его стихов в их сдержанной объективности и умеренности; он совершенно избегает всякого напряжения и надрыва в голосе и тем сильнее бьет в цель. И в своих послевоенных стихах, посвященных, главным образом, «мистике» монументальной пошлости современной культуры, — Сасун выходит из пределов «здорового и положительного» Георгианства и часто говорит «нет» там, где патентованный европеец сказал бы «да». Тем большая честь широте эклектического вкуса Георгианских критиков, что они сумели оценить несомненное своеобразие его дарования.

VI

«Левой» поэзии в Англии нет (левой не в политическом, а в художественном отношении). Но существует «левое» искусство провинциальных подражателей Сезанна и Ван-Донгена. Существует публика, — преимущественно художественная богема Челси и Шарлот-Стрита, упивающаяся физиологическим романом Джемса Джойса и позирующая космополитизмом. Эта публика имеет свою поэзию, — поэзию глубоко-упадочную и бессильную, оборотную сторону Георгианской медали. Органом этой поэзии является сборник «Wheels», издаваемый семейством Ситуэлей (Sitwell), и украшаемый обложками самых левых британских кубистов. Стихи самих Ситуэлей мало интересны, — по-французски они были бы уместны в каком-нибудь второстепенном Монпарнассском журнальчике около 1884 года. Самый талантливый из этой группы Олдос Хаксли (Aldous Huxley), внук знаменитого дарвиниста, умеющий не без остроты вызывать гнойные видения ночных клубов и владеющий стихом крепким и точным. Впрочем, последнее время, он покидает стихи для бессильного изящества «естественно-разговорных», повестей. Конечно, не из этих кругов может прийти обновление английской поэзии. В обновлении же она как будто нуждается, — если оно возможно, — как нуждался дряхлеющий Рим. Существование Честертона, казалось бы, ручается за то, что Англия еще не оскудела жизнью, но судьба первоначально не менее живого Киплинга — грозное предостережение. И характерно, что отношение англичан к Честертону далеко не восторженное, не совсем даже серьезное.

Любопытна судьба одного из упомянутых мною в связи с войной молодых поэтов, Роберта Николса. Далеко не гениальный поэт, — он обладает, однако, даром, которого лишены его современники. В нем есть искра того безумия, которым горели Шелли и Байрон. Его любовные стихи (любовные стихи не в моде в этой Англии) заставляют вспомнить о счастливых временах молодого романтизма. Но такой намек на мятежный дух неуместен в Георгианской атмосфере. К сожалению, — и к счастью для его судей — «священное безумие» как будто сочетается в нем с более клиническими формами,

и Никола выживают из литературного хорошего общества. Недавно, как бы в подтверждение этого, Николе выпустил книгу с остроумным, задорным и злобным предисловием, в котором он обрушивается на мещанский дух английской литературы. После этого уже не сомневаются в клиничности его сумасшествия.

Один американский критик, в статье об английской литературе в «Nouvelle Revue Française» цитирует, как характерное для нее, двустишие Джона Дринкуотера, — одного из наиболее популярных и наименее оригинальных Георгианцев:

I go to be content that from my sires
I draw the blood of England's midmost shires ¹⁾.

Для того, чтобы найти современные английские стихи, где бы ни господствовал дух этого спокойного самоудовлетворения, нужно от Англии обратиться к поэтам Ирландии и, особенно, молодой Америки.

С. Д. Мирский.

Лондон.

¹⁾

Я горд: ту кровь, что в жилах здесь течет,
Простой и скромный дал британский род.

(Перев. Н. Бранского).

А. А. СМЕРНОВ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Французская литература, оправившись от всех потрясений последних лет, сейчас восстановила тот же полный объем своей и напряженность работы, как в былые годы — в начале века. Выражаясь стилем патетической критики, «никогда еще» не появлялось такого количества мастерски сделанных стихотворений, романов, новелл, «никогда еще» работа не кипела так во всех областях и по всем направлениям, как в наши дни.

И, тем не менее, можно утверждать, что в литературной Франции дело обстоит неблагоприятно, быть может, более неблагоприятно, чем даже в тяжкие для искусства годы войны. Тогда, по крайней мере, никто не ждал и не требовал, чтобы в спертной атмосфере общей подавленности, духовной нужды и добровольной цензуры торжествующих кружков шовинистов, прозвучал новый и чистый звук, оформились новые художественные синтезы. Но можно было надеяться, что за толщей, с одной стороны, казенно-патриотической, с другой — всегда бессмертной бульварной литературы зреют зачатки свежей и углубленной творческой мысли, плоды которой скажутся, как только спадет горячка нездорового момента. И надежда эта подкреплялась как отдельными голосами, прорывавшимися «контрабандой» (назовем лишь Ромэна Роллана), так и красноречивым сосредоточенным молчанием многих из лучших писателей Франции.

Что же мы наблюдаем теперь, когда ясный час настал? После всех испытаний и размышлений о смысле их, после всех немалых социальных и духовных сдвигов, наконец, после всех опытов обновления формы и уроков, вынесенных из крушения стольких из них, должно было, казалось бы, родиться новое чувство формы, новый ритм мысли и ощущений, новая пластическая концепция действительности и мечты.

Этого не случилось. Настоящее состояние литературы во Франции представляет картину необычайной раздробленности и пестроты, среди которой крайне трудно обнаружить какие-либо руководящие линии и доминирующие тона. Мало того: чувствуется большая внутренняя усталость и растерянность. Большинство старых корифеев предпочитают отмахиваться за щитом своего блистательного прошлого. Другие же, как старые, так и молодежь, работают самоотверженно и напряженно, но большая часть из всего, что появляется из под их пера — если не вялое эпигонство, то либо бесплодное вариирование

изжитых традиций, либо попытки к созданию новых форм и приемов, из которых пока не родилось еще ничего цельного, синтетического, общепонятного.

Конечно, французская литература не оскудела и не измельчала, и по художественному мастерству занимает первое место среди своих западных собратьев. А. Франс и А. де Ренье стары годами, но творчество их сохранило всю свою силу. Полны мощного порыва последние произведения Р. Роллана и А. Барбюсса, как и вообще вся группа «Кларте» дает сейчас и должна дать в будущем много ценного. Кое-что интересное мелькает, хотя пока еще очень смутно, в попытках создать «пролетарскую» литературу (вроде Мартинэ). Возникают новые, оригинальные дарования, как напр., Мак-Орлан... Но все это бесконечно далеко от общего, широкого порыва к выработке нового восприятия жизни и мира и соответственной новой художественной формы для его воплощения, подобно, например, немецкому экспрессионизму. А между тем, в самом французском сознании все сильнее нарастает такая потребность, ибо все сильнее ощущается пресыщение старыми жанрами и манерами, исчерпанность старых подходов и традиций.

Среди французских критиков рождается некоторая тревога. «Находимся ли мы в упадке?» — так озаглавливает свою статью Марселло-Фабри в июньской книжке редактируемой им «La Revue de l'Époque». Чувство неуверенности, констатирует он, охватывает писателей. Стихов никто больше не читает, кроме авторов и других поэтов. Это оттого, что у самих художников не хватает веры в свои произведения. Причину кризиса он видит в ненормальном торжестве рассудочности (intellectualisme) над чувствительностью (sensibilité), ненормальном именно для психики современного человека: «Среди общества с повышенной чувствительностью, которого не удовлетворяет даже одновременная соединенная игра наших пяти чувств, целое поколение пылкой молодежи, призванное к тому, чтобы, если не отразить, то хотя бы определить дух века, с ожесточением стремится обуздать, придушить, истребить эту силу, которая одушевляет все искусства — чувствительность! — Булочники, пытающиеся испечь хлеб без помощи дрожжей!» Автор заключает, однако, свою статью уверенностью, что текущий момент — не упадок, а переходное время, и что вскоре появятся произведения крупной ценности, в которых равновесие между рассудком и чувствительностью будет восстановлено.

Другой критик, М. Батийя, в статье «Современный роман» (в том же журнале) констатирует, что сейчас роман, взятый в целом, «представляет собою картину необыкновенного развала». Причина, по его мнению, коренится в общественном моменте: «Духовный упадок как интеллектуальный, так и общественный, порожденный войной, произвел в литературной традиции трещину такую же зловещую, как и в общем развитии человечества».

Из новейших направлений, ищущих выхода из описанного состояния, можно назвать лишь два. Первое — неоклассицизм, широкой волной вторгающийся сейчас в литературу, как и в другие искусства во Франции. Но чего можно ожидать от него? Не знаем, что способен он дать, напр., в живописи, но в литературе он пока сводится лишь к замене старого канона другим, еще более старым: к восстановлению старой метрики, «очищению» языка и т. п., без того подъема чувства и органической живой мысли, которые некогда влагали душевную полноту

в этот древний кодекс формы. Это — капитуляция, вызванная усталостью и разочарованием, и не отсюда ждать французской литературе своего возрождения.

Второе — «унаимизм» — едва ли не самое интересное течение в художественной мысли современной Франции, возникшее еще до войны. Унаимисты (К. Дюамель, А. Мерсеро, Ж. Блок, Р. Аркос, с Ж. Ромэном во главе) проповедуют в идейной области более интимный и гуманный подход к человеку и явлениям жизни, проникновенное ощущение социальных отношений, в итоге — нечто в роде «вселенского братства». В области художественных приемов и форм они объявляют войну всякой стилизации, рассудочности, наивному натурализму, идеализации, крайностям психологизма. В частности, они требуют возрождения слова — возвращения ему всей первобытной его свежести, и выразительности. До сих пор, однако, унаимисты проявили себя более в теории, чем в практике, ярче и отчетливее показывая «что» надо делать, чем «как».

Своего рода популяризации идей унаимизма посвящена увлекательная книга Дюамеля «Покинутые люди». Это как бы восемь этюдов, в которых автор прослеживает ряд типичных случаев социально-психологических взаимодействий, нередко окрашивая тонкой иронией: 1) «Кучер». Тайнственное влияние мысли группы людей на индивидуума. Безобидного, невинного человека односельчане подозревают в убийстве и, в конце концов, словно гипнотизируя, доводят до преступления. 2) «Новая встреча Салавэна». Тайное влияние мысли индивидуума на группу. Один человек желает любви женщины и смерти своего соперника, что, в конце концов, и осуществляется (все это оказывается сном). 3) «Всего не расскажешь». Изучается замкнутая группа друзей в определенной обстановке. 4) «Дары моря». Жизнь социальной группы (поселение деревни) среди определенных обстоятельств. 5) «Происхождение и процветание обезьян». Зарождение легенды в определенной среде, без всякого фактического основания. 6) «Экспедиция». Сопротивление группы лиц внешним обстоятельствам. Судья, доктор и студенты-медики, оторванные от пирушки необходимостью осмотреть труп только что убитого человека, выполнив это, возвращаются и заканчивают попойку в прежнем настроении. 7) «Комната с часами». Столкновение индивидуума с чуждой ему группой: ребенок, попавший в богадельню. 8) «Бенгальский зяблик». Столкновение двух моментов душевной жизни: отвращение, вызываемое в посетителе дома терпимости обстановкой его.

Унаимизм растет и крепнет с каждым годом.

Во всяком случае, если где искать проблесков обновления французской литературы, то скорее всего — в нем. Но тут-то и встает одно тревожное сомнение: способны ли широкие круги французских писателей принять и проникнуться этим или иным, подобным ему, течением, требующим сильного сдвига мысли, перестройки чувства жизни, разрыва с традицией.

«Французское искусство не знает революций»... Не знает, ибо слишком сильна в нем традиционная преемственность двух начал — «вкуса» (goût) и «смысла» — рассудочного ума (esprit). В них — и богатство, и оковы французского духа. Из за них пришлось ждать французской поэзии тридцать лет после революции 1789 г. свержения классического канона, столь органически связанного с чувствами и вкусами общества старого режима. Не слишком ли сильна и сейчас в художе-

ственных кругах Франции эта тормозящая, замораживающая сила? Вспомним упомянутый выше «нео-классицизм»...

Одно из самых удачных определений французского ума дано английским критиком Никольсоном в его недавно переизданной книге о Верлене (кстати сказать, чрезвычайно хорошо принятой французской критикой). Приводим самые существенные места из нее. «Из всех цивилизованных рас французская раса, быть может, самая одаренная и, без сомнения, самая очаровательная. Но французы обладают одним основным недостатком: они лишены чувства бесконечности. Они поистине обладают всеми качествами души и ума, но в столь живой, сознательной и точной форме, что не остается места для того, чтобы им раскрываться. Нет постепенности. Вот почему во французе можно найти патриотизм, но не чувство общности; проникательность, но не широту взгляда; остроумие, но не юмор; личность, но не индивидуализм; дисциплину, но не порядок... Он не обладает радостной, игривой интуицией англичанина... В делах практических и внешних, как, например, европейская война, специальный дар французского духа к приспособлению сказывается самым удивительным образом. Но когда дело касается внутренних вопросов, как литература или политика, французы склонны к условностям, к короткомыслию... Французский дух восстает в таких случаях, как альпийский ледник — надменный, прозрачно-ясный и холодный. Французский ум архитектурен, недоверчив, осмотрителен, уравновешен, поглощен заботой о пропорциях, об устойчивости, о живом ощущении предмета, которым он оперирует. Он отвергает импровизацию. Он не только хочет знать, к чему стремится художник, но и желает быть уверен, что художник сам сознает свою собственную цель... Из всего этого рождается та суровая дисциплина, под властью которой процветает и множится французская литература»...

Не характерно ли, что Батийя, правильно почувствовавший наличие какого-то кризиса, разрухи, тупика, так ошибся в формулировке его. Он цепляется за «традицию», видит в ней панацею против всех зол, сетует, что в ней образовалась «трещина» (?), когда беда именно от того, что традиция слишком плотно все сковала и запаjala, что так трудно сделать в ней малейшую трещинку! Лишь в том случае, если что-то будет надломлено в этом «альпийском леднике», потечет свежая струя обновления. И лишь тогда станут возможны современные поэмы и романы как «декоративный синтез жизни», о котором мечтает Батийя.

А теперь постараемся дать картину наличного состояния литературы во Франции. Вот краткий обзор произведений, обладающих безусловными художественными достоинствами, вышедших за последние месяцы и сочувственно принятых местной критикой различных направлений¹⁾.

¹⁾ Мы не включаем в этот обзор произведений, нашедших уже оценку в статьях Анри де Ренье и Поля Колэна, напечатанных в № 1 «Современного Запада». Предлагаем самому читателю восполнить наш очерк приведенным в них материалом.

В области поэзии преобладают романтизм и эклектизм с уклоном к классицизму. Романтичен *Пьер Реверди* (Reverdy), достигающий в своем «Сердце дуба» выразительной пластичности образов. «Движение гаснет, гул ложится вдоль земли, линии дорог убегают, человек — в скорби»: — в этом есть тихая глубина и величавый контур.

«Нежные подруги» *Филиппа Шабанэ* (Chabaneix) — талантливый дебют скромного ученика Мюссе. *Жан Лебро* (Lebrau), из группы «Divan», не без влияния Жана Мореаса и Пеллерэна, со сдержанной фантазией и умеренной романтичностью, воспекает в «Кипарисе и хижине» сельскую меланхолию.

Один из наиболее творчески сильных поэтов дня, *Поль Валери* (Valéry), унаследовавший от Малларме жажду совершенства формы и стремление придать слову всю крепость, выразительность и внутренний свет, дал чудесную поэму «Змея». Но, мучимый чувством изжитости старых приемов, он ищет новые — и не всегда удачные. Так, вместо передачи идеи образом, он пытается, наоборот, выразить конкретное абстрактным термином, напр., «великая урна, из которой польется уступчивость» (= Ева), или: «непокорность трепещет вдоль спины» (змея); может ли это оказаться плодотворным для поэзии?

Изячную и необычайно интимную книжку стихов дал *Жюль Ромэн* — «Любовь двэта Парижа»: прелестная сюита парижских пейзажей и анонимных любовных эпизодов. При всем различии средств, открывается какое-то внутреннее родство с Верленом: «Еще на час света, голубого, от которого сжимается сердце, — это любовь двэта Парижа».

Особняком стоит попрежнему удивительный *Поль Клодель*, из последних стихов которого отметим лишь «Юбилейную оду к Данте», хотя бы за одно то, что в ней поразительным образом обнаруживаются черты, роднящие самого Клоделя с великим флорентийским поэтом: массивность мысли, дидактический лиризм, мощь слова. «Взгляни на нее, эту Итальянскую колонну, похожую на тело, на эту землю, длинную и сжатую в солнце»: в двух таких строках — вся мера силы Клоделя.

Франсис Жамм, этот ветеран новой французской поэзии, в главной пьесе своего сборника «Гробница Лафонтэна, и другие стихи в правильном размере», возмел забавную мысль изобразить сбор у гробницы баснописца всех зверей, корящих его на разные голоса за то, что он навязал им плоскую и жалкую роль, не поняв их силы и выразительности. Новость для Жамма — отказ от обычного для него свободного стиха в пользу старой метрики. Это едва ли удачно, ибо мало вяжется со стилем его поэзии.

Классичным стремится быть и *Фернан Дивуар* (Divoire), в своем «Орфее» возрождающий элевсинский миф как иллюстрацию основной мысли своей, что «истина» — в интеллектуализованной любви, и

Иоганнес Скринсит (псевдоним), поклонник Рема де Гурмона, в мастерски инструментованных, музыкальных стихах своего «Гимна крови» дающий рапсодию из мотивов жутки и упоения жизни.

Среди огромной массы стихов религиозно-назидательного характера (как это характерно для момента!) выделяются поэтическими достоинствами «Танец смерти» *Фаюса*, синтетическая картина жизни как «великого искушения», и «Полигимния, оды и стансы» *Жака*

Рэно (Raynaud) — крепкие по форме, сильные строки, напоминающие стихи католических гуманистов XVII-го века, а еще более — Мазерба.

Наконец, «Строки для попутного ветра» *Луи де Гонзаг Фрика* — весьма приятная, но изящная эротика, в то время как «Юморески» *Тристана Клинсора* (Klingsor) — бойкие и ласковые песенки в народно-французском стиле на всякие темы.

В области романа и новеллы преобладает психологизм; натурализм значительно ослабел, зато сильно разросся уклон к фантастике, легенде и т. п.

Один из самых тонких романов психологического направления, осложненного философским оттенком — «Призыв к пути» *Эдуарда Эстонье* (Estaunié). Идея его — то, что жизнь — страдание, что нельзя жить, не заставляя страдать других, но что надо принять это, ибо жизнь без страдания — полужизнь. Главная же причина страдания — молчание, т. е. взаимная замкнутость людей, одиночество. «Человек, который страдает, в конце концов, гасит своим страданием красоту мира, самый мир» (не отголосок ли это из Достоевского?). Схема: три приятеля рассказывают друг другу каждый по повести жизни, при чем в конце оказывается, что все три истории связаны между собой, и один из собеседников, аббат (вспомним Буржэ!), подводит итог в виде изложенной мысли.

Психологичен и роман *Бенжамена Кремье* «Первый в классе» — анализ переживаний 15-летнего идеалиста-мечтателя, тогда как «Раненое воспоминание» *Альбера Тьерри* с его надрывом и изломами чувств переводит нас уже в область психопатологии.

Психологизм связан с социальным значением в романе *Дрие де Ла Рошелля* «Гражданская жизнь» — воспоминания о детстве, разрастающиеся в картину целого поколения молодежи, именно того, у которого воспиталась воля при полном анархизме духа, прикрытом внешней дисциплиной (критика сравнивает этот роман по широте захвата с «Исповедью сына века» Мюссе). Наоборот, в романе нравов переходят «Сюзанна и наслаждение» *Андре Бонье* и «Полевые мыши» *Франси де Миомандра*: психологические проблемы, встающие перед людьми, цель жизни которых — удовольствие.

Циклический роман представлен двумя интересными образцами. *Абель Эрман* (Hermant) «Трагическими сумерками» заканчивает свою большую трилогию, первые две части которой — «Пламенная заря» и «Короткий день» — были написаны им много лет назад. В то же время, *Мартэн дю Гар* начал большое повествование «Семья Тибо»; пока выпущен первый том — «Серая тетрадка», — история бегства и возвращения в семью двух школьников, будущих героев цикла.

Романом «настроения» можно назвать «Песнь песней» *Пьера Амна* (Hamp), где события происходят в пьянящей атмосфере ароматов, начиная с фабрики духов и кончая насыщенным ими будуаром. На высокую идейность притязает «Святой Маглотрий» *Ролана Доржелеса* — история идеалиста-проповедника (идея его — смесь гностицизма, буддизма, фурьеризма и т. п.), прославившего магом и мудрецом среди негров, пытающегося затем проявить свое влияние в Париже, но там всеми осмеянного и вынужденного с позором вернуться в свою Африку. В романе можно уловить отражение — до конца ли удачное? — идей А. Франса и Метерлинка.

У *Доржелеса* немало черт натуралистического правоописания. То же можно заметить и в романе *Франсуа Мориака* (Mauriac) «Поцелуй прокаженному», проводящем в католически-назидательном духе идею торжествующего милосердия: молодая жена-красавица пренебрегает всеми соблазнами и жертвует собою ради мужа — урода, но обладающего доброй душой. Один из отцов чистого натурализма, *Шарль-Анри Ири* (Hirsch) в «Нини Годаш» пытается обновить это направление примесью символизма и шутивого критицизма в духе А. Франса. Сходна по схеме с романом Доржелеса, но овеяна при этом мягким лиризмом «Земля Ханаанская» *Луи Шадурна* — повесть о мечтателе и искателе приключений, который после ряда разочарований возвращается на родину.

Художественный юмор двух различных типов представлен вновь переизданным сборником рассказов *Ж. Ромэна* «Однокашники» (юмор «студенческий»: проказы и мистификации, разрастающиеся подчас до характера энопей) и романом *Андре Ламандэ* «Кастаньоля» (рассказ о любви сына академика и дочери ресторатора, соединяющихся вопреки воле родителей, переданный живо, пересыщенный сочными шутками).

«В когтях дивилизации» *Армен Оганьян* повествует о мытарствах армянской танцовщицы из Шемахи по ресторанам и подмосткам Парижа.

Из исторических романов отметим «Убийство господина Фюальдеса» *А. Правьелля*. Исторической легендой, как канвою, воспользовался и *Пьер Бенуа* в «Дороге гигантов», чтобы дать широкую картину страданий ирландского народа под английским игом.

Не забыта, конечно, и русская революция. «Ноктюрны» *Имана* рисуют жизнь и деятельность дипломатов, шпионов и революционеров, нашедших приют в Женеве во время европейской войны. «Когда земля затрепещет» *Клода Анэ* — повесть идиллической любви двух сердец в Советской России, длящейся долгое время благополучно, пока, наконец, на них не обрушивается удар.

Немало романов, и не из числа худших, посвящены экзотике и колониальной жизни (особенно среди негров, мода на которых усилилась со времен «Батуалы» *Рене Марана*). Назовем три наиболее художественных образца из этой группы. «Африканское безумие» *Э. Арокура* (Harcourt), собственно, вполне «европейский роман». Африканский пейзаж и знойное солнце являются лишь фоном и косвенным фактором драмы любви и ревности, разыгрывающейся в душах попавших в этот край европейцев. Гораздо больше местного колорита и остроты в «Басс-Бассина-Булу» *Франца Эллана* (Hellans), в причудливой форме описывающего столь же причудливые и фантастические приключения «негрского божества», сначала у себя на родине, затем — в Париже, куда его занесла судьба. Но наиболее интересен по своему широкому социальному смыслу, роман братьев *Таро* (Tha-gaud) — «Бесплодные мытарства». Герой романа, простодушный африканский негр, отправляется в соседнюю область за получением наследства, состоящего из скота. По ошибке принятый за другого, он завербован в солдаты и брошен в европейскую войну. Там он ошеломлен всем происходящим, но покорно отдается ему, пока, наконец, искалеченный в боях, не возвращается на родину. Невеста его не раз уже успела изменить ему, но теперь вновь соглашается отдать ему свою руку. Большая часть наследства погибла в пути. Наш негр —

опять у «разбитого корыта», но душа его полна впечатлениями, и у него много досуга, чтобы обдумывать их и обсуждать с земляками. Авторы ставят вопрос: как отразилась эта страшная война в умах тех дикарей, которые оказались участниками и наблюдателями ее? Что вынесли они из всего виденного? Не изменилось ли их представление о белых и об их культуре? Наконец, какие последствия это может иметь для них? Ответ братьев Таро кажется неопределенным и примирительным. Но весьма возможно, что по тактическим соображениям они не доказывают своей нелестной и тревожной для Европы мысли до конца.

В заключение коснемся одной из довольно примечательных французских книг последнего времени, в которой выразительно отражен вчерашний день европейской культуры. Это — сборник рассказов *Поля Морана* «Открыто ночью». Пред нами проходит ряд картин столичной жизни, преимущественно ночной: рестораны, автомобили, группы, настоящие и поддельные драгоценности, а главное — люди «особенной породы» — то пресыщенные, то болезненно жадные до наслаждений, но всегда лихорадочно напряженные, с большими, неестественными чувствами, с душевными изломами и причудами. Все это мелькает, мечется с кинематографической быстротой, в неверном свете электричества, как жуткие, но по своему правдивые видения. Для передачи всего этого автор сумел найти соответственный стиль — сжатый, с полунамеками, неожиданными сравнениями и оборотами, но в то же время ясный и по своему ритмичный.

Один английский критик («Athenaeum», № 5) остроумно объявляет эту книгу «другой стороной дадаизма». Война, рассуждает он, была безумием, быть может неотвратимым и необходимым, но все же безумием. Ибо вся европейская жизнь последнего периода была охвачена моральным безумием. «Дадаизм, последовательный до конца в своем вызове здравому смыслу, в своем отрицании одновременно и логики и этики, преломил это чувство жизни в форме уродливого гротеска. То же самое «Открыто ночью» отражает в прямой, реалистической форме.

На голову выше всего перечисленного стоят, конечно, последние вещи *А. Франса* («Жизнь в цветах»), *Романа Роллана* («Клерамбо», «Пьер и Люс»¹), *А. де Ренья* («Тито Басси», «Грешница»), *Барбюсса*... Но мы их не включили сюда, отчасти потому, что большинство их вышло в свет раньше взятого здесь срока, отчасти потому, что они требуют более внимательного разбора (предполагаем дать его в ближайших номерах журнала), чем какой возможен в настоящем беглом отчете. Цель его — дать обзор общего, рядового движения во французской литературе за последние, по преимуществу, 7—8 месяцев, и в этом смысле привлечение названных произведений не изменило бы общей картины.

А. А. Смирнов.

Е. БРАУДО

НОВЫЙ ДУХ В НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКЕ

Гораздо меньше, чем о новых течениях в немецкой литературе и изобразительном искусстве, мы осведомлены о новых явлениях немецкой музыки.

Знакомство русской публики с новыми течениями немецкой музыки оборвалось ровно восемь лет тому назад. Мы дошли лишь до Штрауса, Регера, Вольфа, а также замечательные мастера, как Малер, Шенберг, являющиеся выразителями подлинной новизны, остаются пока совершенно неизвестными русской публике.

При ознакомлении с концертными программами и оперным репертуаром последних лет еще не получаешь впечатления, что в немецкой музыкальной жизни совершился значительный сдвиг. Напротив того, может показаться, что здесь затишье по сравнению с движением вперед в других областях германского художественного творчества. Бетховен, Брамс, Гуго Вольф в области камерной, Вагнер, Штраус в опере — попрежнему гарантия полных сборов и неизменного успеха у публики. Но есть музыкальные организации, устраивающие камерные и симфонические вечера, которые обходятся без только что названных имен, и эти организации, повидимому, совершают дело важное и нужное для музыкального прогресса, они-то и являются выразителями духа современности в немецкой музыке.

Эта группа, повидимому, идет на сознательный разрыв с прежней звуковой культурой Германии. Экспрессионисты слова утверждают, что они впервые открыли движение слова, музыканты же ищут нового звука. Обновление немецкой музыки идет под этим лозунгом. Оно коснулось основного материала музыки. «Новозвучники» («Neutöner») делают попытки преодолеть окончательно систему, основанную на смене «шагов» в тон и полутон. Все упорнее и настойчивее раздается «крик о четверть-тонах» особенно после того, как молодым теоретиком В. фон Мелендорфом была изобретена фикс-гармония, акустически разрешавшая эту проблему. Недавно левая немецкая музыкальная пресса торжествовала по поводу исполнения брюссельской камерной ассоциацией струнного квартета Альфонса Хаба в четверть-тонах. Это пока крайнее достижение немецкой новозвучности. Один из представителей старой школы Ганс Фейднер выступил в печати с брошюрой, направленной против музыкального футуризма, в котором он усматривает великую опасность для немецкой музыки. Но, надо заметить, что еще задолго до появления квартета Хаба Феруччио Бузони поднял вопрос о художественном применении третьей и даже шестых тона.

¹ Обе книжки выходят на днях в свет в издании «Всемирной Литературы».

И помнится, что его «введение в новую эстетику» музыкального искусства было даже переведено на русский язык и издано в Петербурге.

Старые боги немецкой музыки—в опале. К Рихарду Вагнеру новое поколение относится с определенной враждебностью. Пожалуй, в данном случае известную роль играет и идеологический момент. Национализм во всех областях, а особенно в области музыки—преодолен. Для искусства, рождающегося в новой политической обстановке и проникнутого идеей мирового братства (так сказать, «официального» лозунга всей новейшей немецкой литературы), Вагнер такой же представитель художественного империализма, как Вильгельм или Людендорф с точки зрения военной. Так прямо и утверждается в чрезвычайно интересном этюде «О мировом назначении немецкой музыки» одного из наиболее талантливых современных немецких критиков Пауля Беккера.

Отказ от Вагнера, магически овладевшего всем музыкальным искусством второй половины XIX столетия, впервые сознательно провозглашен был Клодом Дебюсси. Он же первый вдохновился и поисками новых звучаний по ту сторону музыкального добра и зла. По пути ли с ним и его школой современных немецким музыкантам? Нет сомнения, что Дебюсси им ближе, чем Вагнер. «Мы ищем самых тонких, разнообразных и гибких отношений между отдельными тонами, чтобы проявить более интенсивное мелодическое бытие современной утонченной и нежной души», говорит Беккер. Дебюсси, величайший мелодист начала XX столетия, предвосхитил эти идеи. Его на этот путь направили личные особенности его таланта. Новая же немецкая музыка очутилась на этом пути в силу неизбежного для всей европейской музыки нового фазиса развития. Дебюсси во Франции, Скрябин в России, Арнольд Шенберг в Германии не должны и не могут быть связаны с какой-либо национальной школой. Это было бы полным непониманием их жизненного труда. Именно благодаря их влиянию укрепилось сознание того, что обетованная земля современной музыки—далеко за пределами искусственных перегородок между отдельными национальностями. Между «внетональным» и «внеациональным» можно поставить знак равенства. Таков общественно-исторический смысл событий, совершающихся сейчас в европейской музыке.

Осуществителями новых идей в немецкой музыке в настоящее время являются два ее крупнейших представителя: Арнольд Шенберг и Франц Шреккер. Шенберг, пожалуй, теперь самый крупный немецкий музыкальный деятель. Его творческое значение не отрицается даже ярыми противниками музыкальной новизны. Если Дебюсси можно считать Моцартом новой музыки, то Шенберг—ее Бетховен, с теми же чертами сурового творческого облика. Шенбергу недостает выразительной силы крупного симфониста—его область камерная музыка, что несколько ограничивает сферу его влияния. Шенберговским духом проникнут боевой и свежий музыкальный двухнедельник «Натиск». Журнал этот, по его собственному признанию, имеет целью оказывать всестороннюю поддержку новым течениям в немецкой музыке и служить не столько настоящему, сколько будущему.

Франц Шреккер определился окончательно уже в послевоенную эпоху. Он самый выдающийся музыкальный драматург современной Германии. Авторитетная критика утверждает, что в своих последних

операх Шреккер разрешил проблему органической, не психологической музыкальной драмы. Шреккер совершенно своеобразен, его музыкально-драматическая техника построена на иных, чем у Вагнера и Штрауса, основах. Преобладающее значение имеет мелодия. Лейтмотив перестает быть средством психологической характеристики и приобретает прежнее значение чистого элемента звукового зодчества. Как Дебюсси стилистически близок к Рамо, так Шреккер, преодолев музыкально-драматические соблазны XIX столетия, возвращается к грандиозной мелодической драматургии Глюка и Генделя. Две оперы Шреккера—«Отмеченные» и «Искатели клада»—обходят теперь с триумфом германские сцены. С большой теплотой немецкая критика отзывалась о небывалой красоте оркестрового колорита Шреккера, о его очень тонком, индивидуальном ведении голосов. Франц Шреккер в настоящее время—директор Высшей Музыкальной Школы в Берлине.

В немецкой камерной музыке за последние годы наблюдается значительное оживление. Самый уклон современной общественной жизни и, не в последнюю очередь, обеднение интеллигентских кругов заставляют и публику, и композиторов сосредоточиваться именно в этой области. Большое значение для пропаганды новой камерной музыки имели организованные Шенбергом закрытые камерные вечера по подписке. На этих вечерах, судя по их программам, исполняются почти исключительно новинки. Среди них выделяются произведения Эгона Велеша и Павла Гиндемита. Велеш—автор четырех струнных квартетов и оперы «Принцессы Гирвара» на текст Вассермана, Гиндемит—глава струнного квартета, работает исключительно в области камерной музыки.

Мы назвали всего несколько имен и привели несколько типичных примеров. Но в чем именно выражается новый творческий дух немецкой музыки? Можно ли говорить о новом законченном движении в немецкой музыке, о музыкальном экспрессионизме в параллель с экспрессионизмом слова и изобразительных искусств? На этот вопрос пока еще трудно ответить. Дебюсси и Скрябин, создавая основы нового звукозодчества, действовали не в силу каких-либо предвзятых теорий, а исключительно повинаясь стихийной необходимости. Бетховен сказал: «Все новое, небывалое создается само собой, вне наших сознательных поисков». Иррациональный дух говорит и в современной немецкой музыке, говорит с большой силой, и только на известном отдалении от текущего исторического момента историку дано будет осмыслить то, что происходит сейчас в недрах немецкого искусства и о чем мы здесь, в России, осведомлены лишь неполно и случайно.

Е. Браудо.

Г. ЕРЧИКОВСКИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ

В 1921 г. известный германский метеоролог и геофизик Альфред Вегенер напечатал новое, исправленное и дополненное, издание своей весьма интересной теории о происхождении материков и океанов. Теория эта основана на целом ряде весьма остроумных и смелых гипотез, резко идущих в разрез с общепринятыми до сих пор мнениями. Выводы из нее разъясняют немало темных до сего времени фактов как современного состояния лика земли, так и истории его образования. Целый ряд географических особенностей разных частей земной поверхности: материков, островов, гор, океанов, морей и др. становится понятным после принятия теории Вегенера. Появление книги Вегенера вызвало обширные споры в западно-европейской и американской научной литературе, так как, с одной стороны, появились горячие сторонники его смелых обобщений и допущений, с другой — резкие противники его неожиданных гипотез.

Относительно лика земли могут быть две точки зрения: 1) можно принять, что этот лик постоянен, что с течением времени происходили лишь мало существенные изменения в распределении материков и океанов, 2) можно допустить, что ни суша, ни моря никогда не были устойчивыми, что настоящее очертание материков и островов лишь только мимолетный образ, который никогда не существовал ранее и никогда не возникнет вновь. Вегенер, как географ, принимает первую точку зрения. Многие геологи склоняются ко второй.

Считая материки весьма постоянными образованиями на земном шаре, Вегенер указывает на то, что очертания материков настоящего времени являются результатом длинного исторического их развития. Материки нашего времени по своим очертаниям не похожи на материки прошлых геологических времен, но по своей сущности они оставались тем же. Никогда в прежние геологические эпохи не было случая, чтобы какой-либо материк исчез с лица земли, опустившись, например, подобно сказочной Атлантиде, на дно океана. Противоположный случай — поднятия дна глубоководного океана выше уровня воды в нем — Вегенер признает возможным. Таковыми поднятыми со дна океана местностями он считает остров Исландию, треугольник пустынной и бесплодной страны в Африке между Абиссинией и страной Сомали. Но в то же время Вегенер отрицает возможность поднятия целого материка из глубин океана. Обычно для объяснения разниц в уровнях в различных частях земной поверхности принимается гипотеза сжатия этой поверхности. Вследствие понижения средней температуры

земного шара, вследствие потери теплоты, поверхность земного шара должна была уменьшаться, а земная кора собираться в складки. При этом части коры выпячиваются выше уровня воды в океане и образуют материки и острова, а также горы и другие возвышенности на них, другие же части коры, лежащие между складками, опускаются, почему возникают большие морские и океанские глубины. Вегенер считает эту теорию образования материков и гор необоснованною, прежде всего потому, что нет доказательств сравнительно быстрого охлаждения земного шара. В настоящее время является общепринятым, что в глубинах земного шара находятся вещества, обладающие непрерывным радиоактивным распадом, идущим с выделением большого количества теплоты. Этой теплоты распада достаточно, чтобы в течение весьма большого количества тысячелетий поддерживать температуру земного шара постоянною. Количество находящихся в недрах земли радиоактивных веществ, по вычислениям, таково, что нужно скорее искать объяснения, почему средняя температура земной поверхности с течением времени не повышается. Геологические факты тоже показывают, что средняя температура земного шара мало изменялась даже с альгонкского периода, когда в некоторых местностях земной поверхности существовали ледники. Вегенер отрицает также возможность образования гор вследствие сокращения земной коры. При образовании в третичный период гор Юры равнина должна была сократиться на $\frac{1}{5}$, при образовании Альп — на $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{8}$. Такое сокращение в километрах выразилось бы величинами от 600 до 1.200 км. и могло бы произойти только при сокращении земного радиуса на 3%, что отвечало бы, принимая средний коэффициент сжатия для земли в 0,0000125, падению температуры земли на 2.400°. Эта цифра явно ни с чем несообразна.

Целый ряд твердо установленных фактов говорит за то, что, при остывании земного шара, из расплавленного состояния жидкая магма распределилась по удельному весу, так что наиболее легкие породы остывали в верхних слоях, более тяжелые — в нижних. Такое распределение горных пород по удельному весу сохранилось в общих чертах и до нашего времени. Средний удельный вес земного шара 5,5, в то время как средний удельный вес горных пород, составляющих поверхностный слой земной коры — 2,7. Отсюда вытекает, что центральная часть земного шара должна состоять из веществ с большим уд. весом, нежели 5,5. Наблюдения над скоростью распространения по земному шару упругих волн во время землетрясений показали, что легкие горные породы, составляющие самые поверхностные слои земной коры, простираются в среднем до 120 километров в глубину. Эти породы, примером которых может быть гнейс, состоят главным образом из силикатов, в которые, кроме кремния (силиция), главной составной частью входит алюминий, почему слой их назван «Силь» или, по Вегенеру, «Сиаль». Более глубокие и тяжелые породы достигают глубины 1.700 км. и содержат, кроме кремния, главным образом, магний и железо, почему они называются слоем «Сима». Примером их могут быть застывшие лавы: базальты, андезит и др. Глубже 1.700 км. находится металлическое ядро, состоящее, судя по скорости распространения упругих волн, преимущественно из никеля и железа: оно носит название «Нифе». Удельный вес его, по вычислению около 7.

Измерения силы тяжести в разных местах земной поверхности показали, что на одной и той же географической долготе сила притя-

жения к центру земли одинакова как на материках вдали от берегов, так и посередине океана, вдали от суши. Это обстоятельство показывает, что притягивающие массы земли одинаковы как посередине материковых массивов, в местах лежащих высоко над уровнем воды в океане, так и посередине океана. Отсюда следует, что под океанами расположены породы с большим удельным весом, нежели те, из которых составлены материки. Удельный вес материковых пород Сналь — от 2,3 до 2,7, пород Сима — 2,7 до 3,2. Поэтому Вегенер принимает, что дно океанов и глубоководных морей состоит из пород Сима. Материки, состоящие из пород Сналь, подобно ледяным горам, плавающим в море, лежат на породах Сима, вытесняя, на основании законов гидростатики, равное им по весу количество этих пород. Это явление состояния равновесия материковых массивов с окружающими их горными породами, на которое указывал еще в 1855 г. Пратт, называется «изостазией». Подобно тому, как у ледяных гор мощность льда, погруженного выше уровня воды в океане, приблизительно в 9 раз превосходит высоту этих гор над уровнем воды, так и под материками породы Сналь простираются далеко в глубину, особенно под высокими горами или под мощными покровами ледников, напр., в Гренландии. Под равнинами слой Сналь тоньше, под полосой шельфа ¹⁾ — совершенно незначителен. Мощность пород Сналь под сушей от 50 до 200 километров, в зависимости от высоты местности над уровнем моря. Вегенер, на основании закона изостазии, вычисляет среднюю мощность слоя Сналь в 91 кмтр. Измерения Гейфорда путем отклонения отвеса дали для той же мощности величину 114 кмтр., а измерения Гельмерта по методу качания маятника 120 кмтр. Такой взгляд на строение материковых массивов и океанского дна был вполне подтвержден Тамсом, нашедшим, что скорость распространения волн землетрясения под водами Тихого Океана равна 3,897 кмтр. в секунду, тогда как для материков эта скорость равна 3,801 кмтр., что и следовало ожидать, в виду разницы в удельных весах и коэффициентах упругости для пород Сналь и Сима. По исследованиям Ниппольта, отклонения магнитных полюсов земного шара от полюсов вращения показывают на иное расположение магнитных линий над океанами, нежели над материками. Для объяснения этого явления необходимо допустить существование под океанами богатых железом пород, в роде базальтов. Эти породы под океанами ближе к поверхности, нежели под материками.

Первоначально, после образования земной коры, слой Сналь, по мнению Вегенера, равномерно покрывал поверхность земного шара: этот слой тогда был толщиной около 30 кмтр. Поверх его находился водный океан, средняя глубина которого была, по вычислениям Пенка, 2,680 метров. Доказательством существования этого всемирного океана «Панталасса» является история развития растительного и животного мира на земле. Несомненно, что все живые существа возникли прежде всего в море: в наиболее древних периодах альгонкском и кембрийском известны только остатки морских животных; остатки дышащих воздухом животных найдены только в отложениях силлурийской системы;

¹⁾ К материковым массивам относится еще прибрежная полоса морского дна до 200 метр. глубины, так называемый, «шельф». До 200 метр. понижение дна идет очень медленно, далее глубина моря увеличивается значительно скорее, быстро достигая 2,400 метров.

первые сухопутные растения — в девонских слоях; первое четвероногое — в каменноугольных.

По Вегенеру, под влиянием «какой-то» силы в подвижной и упругой коре Сналь образовались трещины, и эта кора стала местами утолщаться и собираться в складки. Прежде всего кора Сналь сдвинулась в Тихом океане, дно которого состоит поэтому из чистых пород Сима. Обломки Сналь различной величины застряли в Сима, отстали от движения прочих частей коры и образовали, таким образом, бесчисленные острова Полинезии и возвышенности на дне Тихого океана. Сокращение коры Сналь шло в несколько приемов, что доказывается удивительным параллелизмом в расположении островов: Арльдт насчитывает 19 рядов островов Полинезии, которые тянутся параллельно друг другу.

В первые моменты образования материков действие горообразующих сил, по мнению Вегенера, было весьма значительно. Геолог Кайзер указывает на то, что среди самых древних пластов встречаются исключительно сильно нарушенные в своем положении и собранные в складки отложения; первые горизонтальные слои, на которые горообразующие силы не действовали, начинают встречаться только с альгонкского периода. В более поздние эпохи горизонтальное расположение пластов встречается чаще, что заметно уже в слоях каменноугольной и пермской систем. Еще позднее горообразующие силы замирают почти вполне и вновь просыпаются в конце юрского и в меловой периоды. Они достигают нового максимума в третичный период, но даже тогда площадь образовавшихся складчатых наслоений значительно меньше, нежели, напр., в каменноугольный период. Вследствие образования под влиянием этих сил складок, сдвигов, наплываний, величина поверхности, занимаемой материками, стала меньше в сравнении с поверхностью, занимаемой океанами и глубоководными морями, но в то же время средняя мощность их увеличивалась. В древние эпохи средняя высота материков и средняя глубина океанов и морей были меньше: с возрастом земли материки стали выше, а океаны глубже.

Для принятия этой теории необходимо прежде всего объяснить, как происходит передвижение в горизонтальном направлении твердых материковых массивов по слоям твердой Сима. Что твердые породы могут скользить, при соответственных условиях, по другим твердым породам и передвигаться на далекие расстояния, видно из образования альпийских гор, где некоторые слои оказались, путем скольжения, передвинутыми на несколько сот километров относительно прежнего своего места расположения. На глубине 100 километров, т. е. там, где, приблизительно, породы Сналь под материками соприкасаются с породами Сима, температура доходит до 2,500°. Дальше к центру земли она повышается до 3,000 — 5,000°. Между тем, средняя температура плавления силикатов, входящих в состав слоев Сналь и Сима, от 1,000° до 1,500°. Поэтому на глубине 100 кмтр. все горные породы должны быть пластичны, и подвижность отдельных слоев относительно друг друга в горизонтальном направлении должна быть большою.

Вегенер приводит целый ряд фактов из географии и геологии, доказывающих передвижение материков друг относительно друга. Он указывает на весьма замечательный параллелизм в очертании западных берегов Европы и Африки и восточных берегов Америки. Такое параллельное направление этих берегов становится особенно ясным, если вырезать очертания материков по карте, наклеенной на глобусе,

и придвинуть их, тоже на глобусе, друг к другу. Тогда легко видеть, что Американский материк некогда составлял один и тот же материковый массив с Европейско-африканским материком. По Вегенеру, первая трещина между Южной Африкой и Южной Америкой образовалась еще в нижне-меловой период. Эта трещина постепенно расширялась, в то время как на севере отделение материков еще не начиналось. Трещина между Северной Америкой и Европой возникла во время эоцена. Ньюфаундленд и Ирландия были соединены друг с другом еще в ледниковый период. Окончательное отделение Америки от Европы наступило в промежуток между двумя последними оледенениями. Передвижение Американских материков на запад сопровождалось весьма важными изменениями на них. Материки производили весьма сильное давление на свои западные берега. Поэтому на этих берегах произошли многочисленные складки, напозания и выпячивания в шельфе западного берега. Таким образом возникла тянущаяся с севера на юг цепь Кордильеров и Анд. Движение материков на запад не шло по прямым параллельным линиям. Лабрадор был сильно повернут и отстал от движения на северо-восток. Кроме того, происходило растяжение материков и их разрыв. Ньюфаундленд со своею мелью оторвался и повернулся на 30°. Вся Южная Америка получила поворот на 45°. Трещина между Средней Америкой и Северной Африкой вместе с Пиринейским полуостровом образовалась довольно рано, потому что образовавшиеся в третичное время Атласские горы не имеют продолжения в Америке. Весьма глубокий Бискайский залив (до 5.000 мтр.) является глубокою трещиною между материками, при образовании которой Испания повернулась на восточном конце Пириней; при чем, вследствие сдвига, Пириней растянулся на востоке, и береговая линия увеличилась. При передвижении Южной Америки на запад узкий перешеек, соединяющий ее с Западной Антарктидою (Южным Полярным Континентом), остался неподвижным и образует в настоящее время сильно изогнутую на восток цепь островов: Огненной Земли, Южных Оркнейских, Сандвичевых, Южной Георгии. Антильские острова представляют тоже подобную, отстающую при движении материков Америки на запад, гирлянду островов. По дну всего Атлантического Океана с севера на юг, на равных расстояниях от обоих раздвинувшихся материковых массивов, простирается Средне-Атлантический гребень со сравнительно небольшою глубиною. По Вегенеру, он является остатком дна той трещины, которая образовалась сначала между Африкой и Южной Америкой, а затем распространилась на север. Эта трещина в течение долгих периодов своего существования постепенно заполнилась материалом, сносимым с обоих материков. На этом гребне действительно были найдены материковые отложения, глубоководные пески, что до появления теории Вегенера было большою загадкою.

В подтверждение своей теории Вегенер приводит целый ряд фактов в строении материков Америки, с одной стороны, и Европы и Африки, с другой, которые не могут быть случайными явлениями. Целый ряд характерных для определенных геологических периодов наслоений находится, с одной стороны, на западе Европы и прилегающих к ней островах, с другой — на восточных берегах Сев. Америки и островах Ньюфаундленд и Гренландия. Особенно замечательны остатки горных систем, которые образовались в альгонкский, силурийский, каменноугольный периоды, а затем в последующие периоды почти нацело были смыты. Остатки

этих горных цепей встречаются, с одной стороны, в Норвегии, Германии, Франции, Шотландии, Англии, Ирландии, с другой стороны — в Аппалахских горах Канады и восточных штатов. При чем в Америке повторяются не только тот же состав, но также и последовательность горных пород в соответственных остатках одних и тех же горных хребтов. В настоящее время эти остатки лежат на расстоянии 3.000—4.000 кмтр. друг от друга, между тем в отдаленные геологические периоды они, несомненно, представляли одну и ту же горную цепь. Такое же замечательное совпадение в строении остатков древних гор наблюдается и между Африкой и Южной Америкой, несмотря на то, что в настоящее время расстояние между ними более 6.000 кмтр.

При том количестве фактов, которые приводит Вегенер, вероятность случайного совпадения в этом отношении крайне мала, поэтому Вегенер полагает, что вероятность правильности его взглядов на образование материков весьма велика. Весь вопрос только в том, насколько правильны сообщаемые им факты. Во всяком случае, приходится выбирать одно из двух объяснений этих фактов: или признавать существование в определенные геологические эпохи между Америкой и Европой вместе с Африкой промежуточных материков-мостов, по которым должны были на тысячи километров тянуться мощные каледонские, армориканские и др. горные цепи и которые бесследно погрузились в океанские пучины, или признать смелую гипотезу Вегенера.

Вегенер вычисляет скорость передвижения материков Америки на запад. Это передвижение для различных периодов совершилось с различной скоростью, примерно, от 18 до 36 сантиметров в год. С этими величинами приблизительно совпадают величины изменения географических долгот, вычисленные Кохом для некоторых местностей Гренландии. Оказывается, что этот остров отодвинулся от Европы на запад за период от 1823 г. до 1870 г. на 420 мтр., двигаясь со скоростью 9 мтр. в год, а за время с 1870 г. по 1907 г. на 1.190 мтр. со скоростью 32 мтр. По Вегенеру, этот факт служит еще одним доводом, подтверждающим его гипотезу.

Распространяя свою гипотезу и на другие материки, Вегенер полагает, что и весь азиатско-европейско-африканский материк тоже весьма медленно передвигается на запад. Доказательством этого служат длинные гирлянды островов, отколовшихся в восточной и южной Азии от материкового массива, отстающих от движения, по расположенных параллельно берегам континента: таковы, напр., Японские острова. На то же указывает удлиненная форма полуостровов Камчатки, Кореи, Малакки, сильно растянутых по направлению к востоку. Австралийский материк тоже передвигается к северо-западу, что видно из расположения Зондских островов и образования на острове Новая-Гвинея, вследствие напора материка, молодых складчатых гор; Новая Зеландия отстала от этого передвижения.

Кроме передвижения материков на запад, Вегенер указывает на заметное движение их по направлению к экватору. Так, северо-американский материк не только передвигается на запад, но также и на юг, что видно из уклонения границы ледниковых морен в Сев. Америке на 4° южнее, сравнительно с границей в Европе.

Такое же передвижение к экватору происходило в южном полушарии: Индостанский полуостров был некогда соединен с островом Мадагаскаром и Африкой. В третичный период в Азии наступили

весьма энергичные горообразующие процессы в экваториальной области, которые повели к образованию мощных горных систем Гималаев, Гиндукуша и др. средне-азиатских гор. Вследствие этого, Индостан оторвался от Мадагаскара и Африки и передвинулся к северу.

Для объяснения того, под влиянием каких сил происходило передвижение материков на запад, Вегенер высказывает несколько предположений, подчеркивая невозможность дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Он указывает на притяжение материковых массивов солидом и луною, на отстаивание материков, плывущих на слое Сима, подобно ледяным горам, от прочей массы земного шара при вращении его вокруг оси. Удаление материков от полюсов к экватору Вегенер объясняет по теории Кэппена: в средних широтах между силою тяжести и центробежною силою образуется слагающая, направленная в сторону экватора; она и заставляет материковые плиты двигаться по этому направлению. Уменьшение поверхности материков и передвижение их по поверхности земли вело к изменению центра тяжести земной коры, последствием чего было, по Вегенеру, смещение полюсов земной оси, а также климатических поясов. В то время, как очень многие ученые относятся отрицательно к гипотезе смещения полюсов для объяснения климатических изменений данной части света, Вегенер особенно упирает на то, что только путем признания возможности подобного смещения можно объяснить, что в третичную эпоху в Европе и Северной Америке был тропический климат, что затем произошло охлаждение этих частей света, и возник ледниковый период. Вегенер приводит интересную таблицу климатов Германии в разные геологические периоды. Она показывает, что если принять гипотезы Вегенера, то северный полюс передвигался по поверхности Тихого Океана от экватора к северу. В девонский период в Германии был тропический климат, который стал жарким экваториальным в каменно-угольный период. Затем температура начала падать, и климат стал суше, так что в пермский, триасовый и юрский периоды Германия представляла собою пустыню, на подобие Сахары. В меловой и третичный периоды климат стал более влажным, и появилась роскошная растительность. Это райское состояние Германии резко изменилось с начала четвертичного периода, когда климат стал полярным, и направились ледники. Улучшение климата Германии наступило сравнительно недавно.

Теория Вегенера встретили разностороннюю критику. Все критики задают ему вопросы, на которые у Вегенера нельзя найти точных ответов. Почему те ничтожные силы, на которые указывает Вегенер, по результатам своих действий колоссальны, напр., при образовании Анд во время передвижения Америки? Почему силы, под влиянием которых передвигаются материки, не действовали в периоды, предшествовавшие третичному? Почему образовалась Атлантическая трещина, и Америка отодвинулась от Европы и Африки, в то время как Европа и Африка не отделились от Азиатского материка, несмотря на образование сирийско-африканской щели? Критики указывают на ряд противоречий, к которым приходит сам Вегенер, исходя из своей теории. По Вегенеру, восточно-азиатские и Антильские гирлянды островов отстают от движения материка и застревают в слоях Сима, в то время как острова Канарские, Азорские и Зеленого мыса, по словам Вегенера, «плывут, подобно тому, как льдины перед ледяной горой, впереди Европы и Африки, так как они отделились от них, а не от Южной

Америки». Между тем, по мнению геологов, восточно-азиатские острова являются продолжением западно-американского хребта. По Вегенеру, образование Гималаев и других Альп произошло благодаря новой меридиональной силе сдвига, при чем главный напор шел со стороны Индостана, т. е. сравнительно небольшой части Азиатского материка. Между тем как, по словам Вегенера, «в сдвиге принимала участие вся восточная Азия, начиная с Тибета и Монголии, вплоть до Байкала и даже до Берингова пролива».

Заслуга Вегенера перед наукою состоит в том, что его вдохновенные гипотезы, хотя, может быть, односторонне, осветили такие вопросы географии и геологии, на которые другие теории не давали вовсе ясного ответа. Вместе с тем смелые допущения Вегенера поставили будущих исследователей перед целым множеством таких вопросов, которые, несмотря на его объяснения, остаются не только гадательными, но и часто даже затемняют известные и решенные, казалось бы, уже соотношения фактов. Теория Вегенера, несомненно, будет стимулом для дальнейших изысканий в области истории земли.

Г. Ершниковский

О. ШПЕНГЛЕР

ПРУССИЗМ И СОЦИАЛИЗМ

(ФРАГМЕНТЫ)¹⁾

(Окончание)

XIV

Немецкая реформация не имела никаких внутренних последствий. Лютеранство было ее концом, но никак не началом. Готическая немецкая национальность лежала на смертном одре, выполнив в последний раз большое дело совершенно частного характера. Лютера следует объяснять только настроениями Ренессанса, которыми тогда была проникнута видимая церковь: могучая искренность готического севера возмущалась тем, что его общественный дух стал духом двора Медичи, что папы и кардиналы превратились в кондотьеров, а их правление приняло характер систематического грабежа верующих, что вера сделалась вопросом формы, а отношение между грехом и искуплением — делом вкуса, таким же, например, как отношение колонны к архитраву. Церковь без пап, готическая вера без подчеркивания формы — были лишь откровенным бунтом, совершенно не затрагивавшим внутренней сущности церковной зависимости и носившим на себе печать отрицания, бурная и плодотворная страстность которого не могла быть продолжительной. Творческим и положительным сделался только пылкий гений барокко, при котором католицизм достиг апогея жизненной силы и процветания, а испанцы создали контр-реформацию и воинственное иезуитство. Затем, в 17-ом веке, новые северные народы приступили к развитию особой религиозности из неисчерпаемых возможностей христианства. Все они обладали строго-действенным образом мыслей, в противоположность праздной культуре Флоренции и бесплодной самоистязующей диалектике французских яansenистов и Паскаля. В Англии возник революционный индепендизм, а под его впечатлением, в Швабии и Пруссии — тот пиятизм, спокойное влияние которого было огромно именно на поднимавшегося пруссака. То были люди, наружно преданные службе, послушные, готовые жертвовать собой, духовно свободные

¹⁾ Помещая в настоящем номере окончание статьи Шпенглера в несколько сокращенном виде, редакция считает необходимым вновь оговориться, что она отнюдь не разделяет изложенных здесь автором взглядов и печатает статью исключительно в целях ознакомления русского читателя с реакционными течениями, господствующими в известных кругах Европы, и в частности Германии.

от стеснений светской жизни, одаренные необъятной и глубокой полнотой чувства и подлинной сердечной простотой, как мы их знаем по королеве Луизе, Вильгельму I, Бисмарку, Мольтке и Гиндсбургру, по типу старо-прусского офицера, вообще, отличавшемуся почти полным отсутствием веры, стыдливо прикрываемым набожностью, причем эта последняя должна была обнаруживаться на практике в зависимости от требований долга, а не в силу религиозности.

Английский индепендент был свободен *наружно*, свободен, как норманн. Он создал себе чисто светскую религию, основанную на Библии, которую каждый считал себя в праве толковать по своему усмотрению. Значит, все, что он делал, было всегда, в нравственном отношении, правильно. Сомнение в этом было совершенно чуждо англичанину. Успех был изъяснением божьей милости. Ответственность за нравственность действий возлагалась на бога, пиятист брал ее на себя. Менять такие убеждения не под силу никакому человеку. То, что *следует* желать, всегда может быть чем-нибудь оправдано. А если эта необходимость желания ведет к потере, то, значит, это — непреложный рок.

Достоин удивления, с какой уверенностью английский инстинкт выработал свое собственное религиозное мировоззрение из французского формального, совершенно доктринерского и бессодержательного, учения Кальвина. Народ — собрание святых (а английский, как избранный, в особенности), и потому всякий поступок, уже по одному этому, имеет свое оправдание, и его, вообще, можно было совершить; всякая вина, всякая жестокость, даже преступление на пути к успеху — предопределенная богом судьба, за которую несет ответственность он. Вот каково было учение о предопределении, разработанное в духе Кромвеля и его солдат. Только благодаря этой неограниченной самоуверенности и бессовестности во всех своих делах английский народ мог подняться на его нынешнюю высоту.

Напротив, пиятизм, который еще до того распространился среди говорящего по-немецки населения и служил выражением немецкой расы, было присуще нечто непрактическое и провинциальное. В небольших кружках царил искренний дух творчества; вся жизнь была *службой*, а мимолетное земное существование заполненное горестями и трудом, имело свой смысл постольку, поскольку оно было необходимо для выполнения какой-нибудь великой задачи.

Но эту задачу следовало поставить, и здесь-то сказалось огромное, но мало кем сознаваемое влияние великих Гогенцоллернов, наследников рыцарской идеи восточной Марки. Под всеми пятнами их крепколюбого дворянского и городского эгоизма и за всеми их королевскими слабостями просвечивала идея старой прусской расы, которая, с тех пор, укрепилась на немецкой земле и завоевала себе уголок в душе лучших немцев, хотя бы они были искренними ее врагами. В то время, как швабский пиятизм расплылся в мещанстве и сантиментальности, а его лучшие умы, вроде Гегеля, уходили на север, — здесь поднялся новый человек, сильный духом носитель этой религиозной идеи. Глубокое презрение к тем, кто стремится только к богатству, роскоши, комфорту, наслаждениям и счастьем пропитывает пруссака этого столетия, грядущего творца прусского воинского и чиновничьего духа. Все эти блага — ничтожны в сравнении с предписаниями рыцарского долга. Но в глазах англичанина они — дары Бога; на comfort он

благоговейно ссылается, как на доказательство расположения к нему небес. Едва ли можно найти более глубокие противоположности. В глазах набожного индигендента труд — следствие грехопадения, а для пруссака — это заповедь Божия. «Делай» и призвание, как два понятия труда, находятся здесь в непримиримом противоречии. Если глубже вдуматься в смысл этих слов: «призвание», «быть призванным богом», — то труд сам по себе представляет здесь нравственную ценность. Но для англичанина и американца цель труда — успех, деньги, богатство. Труд — только путь к ним, а дорогу всегда можно выбирать поудобнее и повернее. Ясно, что неизбежна борьба за успех, но пуританская совесть оправдывает всякие средства. Все, кто стоят на пути, — индивидуумы, целые классы и народы, — устраняются. Так было угодно богу. Вполне понятно, что подобные идеи, облекшись плотью и кровью, могут толкнуть народ на подвиги. Чтобы побороть врожденную человеческую лень, прусская социалистическая этика гласит: «В жизни дело не в счастье. Исполни свой долг и трудись». Английская, капиталистическая этика говорит: «Разбогатеешь, и тогда тебе не надо работать». Без сомнения, в последнем суждении есть много соблазнительного. Оно дразнит, оно затрагивает народные инстинкты. И рабочие массы предприимчивых народов охотно усваивают этот принцип. Еще в 19-ом веке он породил тип янки с его неодолимым практическим оптимизмом. Другой принцип отстает. Он — для тех немногих, которые прилагают его к общественным делам и могут, благодаря этому, навязать его массе. Первый принцип — для страны без государства, для эгоистов и викингских натур, испытывающих потребность и постоянную готовность к борьбе, выражающейся, между прочим, в английском спорте; он построен на внешнем самоопределении, на праве стать счастливым насчет всех других, раз для этого существует сила в виде экономического дарвинизма. Другой принцип — идея социализма в самом глубоком его значении: стремление к власти, борьба за счастье не индивидуума, а целого. Фридрих-Вильгельм I, а не Маркс, был, в этом смысле, первым сознательным социалистом. От него, как от идеальной личности, и исходит это мировое движение. Кант выразил его формулой при помощи своего категорического императива.

Таким образом, на закате западно-европейской культуры возникли две великих философских школы: английская школа эгоизма и сенсуализма, около 1700 г., и прусская школа идеализма — около 1800. Они выражают квинт-эссенцию того, что представляют собою эти народы, с точки зрения их этических, религиозных и экономических целей.

Сама по себе философия — ничто: набор слов, десяток книг. Сама по себе она даже не истинна и не ложна. Она — язык жизни великого ума. Для англичанина близким к истине кажется, с одной стороны, Гоббс, когда он выставляет свою selfish system, систему эгоизма, и онтологическую философию вигов — теорию общей пользы: «наибольшее благополучие наибольшего числа людей», а с другой стороны — аристократ Шефтеберг с его джентльменом-тори: независимой личностью, изысканно источающею свои жизненные силы. Но для нас столь же истинными являются Кант с его презрением к «счастью» и пользе, с его категорическим императивом долга, и Гегель с его могучим пониманием действительности, с его концентрированным историческим мышлением, определяющим суровые судьбы государств, а не

благоденствие «человеческого общества»! Своей «Басней о пчелах» Мандевиль хочет показать, что движущей силой государства служит эгоизм индивидуума, а по мнению Фихте — трудовой долг. Является ли последняя цель независимостью благодаря богатству или от него? Следует ли категорическому императиву Канта: «Поступай так, как если бы твое поведение должно было стать всеобщим законом» предпочесть правило Бентама: «Действуй так, чтобы иметь успех»?

В противоречиях английской и прусской морали продолжают жить те же викинги и орденские рыцари. Англичанин — утилитарист, и даже единственный в Западной Европе; он не может быть другим, и каждый раз, когда он пытается подавить в себе это сильнейшее влечение своей природы, происходит то, что издавна стало знаменито, как *Cant*, высшую школу которой представляет собою письма лорда Честерфилда. Англичане — народ теологов, так как их великая революция шла, преимущественно, по религиозному руслу, и поэтому, после устранения государства, чувство солидарности сохранилось у них только в религиозном изыке. Теология считалась с успехом в личной борьбе за существование и исходила из очень верного представления, что совесть, успокоенная библейским толкованием действий и поступков, нередко, в самом деле, очень сомнительных, сильно увеличивает энергию и уверенность в достижении цели; а этой последней является богатство, которого не называют прямо и открыто. Если в прусской атмосфере и есть подобная борьба, то она происходит из-за общественного положения, из-за *рангов*; если во многих случаях ее можно назвать погоней за местами, то, по своей идее, она — не что иное, как стремление пруссака возложить на себя более высокую ответственность в общем социальном организме, так как он чувствует, что это ему по силам.

XV

Среди всех народов Западной Европы только англичане и пруссаки отличаются резким социальным расчленением. В этом выражается их потребность в высшей активности, стремящаяся поставить отдельного человека там, где он нужен. Такой порядок, основанный на вполне бессознательной и непродуманной экономии сил, нельзя осуществить ни при помощи личности, настолько гениальной, ни посредством воли, настолько сильной, чтобы подражать чуждым формам. Он является естественным, понятен сам собою только одному народу и не может быть, действительно, заимствован никаким другим. Здесь появляется все основное нравственное чувство; здесь необходимо считаться с состоянием, отделяющим людей друг от друга, и различиями между ними. Здесь снова выступают дух викингов и дух рыцарских орденов: эгоизм успеха и эгоизм долга. Английский народ организовался на основе различия между богатым и бедным, прусский же — на основе различия между приказанием и повиновением. Поэтому значение классового противоречия в обеих странах — совершенно различно. В обществе независимых частных людей, низший класс объединяется солидарностью с теми, которые ничего не имеют, а в государстве — с теми, которые ничего не могут сказать. Демократия в Англии обозначает возможность для всякого стать богатым, в Пруссии — возможность достигнуть всякого общественного положения или *ранга*; таким образом, индивидуум становится в тот или иной слой по своим способностям.

а не по традиции. Франция (а следовательно, и Флоренция) никогда не знала подобного естественного и необходимого для национального инстинкта проявления классовых противоречий, даже и перед 1789 г. Социальная анархия была там правилом; там существовали произвольные группы всякого рода и объема привилегированных людей, не имевших, в социальном отношении, никакой определенной взаимной связи. Вспомним судебную знать, придворное дворянство, аббатов, генеральных откупщиков, различные категории крупной городской буржуазии. Истинно французское чувство равенства искони рисуется ясно и отчетливо, в этой неспособности к порядку постепенности. В Англии дворянство также постепенно вышло из лоно богатого населения, подобно тому, как дворянство в Пруссии возникло из военной знати. Но французское дворянство никогда не достигало такой цельности в социальном значении этого слова. Английская революция была направлена против государства, т. е. против «прусского» порядка в делах церковных и общественных; германская шла против «английского» деления на богатых и бедных, которое укрепилось в стране в XIX веке вместе с прогрессом промышленности и торговли и стало средоточием антипрусских и антисоциалистических тенденций; только одна французская революция выступала не против какого-нибудь чуждого и, поэтому, безразличного порядка, но против порядка вообще: то была демократия во французском значении этого слова.

В этом месте обнаруживается, наконец, глубокий этический смысл лозунгов «капитализм» и «социализм». Это — два рода человеческого строя, покоющиеся на богатстве и авторитете. Первый достигается беспрепятственной борьбой за успех, второй осуществляется при помощи законодательства. Для истинного англичанина необходимость выслушивать приказания от человека, который ничего не имеет, так же невыносимо, как для настоящего пруссака — сгибаться только перед богатством. Но сознательный, в классовом отношении, рабочий бывшей партии Бебеля повиновался ее главе, подчинялся тому же верному инстинкту, которому следовал английский рабочий, оказывая уважение миллионеру, как существу более счастливому и явно покровительствуемому богом. Пролетарская классовая борьба совершенно неспособна проникнуть в различия и характерные особенности, глубоко гнездящиеся в человеческой душе. Все английское рабочее движение жидется на различии между зажиточным и бедным в среде самого же рабочего класса. Здесь было бы нелепо думать о железной дисциплине миллионной партии в прусском духе.

«Неравномерное распределение богатства» — подлинно английская пролетарская формула, с которой не расстается Шо; как ни бессмысленно звучит она для нас, она все же верна для жизненного идеала, представляющего ценность только для цивилизованного викинга. Поэтому, принимая в соображение и беспримерное развитие этого идеала, как, например, в стране янки, следовало бы говорить о социализме миллиардера и социализме чиновников. К первому относятся люди в роде Карнеджи, которые сначала превращают значительную часть общего народного достояния в частное имущество, а затем, совершенно самостоятельно и блестящим образом, обращают его на общественные нужды. Его девиз: «Кто умирает богатым, умирает бесчестно» — показывает высокое понимание воли и власти над целым. Но нельзя, конечно, не признавать глубокого отношения этого частного социализма (который, в лучшем

случае, не что иное, как диктаторское управление народным достоянием) к социализму чиновника и организатора (который может быть очень бедным), в том виде, в каком он проявляется, в одинаковой степени, и в Бисмарке и в Бебеле.

Шо является в настоящее время самым ярким выразителем «капиталистического» социализма, для которого, и прежде и теперь, богатый и бедный служат формирующими противоположностями экономического организма. «Бедность — величайшее из зол и худшее из преступлений» («Майор Варверо»). Он громит «трусливую массу, которая держится жалкого предрассудка, будто предпочтительнее быть честным, чем богатым». Рабочий должен стараться разбогатеть, и именно такой была раньше политика и английских профессиональных союзов, тред-унионов. Поэтому, на расстоянии между Оуэном и Шо в Англии нет, повидимому, никакого социализма в пролетарском смысле этого слова; но крайней мере — по характеру его нельзя отличить от капитализма низших классов. Для нас же, формирующей противоположностью является опять-таки приказание и повиновение в строго дисциплинированном обществе, (будь то государство, партия, рабочий класс, офицерство или чиновничество), обществе, слугой которого является, без исключения, всякий к нему принадлежащий. *Travailler pour le roi de Prusse* (работать на прусского короля) — это все-таки значит, вместе с тем, выполнять свой долг без погоня за нечистойлотной наживой. Жалованье офицеров и чиновников Фридриха-Вильгельма I было ничтожным, если сравнить его с теми деньгами, которые получали в Англии люди, принадлежавшие только к среднему классу. И, тем не менее, там работали прилежнее, бескорыстнее и честнее. Оплатой, в конце концов, являлся ранг. То же было и при Бебеле. Это рабочее государство в государстве хотело не богатства, а господства. Сидя да рядом, наши рабочие, во время забастовок по приказанию свыше, терпели нужду не ради повышения заработной платы, а во имя власти, во имя идей, которые были, казавшимся или фактическим образом, противоположны образу мыслей работодателей, во имя нравственного принципа, при чем пропранная битва являлась, в сущности, моральной победой. Все это английским рабочим совершенно непонятно. Они были богаче наших, а во время своих забастовок получали еще крупные пособия, которых не имел бедный немецкий рабочий. Поэтому, ноябрьская революция была отказом от повиновения в армии в то же время, в рабочей партии. Внезапное превращение дисциплинированного рабочего движения в несогласованную борьбу за заработную плату отдельных групп, не считавшихся друг с другом, была победой английского принципа. Неудача оказалась в факте возникновения рейхсвера, т. е. в появлении нового организма с своей внутренней дисциплиной. Единственным способным человеком оказался солдат. С такими военно-авторитарными успехами и неудачами будет продолжаться германская революция.

XVI

Та же самая противоположность проявляется и в процессе экономического развития обоих народов. Роковая ошибка национальной экономии состоит в том, что, с чисто материалистической точки зрения и не замечая множества экономических инстинктов и сил, с какой

они дают о себе знать, она толкует, без околичностей, об экономических ступенях человечества, о новом времени, о современности. Она обнаруживает все слабости своего английского происхождения, потому что, как наука, она — продукт современного англичанина со всем его сознанием собственного достоинства и недостатком психологии, потому что она — его единственная философия, которая соответствует его склонности к борьбе, его успехам и его характеру собственника, философия, с помощью которой он распространял по континенту, начиная с XVIII века, свой чисто английский взгляд на экономическую политику.

Светский образ мыслей и стремление к гражданственности поселенцев пограничной Марки, выдвинутых рыцарскими орденами в качестве колонизаторов, породили, как необходимый принцип, экономический авторитет государства. Каждый индивидуум получал свою хозяйственную задачу. Распределялись права и обязанности по землепользованию. Цель состояла не в обогащении отдельной личности, но в процветании целого. Так, Фридрих-Вильгельм I и его преемники колонизовали богатые восточные области. Они видели в этом их миссию, данное им богом поручение. По этому пути, с полной решимостью и с глубоким пониманием действительности, и подвигался немецкий рабочий. Только теории Маркса помешали ему признать близкое родство между своей и старо-прусской волей.

Совершенно иначе понимает экономическую жизнь корсарский инстинкт народа-островитянина. Тут дело идет о борьбе и добыче и, притом, о доле участия в них отдельных лиц. Норманское государство, с его усовершенствованной техникой выжимания денег, покоилось всей своей тяжестью на принципе захвата. Феодальную систему оно использовало, как средство, в грандиозном масштабе. Бароны должны были эксплуатировать предоставленные им земельные участки, а герцог требовал от них свою долю доходов. Конечной целью было богатство. А его бог посылал только отважным. Из практики этих пиратов, ставших оседлыми, и происходит современное счетоводство. Счетная палата Роберта Дьявола Нормандского (ум. в 1035 г.) является родоначальницей слов: чек¹⁾,konto (счет), контроль, квитанция, рекорд и нынешнее название казначейства (Exchequer). После завоевания Англии в 1066 г., соплеменные им саксы точно так же подверглись эксплуатации норманских баронов. Их потомки никогда не учились смотреть на жизнь иначе. Этим характером отличается и поныне всякая английская торговая компания и всякий американский трест. Целью всех стремлений является не поднятие благосостояния народа, как целого, а накопление денег отдельной личностью, частное богатство, уничтожение конкуренции, эксплуатация публики при помощи рекламы, искусственного повышения и понижения цен, создания новых потребностей и господства над соотношением между спросом и предложением. Когда англичанин говорит о национальном богатстве, он подразумевает число отечественных миллионеров. «Солидарность более всего чужда английскому чувству» (Фр. Энгельс). Даже в отдыхе англичанин видит случай проявить свое личное, преимущественно физическое, превосходство. Он занимается спортом в надежде, что ему удастся поставить рекорд.

¹⁾ Словом check в Англии назывались в старину особые рода конторки, верхняя часть которых напоминала шахматную доску.

и питает склонность к боксу, который сродни его хозяйственным привычкам, но совершенно чужд немецкой гимнастике.

Отсюда вытекает, что английская экономическая жизнь фактически тождественна с торговлей, поскольку последняя представляет усовершенствованную форму разбоя. Вследствие этого инстинкта, все в Англии превращается в добычу, в товар, на котором обогащаются. Вся английская машинная индустрия создана в интересах коммерции. Она служила производству дешевых товаров. Когда английское сельское хозяйство положило своими ценами предел сокращению заработной платы, оно было принесено в жертву торговле. Вся борьба между предпринимателями и рабочими сосредоточивается в английской промышленности, начиная с 1850 г., около «труда», как товара, который одни хотят дешево получить, а другие дорого продать. Все, что Маркс с удивлением и гневом осуждал о деяниях «капиталистического общества», имеет значение лишь по отношению к английскому, но не к общечеловеческому хозяйственному инстинкту.

Оригинальный термин «свободная торговля» создан всецело экономией викингов. Прусским (а следовательно, социалистическим) термином было бы: государственное регулирование товарообмена. Таким образом, в общем механизме народного хозяйства торговле отводится не главная, а служебная роль. Понятна ненависть Адама Смита к государству и «лукавым животным, именуемым политиками». Действительно, для настоящих торговцев они должны быть тем, чем полицейский является для громилы или крейсер для корсарского корабля.

Но характерна у англичан и переоценка капитала для экономического преуспевания. Эти материалисты не видят, что психологически и, стало быть, практически (ведь, практическая жизнь есть выражение душевных свойств) английское понятие о капитале, с точки зрения торговца, — нечто совершенно другое, чем французское понятие о рантье и прусское — об администрации. Англичане никогда не были психологами. Свои мысли они считали общечеловеческими. Вся их новая национальная экономия построена на основной ошибке — на приравнивании смысла мировой экономической жизни к их специальности торговым интересам, при чем это делается даже там, где манчестерская теория буквально запрещается; марксизм, как чистое отрицание этой теории, вполне усвоил ее схему. Этим объясняется беспримечное фиаско всех предсказаний относительно мировой войны, предвещавших разгром мирового хозяйства в течение нескольких месяцев.

Только капитализм английского стиля представляет собою противоположность социализму в духе марксизма. Прусская идея безличного руководства экономической жизнью привела автоматически германский капитализм, со времени изданных в 1879 году законов о правительственных пошлинах, к социалистическим формам в смысле государственного порядка. Большие синдикаты явились экономическими государствами в государстве, «первой систематической, в крупном масштабе проведенной и притом совершенно бессознательно возникшей практической попыткой капиталистического общества заглянуть за кулисы своего собственного производства и взять в свои руки управление общественными законами, таинственной природной силой которых им приходилось до сих пор слепо подчиняться»¹⁾.

¹⁾ Из книги Ляшча: «Три года мировой революции» (прим. автора).

Немецкий либерализм или, вернее, немецкая англомания преклоняется, кроме свободного человеческого достоинства, еще и перед свободной торговлей. Здесь положение его достигает высшей степени комизма. Пока он «незыблемо» отвергал авторитарное государство, различную волю, подчинение единичного «я» — коллективному, в интересах непонятных викингских инстинктов, до тех пор он был метафизичен. Такова была позиция немецкого «интеллигента» без практических дарований — профессора, мыслителя и поэта, словом, всех тех, которые пишут, вместо того, чтобы действовать. Другого либерализма они не поняли бы и не признали бы нравственным: разбойничий принцип свободной торговли в связи с философией борьбы всех против всех. Связь между автономным «я» в их абстрактных системах и «я» в конторах больших торговых домов лежала за пределами их кругозора. И поэтому, немецкий биржевой либерализм потихоньку запряг немецкого профессора в свою колесницу. Он посылает его в собрания произносить и слушать речи; он сажает его в редакции, где тот пишет документальные статьи, проникнутые философским духом и имеющие целью внушать читающей публике, давно перенесшей на газеты свое бывшее безграничное доверие к библ. желательные в коммерческом отношении политические убеждения; он посылает его в парламент и заставляет его произносить там «да» или «нет», чтобы, вопреки всем теориям и конституциям, извлекать из экономической жизни все новые и новые возможности для наживы. Он превратил в свои деловые органы почти всю сколько-нибудь имеющую значение печать Германии, всю массу образованных людей, всю либеральную партию. Но наш профессор этого не замечает. В Англии либерал отлит, этически, из одного куска, и потому он и в деловом отношении свободен и прекрасно учитывает положение. В Германии — это всегда две личности: одна — нравственно либеральная и другая — коммерчески либеральная, при чем первая из них мыслит, а вторая направляет, ухмыляясь, ибо только она понимает смысл этого союза.

Таковы два великих экономических принципа нашего времени, резко противоположные друг другу. Из викинга вышел Фритредер, из рыцаря — чиновник-бюрократ. Примирение между ними невозможно, и так как оба они, в качестве германцев и фаустовских людей высшего ранга, не признают для своей воли никаких границ и сочтут себя у цели только тогда, когда весь мир подчинится их взглядам, то борьба между ними не прекращается до окончательной победы одного из них. Должно ли мировое хозяйство быть мировой эксплоатацией или мировой организацией? Должны ли цезарями этой будущей империи быть миллиардеры или мировые чиновники, а население земли, пока эта империя будет тесно связана с фаустовской цивилизацией, быть предметом политики трестов или таких людей, на которых есть намерение в конце второй части «Фауста»? Ведь, дело идет о судьбе мира. Экономические идеи французов были так же территориально ограничены, как идеи Ренессанса. В этом отношении меркантильная система эпохи Людовика XIV и школа физиократов Тюрго почти ничем не отличаются от социалистических утопий Фурье, который хотел разделить «общество» при помощи своих фаланстеров на маленькие хозяйственные корпуса, как мы это видим еще в последних романах Золя. Мировое хозяйство существенно необходимо только для трех подлинно фаустовских народов. К нему стремились рыцарские испанцы, присоединяя

Дух Англии переносился в США.
Дух Германии переносился в СССР.

Новый Свет к своей империи. Как истые солдаты, они не размышляли над теорией распространения своего экономического влияния, но, благодаря расширению своего географического и политического кругозора, они придали и экономическому горизонту западного человека такие размеры, какие, вообще, делали такие идеи возможными. Англичане первые, под названием национальной экономии, изложили теорию своего эксплоатирующего мирового хозяйства. Как торговцы, они были достаточно умы, чтобы знать власть пера над людьми всех культур и их доверчивое отношение к книге. Они внушали им, что интересы их пиратского народа — интересы общечеловеческие. Они влили мысль о свободной торговле в идею свободы. Этой житейской мудрости не хватило третьему и последнему — подлинно солдатскому — народу. Все, что осуществила в этой области Пруссия, все это, чрез посредство чуждой миру немецкой философии, было возведено в социализм. Но настоящие его творцы опять не признали, в этой форме, своего творения, и между двумя мнимыми противниками, из которых один обладал практикой, а другой теорией, произошла ожесточенная борьба. Теперь пора, наконец, признать и себя и общую задачу. Кто должен править миром: социализм или капитализм? Вопрос этот уже нельзя разрешить между двумя народами. Ныне он проник в сердце всех наций. Если между государствами прекратилась борьба вооруженная, то внутри них нарождается война гражданская. Во всякой стране теперь существуют английская и прусская экономические партии. И когда классы и слои народа утомятся от борьбы, отдельные личности будут ее продолжать во имя идеи. В античном мире, во время великих кризисов, борьба, из войны между Спартой и Афинами, перешла в столкновение между олигархией и демосом всех отдельных городов. То, что было решено при Филиппах¹⁾, затопило кровью римский форум в эпоху Гракхов. В Китае сто лет продолжалась такая же борьба между теи и тсу, между мирозозерданиями тао и ли. В древнем Египте огромной важности события такого же рода кроются в загадочной истории гиксов, в эпохе господства восточных варваров. Были ли они призваны или пришли сами, потому что египтяне истощили свои силы во внутренних войнах? Не поручит ли Запад такую же роль русским? Пусть наши пошлые энтузиасты-пацифисты говорят о перемирии народов. — идеи примирить нельзя: дух викингов и дух орденских рыцарей будут вести свою борьбу до конца, каким бы усталым и надломленным не вышел мир из потоков крови этого столетия.

США и СССР.

XVII

Но, в таком случае, англо-прусское противоречие вступает в область политических форм. Это — высшие и самые мощные формы исторической жизни, вообще. Всемирная история есть история государств. История государств есть история войн. Идея, когда они толкают к решению тех или иных вопросов, облакаются в политические системы, в государства, в народы, в партии, стремящиеся разрешать свои споры при помощи оружия, а не слов. Экономическая борьба становится войной между государствами или внутри них. Религии

¹⁾ Город в Македонии, где римские полководцы Антоний и Октавий разбиты, в 42 году до Р. Х., легионы Брута и Кассия.

устанавливаются, как и государства (например: иудейство и ислам, гугеноты и мормоны), когда дело касается их существования или победы. Все человеческое, что кроется в сокровенных тайниках души, жертвуется людям. Идеи, вошедшие в плоть и кровь, требуют крови. Война — вечная форма человеческого существования, и государства существуют для войны; они — выражение постоянной готовности к ней. И если бы даже какое-нибудь из них, уставшее и обескровленное, захотело бы отказаться от войны, как античный человек позднейших веков или современные индусы и китайцы, то из воюющего оно сделалось бы объектом, из-за которого и с которым вели бы войны другие. Даже в случае осуществления фаустовского всемирного мира, люди в роде позднейших римских, китайских или египетских цезарей бились бы из-за этой мировой империи, как из-за добычи, если бы она окончательно приняла форму капиталистическую, и из-за первого в ней места, если бы она должна была стать социалистической.

Но политическую форму составляет народ, который ее создал и носит в крови и который только один способен ее осуществить. Сами по себе политические формы — пустые понятия. Подражать им может всякий. Воспроизвести же их, выполнить подлинно и реально — не может никто. Да и помимо того, в политике не существует никакого выбора: всякая культура и всякий отдельный народ данной культуры живет и выполняет свое назначение в тех формах, которые родились вместе с ним и неизменны по своему существу. Философский спор о «монархии» или «республике» — спор о словах. Самой по себе монархической формы правления так же не существует, как нет постоянной и стойкой формы у облаков. Античная и западно-европейская «республика» вещи несравнимые. Если во время великих кризисов, последний смысл которых всегда заключается совсем не в перемене формы правления, провозглашается монархия или республика, то это просто — возглас, название, лозунг, мелодраматическая сцена, понятные, конечно, большинству современников и способные их воспламенить. Но в действительности народ, после порывов экстаза, все же снова возвращается к той форме (к своей собственной), для сущности которой почти никогда не бывает настоящего названия. Инстинкт полной сил расы так могуч, что очень скоро усваивает, самобытным способом, всякую форму правления, какую исторический случай бросает ему на пути, не сознавая, что от нее осталось только имя. Конституции с их буквальным смыслом никогда нельзя назвать настоящими формами правления: ими являются лишь те неписанные и бессознательные правила, по которым они применяются. Без отношения к вполне определенному народу «республика», «парламентаризм», «демократия» — пустые слова.

Таким образом, «парламентская форма правления» — специфическое английское растение, — и без предпосылок английского викингского характера, без островного положения и векового развития, крепко спаявших этический стиль этого народа со стилем «деловым», невозможно, с какими-нибудь шансами на успех, ни воспроизвести, ни подражать, даже только приблизительно, методам этой формы. Парламентаризм в Германии — бессмыслица или предательство. Англия обессилила все государства, дав им, в виде лекарства, яд собственной формы. И, наоборот, Англия утратила бы способность к успешной политике, коль скоро конечное развитие западной, ныне

господствующей на земном шаре, цивилизации привело бы к тому, чтобы эта форма правления стала, вообще, невозможной. Английский социализм допустил бы измену Англии, если бы он уничтожил эту форму. Дело идет о свободном обществе частных людей, которым, как было сказано, их островное положение дало возможность упразднить собственное государство и лишь поддерживать его, вплоть до 1916 г., при помощи флота с наемным экипажем и бесконечного ряда войн, в качестве формальной предпосылки для своего политического существования. Этот безгосударственный парламентаризм предполагает прочную систему из двух партий, которых взаимоотношения, организация, практика, интересы, настроение, нравы и дух — именно такие, а не иные. То, что мы называем английскими партиями (в каждой стране это слово имеет несколько иное значение), представляли первоначально группы старого английского дворянства, обособившиеся во время революции 1642 года и, особенно, 1688-го, на основе расхождения англиканского и пуританского вероисповеданий, — значит, в сущности, благодаря известному различию их этических императивов. Среди свойств, присущих древней расе тех северных мореплавателей, о которых повествуют исландские саги, преобладали у ториев: гордость своей благородной кровью и чрезвычайная склонность ко всему наследственному и законному, к землевладению, к воинственным предприятиям и к кровавому решению споров, а у виггов — любовь к грабежу и разбою, к легкому успеху и богатой добыче и больше к изворотливости и отваге, чем к телесной силе. Типы английского империалиста и Фритредера, вследствие их глубокой жизненности, которую они обязаны неуклонному воспитанию в этом духе фактически господствующего класса, восходят и воспроизводятся вплоть до их нынешней формы. Тот факт, что демократизация Англии была в 19-ом веке только видимостью, и что народ, в действительности, как и в Пруссии, управлялся меньшинством, высоко ценным и отличавшимся цельностью и прочностью своих практических качеств, этот факт поддерживал на высоте не только воли, но и способности — вплоть до исхода последней войны.

Ведь подлинною сутью этой политики является то, что она — чисто деловая, пиратская, независимо от того, стоят ли во главе ее тории или вигги. И только то обстоятельство, что и те, и другие, прежде всего — джентльмены, члены одного и того же знатного общества, с его удивительной цельностью жизненного уклада, делает возможным, что, несмотря на ожесточенный по временам антагонизм, серьезные вопросы разрешаются в дружеской беседе и частной переписке, между тем как во всякой другой стране они ознаменовались бы скандалами в шумной палате народных представителей, преданных своим принципам и неспособных к компромиссам. Английский партийный вождь ведет дела своей страны так, как будто он частное лицо. Если его политические предприятия удаются, то все им сделанное совершила «Англия». Если же, хотя и увенчавшись успехом, они грозят болезненными, в практическом или моральном отношении, результатами, то он уходит, и страна, с пуританской строгостью, порицает его за частный образ действий, последствия которого претерпеваются его уходом; но при этом всевышнему воздается благодарность за то, что он помог Англии сделать удачный шаг. Все это, конечно, возможно только тогда, когда между партиями нет разно-

гласий по основным вопросам. Может быть, тории низвергли Наполеона и привели его на остров св. Елены после того, как он распространял на континенте идеи вигов, — но Фокс¹⁾, тем не менее, не был безусловным противником войны с ним. И когда Роберт Пиль добился, в 1851 году, окончательной победы кобденовской системы свободной торговли и предпочел, таким образом, экономическое покорение мира военному протекторату над ним, то тории безусловно нашли и признали часть своих принципов в системе вигов.

Политика ториев при Эдуарде VII давала много поводов к мировой войне, но виги — противники войны — втихомолку приготовились к этой возможности, назвав себя «либеральными империалистами». Это и есть настоящий «парламентаризм», а не те его внешние, малопонятные и бездейственные стороны, которые в Германии теперь принимают за парламентскую деятельность, считая ею распределение министерских портфелей между вождями партий или обнажение перед широкой публикой тайн парламентской техники. Всякие решения партийных вождей, в особенности, последние, — остаются скрытыми даже от парламентской фракции. Видимые события — *fable convenue* — и образцовый такт обеих партий заботятся о том, чтобы поддерживать у народа иллюзию самоуправления тем педантичнее, чем меньше реального значения остается от этого понятия. Утверждать, что английские партии являются частями нации — значит нести дилетантский вздор. В действительности, народоправства не может быть, разве только в государствах, состоящих из нескольких деревень. В это верят только безнадежно либеральные немцы. Всюду, куда проникли английские формы правления, власть принадлежит очень немногим людям, господствующим в партии благодаря своему опыту, сильной воле и тактической ловкости, или находится в руках самой партии с диктаторскими полномочиями. Тут возникает вопрос: какие существуют отношения между народом и партией или какое значение имеют выборы в современном политическом мире Запада? Кто избирает и кого избирают? Смысл английской системы состоит в том, что народ избирает партию, а не уполномоченного для выражения своей воли, более или менее свободной от партийного руководительства. Партии — это крепко сплоченные, очень старые общества, которые занимаются тем, что ведут, вообще, дела английского народа. Каждый англичанин, хорошо понимающий целесообразность этого учреждения, поддерживает, от выборов до выборов, тех лиц, намерения которых на ближайшие годы больше всего соответствуют его собственным взглядам и интересам. Он хорошо знает, как безразлична при этом политическая физиономия депутата, назначаемого партией вполне самодержавно. Выражение «голосующее стадо» подходит, в общем, гораздо больше к депутатам, чем к их избирателям. Характерно, что рабочие очень часто отдавали свои голоса предпринимателю, выставленному какой-нибудь старой партией, вместо того, чтобы проводить на выборах своего собственного кандидата. Глядя на положение, они трезво решали, что в данный момент это было выгоднее. В Америке, где за системой уже не стоит настоящий англичанин, выработался обычай, что партии выставляют одну программу, а трестам, которые их оплачивают, предлагают

¹⁾ Английский государственный деятель, глава партии вигов и горячий сторонник союза с Францией и Америкой (Умер в 1806 г.).

другую; из них — одна назначается для опубликования, а другая — для исполнения. В связи с этим, встает серьезный вопрос — в какой форме оплачивается в парламентских странах политическая работа? Простодушные энтузиасты демократии не замечают, что теперь, когда все народы, намеренно или невольно, руководятся политикой жизненных интересов, от этого зависит не внутренний смысл конституции, а гораздо более важный дух ее практического применения. В своей простоте, эти люди постоянно думают о том жаловании, которое выплачивается депутатам. Но дело совсем не в этом. Монархи эпохи барокко произвольно распоряжались государственными доходами; современные же партии ими только управляют. Тут возникает опять вопрос о простой целесообразности: кого должны вознаграждать представители крупных экономических интересов избиратели — депутатов или управление партии? В первом случае, это вполне соответствует формам английского парламентаризма, и в 18-ом веке такой порядок практиковался в крупном масштабе в виде подкупа на выборах. Теперь, когда тории и виги, принадлежавшие к аристократическим кругам с резко выраженным мирозерцанием, сделались чисто деловыми представителями, отличающимися друг от друга лишь в отдельных конкретных случаях своими взглядами на выгоднейшую форму и моральное обоснование какого-нибудь предприятия, — теперь это средство стало излишним: их интересы совмещаются с демократическими партиями. В анархической Франции, где под именем партий выступают клубы и личные группы с быстро меняющимся числом своих членов и колеблющимся влиянием, оплата депутатов является правильной, более деликатной и непосредственной формой. Депутаты находятся в распоряжении плутократии, и потому парламентская карьера довольно часто избирается во Франции в полной уверенности, что через несколько лет народный представитель сможет купить себе замок. В Германии, где партии с идеологическими программами идут к народу, биржа приняла к себе на службу либералов, а тяжелая промышленность — национал-либералов. Они оплачивают агитацию и печать, обильно снабжая последнюю торговыми объявлениями. Если бы веймарская конституция осталась в силе хотя бы на несколько лет, то депутатские места котировались бы по установленной тем или иным партиям цене. Попытки этого рода делались довольно откровенно уже при первых выборах.

Что демократия и всеобщее избирательное право — испытанные методы капитализма, — это доказали все страны, перенявшие от Англии эту форму. Если либеральный профессор радуется веймарской конституции, как осуществлению своей мечты, то деловой либерал приветствует ее, как самый удобный и, пожалуй, самый дешевый способ для замены политики конторой, а государства — гешефтом.

Все это характеризует господство духа викингов над западной цивилизацией, являвшейся до сих пор английской *par excellence*. Форма, в которой *непередаваемый* английский парламентаризм был навязан материке и, в конце концов, всему миру, есть «конституция», сделавшая критику существующего правительства органическим составным элементом этого последнего. Но *безгосударственный* характер правительства, выработанный английским обществом вполне самостоятельно, превратился здесь в *антигосударственный* характер конституций, заключавших в себе принцип чуждый — английский. Вместе с тем, повсюду стали необходимы суррогаты партий, которые, не имея

собственного содержания, подражали английскому стилю, сделавшему исполнительную власть составной частью партийной власти, а также оппозиция, которая, при постоянных трениях между высшей властью и партийным принципом или между самими партиями, влияла на целое не благотворно, а разрушительно, вследствие крайне различного понимания обеими сторонами партийной власти. Мирабо, глубже других понимавший Францию в то время, когда она подчинялась идеям викингов, — проживи он дольше, — наверное, вернулся бы к абсолютизму, чтобы спасти свою страну от псевдопарламентаризма самодержавных клубов. Слово «интрига» вполне выражает дух, который анархический француз вносит, вместо планомерной тактики англичанина, во всякое правительство, чтобы подогнать его к своему жизненному стилю. Отсюда, то и дело возникает случайный деспотизм, как наиболее полезная — практически — форма этой анархии, в области которой французская история достигала, по временам, изумительных, но недолговечных успехов. Это можно сказать уже о Мазарини и Ришелье; начиная с 1789 года, это — тайная конечная цель всякого, даже самого незначительного, политического клуба; это можно, наконец, видеть в классической форме, в диктатуре солдата-Наполеона. Чего-то в этом роде Маккиавелли ожидал от Цезаря Борджиа для прекращения сумбурной политики возрождения. Только Франция и Италия не породили ни одной политической идеи. Государство Людовика XIV — отдельный эпизод (как и империя Наполеона), а не прочная система, подобно тому, как абсолютная монархия барокко, как органическая и способная к развитию форма, — происхождения габсбургского, а не бурбонского. Габсбурги, от Филиппа II до Меттерниха, были символом государственного правления почти для всех дворов и кабинетов; Король-Солнце влиял только на церемониал и костюмы. Весьма показательно появление Наполеона. Только во Флоренции и в Париже счастливый полководец мог сыграть такую нетрадиционную роль и учредить государство, столь фантастическое и непрочное. Здесь не было никакой типической государственной формы. Руссо, теоретик политической анархии, извлек из прочно установленного и политически действующего факта английского Society идею своего Общественного договора, но и он, в конце концов, требовал диктатуры, как случайного спасительного средства против хаоса, создаваемого индивидуальной волей. В Англии Наполеон, в случае революции, мог бы стать первым министром, в Пруссии — фельдмаршалом, в Испании — и тем, и другим, и притом — с неограниченными полномочиями. В костюме Карла Великого он мыслим только во Франции и Италии.

В Пруссии существовало подлинное государство, в самом точном значении этого слова. Здесь не было, строго говоря, ни одного частного человека. Всякий, кто жил внутри этой системы, работавшей с точностью хорошей машины, являлся, в том или другом виде, ее членом. Поэтому, управление делами и не могло находиться там в руках частных людей, как это предполагает парламентаризм. Оно было службой (Amt), а ответственный политик был чиновником (служильным человеком — Beamte), слугой дела. В Англии политика и деловые интересы совпадают; во Франции профессиональные политики, явившиеся вместе с конституцией, формировались заинтересованными группами. В Пруссии политик чисто профессиональный всегда был явлением подозрительным. Поэтому, когда в 19-ом веке демократи-

зация государства стала необходимой, она не могла пройти в английских формах, соответствовавших совершенно противоположной системе. Здесь демократия не могла обозначать частную свободу, совпадавшую с деловой независимостью, и неизбежно должна была привести к частной политике, для которой государство служило бы орудием. Когда орденская идея «все за всех» получила современную формулировку, то это не было образованием партий, дававших народу право голосовать, раз в несколько лет, на выборах за назначенного партией кандидата, или, вообще, не голосовать, а вмешиваться в правительственные дела в качестве оппозиции: — это был принцип, уделявший каждому индивидууму, соответственно его практическим, нравственным и умственным способностям, определенную меру власти и подчинения, т. е. совершенно личную ответственность, которой, как службы, он мог лишиться во всякое время. Эта «система советов», построенная сто лет тому назад бароном Штейном — подлинно прусская идея, основанная на праве избирать и быть избираемым, на круговой ответственности и коллективности. Теперь, совершенно по-марксистски, она принесена в жертву классовому эгоизму: полное извращение картины, нарисованной Марксом — разбойничьего класса капиталистов английского типа, викингов без государственного контроля, со свободной торговлей, с рабочим классом внизу. Это — Бентам, но не Кант.

Штейн и его советники, прошедшие школу Канта, думали об организации профессиональных сословий. В стране, где труд предполагалось сделать общей обязанностью и содержанием жизни, люди должны различаться по своей деятельности, а не по своему состоянию. Отсюда: местные профессионально-сословные корпорации, располагающиеся по мере значения их профессий в народном целом; более высокое представительство вплоть до государственного совета; право объявления, во всякое время, мандатов недействительными, — другими словами, никаких организованных партий, никаких профессионалов-политиков, никаких периодических выборов. Этих идей Штейн, правда, не высказывал и, может быть, в этой редакции он стал бы их оспаривать; но они вошли в качестве основного ядра в те реформы, которые он предлагал, и были бы способны провести планомерную демократизацию прусской системы в том виде, в каком она соответствовала бы своим собственным, а не английским и французским инстинктам, и гарантировала бы подбор лиц, пригодных именно для нее. Государственный совет, находящийся в государстве, относится к нему, как ученый инженер — к машине. К отряпанию государства принадлежит точно таким же образом сформированный тайный совет отдельных партий, из которых каждая должна быть готова пустить во всякое время в ход свой аппарат в качестве правительства страны. Англия, действительно, обладает двумя «рабочими», или коронными, советами, вместо одного, и в этом — смысл парламентаризма¹⁾. Прусская система нуждалась бы в одном только совете постоянного состава.

Вместо того, под впечатлением наполеоновских войн, распространилось восхищение английскими учреждениями. Гарденберг, Гумбольдт и другие были «англичанами». Вместо Канта, заговорили

¹⁾ Избиратели не имеют ни малейшего влияния на составление обоих советов. Они только решают, — который из них должен управлять (прим. автора).

о Шефтсбери¹⁾ и Юме. Там, где преобразование было бы необходимо и возможно изнутри, оно было проведено извне. Вся политическая горечь 19-го века, невероятная бедность нашего парламентаризма людьми, идеями и действиями, постоянная борьба с принципиально враждебной оппозицией и вынужденное лавирование между партиями — происходят отчасти от того, что строгий и довольно солидный порядок навязывается народу, способному к другому, столь же строгому и солидному порядку. Везде, где старо-прусская сила организации могла проявиться в крупном масштабе и *свободно*, — как, например, в создании синдикатов, картелей, профессиональных союзов и в социальной политике, — она показала, на что она способна.

Насколько парламентаризм остался чуждым прусскому, а начиная с 1870 года — германскому народу, доказывает равнодушие, с каким, вопреки всем усилиям печати и партий, публика относится к выборам и к вопросам избирательного права. Последним очень часто пользовались для выражения какого-то неопределенного раздражения, и ни в какой другой стране эти выборы в английском стиле не дают такой неверной картины действительного настроения народа. Народ никогда не мог привыкнуть и не привыкнет к этому чуждому для него способу «сотрудничества». Если англичанин не следит за прениями в парламенте, то он делает это в сознании, что его интересы находятся там в хороших руках. Если так поступает немец, то это объясняется чувством полнейшего равнодушия: для него только «правительство» представляет нечто существенное. У нас парламентаризм всегда будет оставаться системой чисто поверхностной.

В Англии обе партии самостоятельно руководили политикой. У нас же существовало государство, а партии, — образованные ради парламентского метода, тогда как в Англии этот последний развился из фактической конституции торгового народа, — выступали против него только в качестве *критиков*. Получилось, разумеется, несоответствие между системой, которую хотели ввести, и той, которая уже существовала, между намерением и влиянием метода, между понятием о партии и ее сущностью. Английская оппозиция — необходимая составная часть правительства; она с ним сотрудничает. Наша же оппозиция — действительное отрицание не только противных партий, но и самого правительства. С низложением монархической власти это положение несколько не изменилось.

Характерным и обнаруживающим силу национального инстинкта является тот факт, что обе партии, которые можно назвать специфически прусскими — консервативная и социалистическая, — никогда не теряли своего нелиберального и антипарламентского направления. Обе они, в более высоком смысле, — социалистичны и, таким образом, вполне соответствуют *обем* капиталистическим партиям Англии. Они признают частное и партийно-деловое руководство правительства, но приписывают целому безусловное и авторитетное право на регулирование жизни индивидуума в интересах общего. Если при этом одни говорят о монархическом государстве, а другие — о трудящемся народе, то это лишь разница в словах, принимая во внимание факт, что здесь трудится *веський*, и что отдельная воля каждый раз подчиняется общей.

¹⁾ Английский государственный деятель, составивший знаменитый Habeas Corpus.

Обе эти партии, под гнетом английской системы были государствами в государстве; каждое из них было убеждено, что оно является определенным государством, и потому не находило оправдания для существования других партий, как особых организаций. Уже этим одним исключается парламентское управление. Они не отвергали принципа военной дисциплины и сформировали тесно сомкнутые и хорошо дисциплинированные батальоны избирателей, в которых консерваторы были лучшими офицерами, а социалисты — солдатами. Они были построены на праве одних приказывать и на долге других повиноваться, и в таком же точно духе они понимали *свое* государство, государство Гогенцоллернов и государство будущего. Как в том, так и в другом, свобода была совсем не английской. Глубокое презрение к английской парламентской сущности, определяемой общественным положением, богатством или бедностью, прощитывает их парламентскую деятельность. Обе они презирали прусское избирательное право с его раздражающим подразделением на богатых и бедных, при чем видели в нем довольно хорошее средство; но, в сущности, консерваторы презирали всякую избирательную систему по английскому образцу, зная, что она неизбежно ведет к паутokratии. Кто может оплачивать такие системы, пожинает их плоды.

Рядом — партия испанского стиля, ультрамонтанская идейная традиция истории, простирающаяся до эпохи мирового господства Габсбургов и территориального духа Вестфальского мира. В ее тактике еще сохранился в живых остаток мастерской кабинетной дипломатии Мадрида и Вены; она сумела, со зрелой мудростью контр-реформации, заставить себе *служить* демократические тенденции и парламентские обычаи. Она ничего не презирает; она даже умеет из всего извлекать выгоду. Не следует также забывать социалистические воспоминания и дисциплину испанского духа, который, подобно прусскому, вышел из лона рыцарских орденов готической эпохи и дал, еще до него, формулу мировой идеи: «трон и алтарь».

Наконец, — идейно англиканствующая Германия, организовавшаяся как партия, чтобы отстаивать, с пылом мировоззрения, подлинный парламентаризм, — как принцип, как идею, как самодовлеющую вещь. Для этих людей Наполеон был тем, кто принес с собой свободные идеи. Они проявляли свой «образ мыслей» повсюду, где англичанин обнаруживал бы свои таланты и опыт. «Точка зрения» — их символ. Когда сходятся три либерала, они тотчас же образуют новую партию. Таково их понятие об индивидуализме. Они не могут войти в кегельный клуб, не «поставив в порядок дня» изменения его устава. Так как в Англии господствует общегосударственный порядок общественных дел, то каждый властный акт государства вызывает у них, наверно, возмущение. Равным образом они ненавидят и в социализме авторитарные конечные цели. Эта буржуазия — специфическое германское явление. Ее не следовало бы смешивать с французской, а еще меньше с английским средним классом. Круный стиль английского либерализма ей не пристал. Quod licet Jovi, non licet bovi¹⁾. Под сюртуком свободомыслящего еще живет слабый дух старых имперских городов, не перестающий резко протестовать против реальной действительности современной цивилизации и нагромождающий вокруг себя огромную

¹⁾ Что приличествует Юпитеру, не подобает быку.

литературу, где в каждой книге следы трансцендентного и идеального переплетаются с непоколебимо-реальной английской идеологией, дающей единственную возможность удержаться от не менее трезвой суровости прусских идей. И этот политически беспечный и неспособный к какой-бы то ни было организации либерализм, заимствовавший из массивного и нетронутого английского характера, в качестве цели, только экономическую диктатуру частного богатства, без ее нравственного содержания, этот либерализм, действительно, образовал компактную боевую партию, которую он превратил в убийственную, изнуряющую оппозицию везде, где социалистическая мысль прусского государства мешала независимости аферизма. Его дух объединил, в конце-концов, «внутреннюю Англию» партий большинства для той парламентской революции 1917 года, которая, ниспровергнув государство, дала окончательную победу «внешней Англии» (Антанты). Этот либерализм требует чистого парламентаризма не потому, что хочет видеть свободное государство, а потому, что не желает *никакого*; как и Англия, она хорошо знает, что социалистически подготовленный народ, имея на плечах этот чужой сюртук, окажется неработоспособным. Это обещает ему «сверх-государственная» мировая буржуазия германского Михеля. Сколько он ни смеется над этим сюртуком, как над делью, он все же дорожит им, как средством. И он передает мировому буржуа-профессору кафедру и фельетон, а парламентарно-дилетанту политику в рейхстаге. На этой паре он приближается к полному англиканству. В германской революции социализм потерпел свое самое тяжелое поражение, ибо противник довел его до того состояния, когда он обратил свое оружие против самого себя.

И, тем не менее, обе великие мировые идеи продолжают стоять лицом к лицу: диктатура денег или организации, — мир, как добыча или как государство, — богатство или авторитет, — успех или профессия. Обе социалистические партии Германии должны соединиться против этого врага общей идеи, против «внутренней Англии», против капиталистическо-парламентского либерализма. Социалистическая монархия¹⁾ (ведь, авторитарный социализм монархичен, ибо самое ответственное место в огромном организме — место *первого слуги такого государства* — нельзя предоставлять, по слову Фридриха Великого, частному искательству), социалистическая монархия есть нечто целое, в котором каждый занимает место соответственно своему *социалистическому* рангу, таланту, своей добровольной, в силу своего внутреннего превосходства, дисциплине, своим организаторским дарованиям, своей работоспособности, добросовестности и энергии, собственно, наконец, своему интеллигентскому чувству солидарности; общий трудовой долг и деление на профессиональные сословия, выполняющие одновременно функции по высшему руководству и администрации, сословия, в которых все трудятся с одинаковым рвением — офицеры, чиновники, крестьяне, рабочие, — такова, идея, медленно созревшая в мире фаустовских людей и уже давно воспитавшая свой человеческий тип.

На другой стороне стоит мировая капиталистическая республика. Ведь, Англия, действительно, — республика, ибо это слово означает

¹⁾ В 1862 г., Лассаль, в сочинении «Что же дальше?», требовал союза прусской королевской власти с рабочими для борьбы с либерализмом и английской теорией «ночных сторожей» слабого государства (прим. автора).

теперь такое положение, когда страна управляется удачливыми частными людьми, имеющими возможность оплатить свои выборы и, вместе с тем, свое влияние; положение, когда земная поверхность является поприщем для тех, кто хочет разбогатеть и требует для себя права свободного соперничества. И вот, и тории и виги, обе капиталистические партии, смыкают, наконец, свои ряды против «внутренней Пруссии», против социализма, имеющего на своей стороне рабочих. Но это обозначает осаду парламентской системы, которая не может работать с тремя партиями. В старой Англии богатый стоял против богатого, одно мирозерцание против другого — *внутри* высшего класса. Теперь же богатый стоит против бедного, а Англия — против чего-то другого. Но вместе с тем *исчерпана* форма парламентаризма: это не подлежит сомнению. Он был в упадке уже в Англии, когда немецкая глупость его оттуда заимствовала. Лучшее его время было до Бисмарка. То была старая, зрелая, аристократическая, бесконечно утонченная форма, требовавшая, чтобы всецело ею овладеть, всего такта английского джентльмена хорошего происхождения. Предпосылкой его было, само собой разумеется, единодушие в большинстве вопросов, так что разногласия не могли серьезно угрожать учтивости. Парламентская борьба заключала в себе некоторые положительные стороны дуэли между аристократами. Как в старой музыке, от Баха до Бетховена, она основывалась на глубокой ее культуре, вплоть до кончиков пальцев. И как только строгость этой культуры ослабела, музыка стала варварской. Теперь уже никто не может набросать фугу в старом стиле с прежней легкостью и естественностью, которые создаются в результате прочного усвоения всех правил. Так же обстоит дело и со стилем парламентской тактики. Люди погубили, а вместе с ними и формы, — и все пропало. Вместо дуэли, получается драка. С людьми старой культуры кончаются и учреждения, и воспринимаемые чувством формы и такт. Новый парламентаризм уже будет борьбой за существование в несдержанных формах, и далеко не с таким успехом. Отношение партий и их вождей к массам будет грубее, прозрачнее, откровеннее. Это — *начало цезаризма*. Намеки на него уже дали английские выборы 1918 года. Нам тоже от него не избавиться. Это наша судьба, — как римлян и китайцев, — судьба всех созревших цивилизаций. Но вечным остается вопрос: кто? — миллиардеры или генералы, банкиры или чиновники первого класса?

МАРКС

XIX

Эта могучая и ревнительная борьба двух германских идей переключается фактором совершенно иного порядка — рабочим вопросом. На одной стороне — глубочайшая противоположность мировоззрений, требующая своего разрешения, чтобы наложить на бытие фаустовского человека печать окончательного единства формы; на другой — отчаянная материальная нужда, требующая изменения внешних условий жизни. На одной стороне — до известной степени метафизика, на другой — национальная экономия. Этим устанавливается *ранговое различие* обоих явлений.

Проблема «четвертого сословия» всплывает во всякой культуре при переходе ее к цивилизации. Для нас она начинается с 19-ым веком. Третье сословие принадлежит городу, который ставит себя на один уровень со страной; четвертое — мировому городу, который уничтожает страну. Оно — духовно оторвано, сильно запоздало; это — беспорядочно кочующая, аморфная, враждебная всякой форме масса, впитывающая в себя со всех сторон остатки живого человечества, не знающие родины, раздраженные, жалкие, горящие ненавистью к старой культуре, для которой они умерли, и страстно стремящиеся избавиться от своего невозможного существования.

Во всех проявлениях и формах западно-европейской цивилизации господствует машинная промышленность. Фабрично-заводский рабочий вовсе не является четвертым сословием, но он справедливо чувствует себя его представителем. Он — символ. Как тип, возникший вместе с этой цивилизацией, он ощущает глубже всех аномалию своего существования. В техническую эпоху, сделавшую своими рабами и инженера, и предпринимателя, он — также раб.

Но разрешение рабочего вопроса силами самих рабочих и только ими одним — невозможно. Четвертое сословие, само по себе, — голый факт, безо всякой идеи. Фактически существуют только материальные компромиссы, но не как действие и претворение в жизнь каких-нибудь идеалов, а как стратегические результаты долгой борьбы из-за собственных выгод, добытых за счет других; в конечном итоге это приводит к известному затишью, при котором смиренно мирятся с установившимся, после всех перипетий борьбы, положением, чтобы найти в нем маленькое счастье выработанных привычек — счастье китайцев или римлян императорской эпохи: *panem et circenses!* Теперь это трудно понять, потому что мы стоим на высшей точке возбуждения масс в больших городах, и тот, кто наблюдает вблизи, переоценивает, в шуме лозунгов, *односторонние перспективы* классового эгоизма; но в течение одного или двух столетий все пройдет, если рабочее движение не поступит на службу общей идее. Что еще оставалось при Августе от страстей эпохи Гракхов? Проблема не была решена, и она распалась.

Тогда на сцену выступил Маркс. При помощи блестящей системы он попытался возвысить факт на степень идеи. Не заметив резкой противоположности между духом викингов и орденским, он построил тонкую, но прочную теорию и нарисовал, таким образом, соответствующую интересам народа картину истории, действительно, влияющую сильно и глубоко на воззрения современников. Он вышел из прусской атмосферы и жил затем в английской, но душе обоих народов он оставался одинаково чуждым. Как человек 19-го века, возвысившего науку о природе в культ, Маркс был хорошим материалистом и плохим психологом. И потому, в конце концов, он не наполнил содержанием какой-нибудь идеи великие факты реальной жизни, но понизил идеи до степени понятий и интересов. Вместо английской крови, которой он в себе не чувствовал, он замечал только английские дела, а у Гегеля, этого достойного представителя прусского государственного мышления, ему был доступен только метод. Благодаря особенной, поистине вычурной, комбинации, он заменил *противоположные инстинкты обеих германских масс материальным противоречием двух классов*. Он приписал «пролетариату», четвертому сословию, — прусскую идею социализма, а «буржуазии», третьему сословию, —

английский капитализм. Только этой системе обязаны мы тем определенным значением этих четырех понятий, в каком их теперь употребляют. Пользуясь этими непреодолимыми, вследствие своей простоты, лозунгами, Марксу удалось сплотить рабочих почти всех стран в один общий класс с отчетливым классовым сознанием. Выразаясь его языком, понятиями Маркса мыслит теперь четвертое сословие. Пролетариат перестал быть названием: он стал проблемой. Будущее рассматривалось с тех пор при помощи литературы. Сила этой системы состоит в ее поверхностном характере. Несмотря на то, что попрежнему существует испанский церковный, английский капиталистический и прусский авторитарный социализм, а также пролетарские движения анархического, капиталистического и подлинно социалистического характера, — этого не видят и не знают. Вера в единство цели сильнее действительности, и, как всегда на Западе, она держится на книге, в абсолютной истине которой никто не должен сомневаться, ибо это — преступление. Только печатное слово обеспечивает фаустовскому духу действие на всей широте и глубине пространства и времени. В английской революции такой книгой была библия, во французской — «Contrat Social» Руссо, в германской — «Манифест Коммунистической Партии». Перетолковав противоположности рас и старых германских инстинктов в противоположности классов и новых, недавно народившихся потребностей населения больших городов, создали решающее ныне *понятие классовой борьбы*. Горизонтальное направление исторических сил стало вертикальным: таков смысл материалистического понимания истории. Естественно-научное мышление того времени требовало противопоставления силы и материи, и вот, материю политических сил называли народами, а материю сил хозяйственных — классами. Марксизм подменил, так сказать, ранг обеих сил, а также степень обеих материй. Но благодаря этому, слово «класс» получило совершенно новое значение.

Пройдя школу естествознания 1850 года, Маркс страдал полным отсутствием психологического понимания; он не мог справиться с тем различием, которое существует между сословием и классом. Сословие — понятие этическое, выражение известной идеи. Привилегированные люди 1789 года стояли против буржуазии, как *сословие*, воплощавшее известный идеал — *grandeur, courtoisie*, внутреннюю внешнюю аристократичность, — не считаясь с тем, сколько его осталось после упадка. Буржуазия оспаривала *этическое* превосходство древнего аристократического обычая, из которого вытекал отказ в социальных привилегиях. Прошедший английскую школу ум парижан противопоставил этому идеалу другой, а французский инстинкт создал из него принцип равенства, в *этическом* смысле этого слова. То было новое значение выражения «человеческое общество», предполагавшее равенство и общую обязательность *правственного* идеала, основанного на разуме и природе, а не на крови и традиции.

Класс, наоборот, является понятием чисто хозяйственным, превратившим этическое — политическое понятие буржуазии 1789 года в экономическое — 1850 года. Сословный идеал стал классовым интересом. Но в Англии классы уже давно определились по степени богатства. Средний класс составляли люди, которые жили своим трудом, не будучи бедными. К высшему принадлежали те, которые были богаты, не работая. Низший класс работал и был беден. В Пруссии же деление

на классы зависело от *положения*, связанного с большей или меньшей степенью власти и подчинения. Здесь, наряду с крестьянским сословием, существовал класс чиновников, т. е. не было одного экономического целого, объединенного общими функциями. С другой стороны, основной особенностью современной Франции является *отсутствие настоящих классов*. Нация представляет собою беспорядочную массу, из которой выделяются богатые и бедные, не составляя, однако, классов. Вся Франция — один класс, не в строгом смысле германских сословий, но всетаки класс единый.

Итак, Маркс мыслит чисто по-английски. Его двухклассовая система выведена из понятия о торговом народе, который пожертвовал своим сельским хозяйством ради коммерции и никогда не имел государственного чиновничества с отчетливым — прусским — сословным сознанием. Здесь — только «буржуа» и «пролетарий», *субъекты* и *объекты* аферизма, грабители и ограбленные, совершенно в духе викингов. Эти понятия, введенные в область прусского политического мышления, не имеют смысла. Маркс был бы неспособен отличить от факта английского промышленного рабства — вытекающую из принципа «все за всех» мысль, что каждый индивидуум, без различия положения, является слугой делого, государства. Он взял простой, чисто внешний образ — прусскую национальность, прусский народ: организацию, дисциплину, солидарность, — нечто совершенно независимое от отдельного класса, — техническую форму, социализм, и предложил его, как цель и оружие, рабочим в устроенном на английский манер *Society*, с тем, чтобы они, опять-таки совершенно в духе викингов, могли поместиться ролями грабителей и ограбленных (экспроприация экспроприаторов) и к тому же, с очень эгоистической программой раздела добычи после победы ¹⁾.

Точное определение обоих классов — дело, все же, довольно трудное. В марксистском кругу идей буржуазия означает совершенно не то, что у Руссо. Большая разница — употребляется ли этот термин в противоположность привилегированному сословию феодальной эпохи или с точки зрения городских рабочих масс. Кроме трех сословий 1789 года, нет никакого четвертого, а к современному четвертому нет первого и второго. Сийес насчитывал: духовенства — 80.000, дворянства — 120.000, третьего сословия 25 миллионов. Значит, последнее — народ. Значит, «буржуазия» — «все». А французский крестьянин — буржуа.

Но четвертое сословие — меньшинство, и даже не резко выделяющееся, потому что термины: ремесленник, фабрично-заводский рабочий, пролетарий, масса — предполагают иное разграничение. Последнее иногда определяется и часто ощущается так, что отличается совсем мало от буржуазии, — а это опять «все», за исключением предпринимателя.

Третье сословие было, собственно говоря, — понятием отрицательным. Оно выражало собой идею, что не должно быть никаких сословий. Четвертое же сословие снова упраздняет это равенство. Оно вводит в социальную жизнь отдельный класс — профессии, как

¹⁾ *Примечание редакции.* Нельзя не отметить непонимания основных идей научного социализма, непонимания, обнаруживаемого автором, как в настоящей, так и в последующих главах. В частности, в данном случае, Шпенглер совершенно искажает идею Маркса об экспроприации экспроприаторов, приписывая Марксу обывательскую теорию о «разделе добычи», и ставя на одну плоскость и грабителя и ограбленного.

руководящую норму. Он возвращается назад, ко времени до 1789 г., и снова представляет собою привилегированное сословие. Таково содержание понятия «диктатура пролетариата», т. е. господство одного класса, совершенно неуверенного в своем численном превосходстве. Таким образом, классовая цель снова превращается в карикатуру старого сословного идеала. Эта система пропитана литературой, а не кровью и воспитанием, но смешные стороны германской революции показали, как в эпоху Кромвеля и Робеспьера, что из литературы может иногда возникнуть причудливая действительность.

XX

Но и мораль Маркса — английского происхождения. Во всяком случае, марксизм вырос на почве теологического, а не политического образа мыслей. Его экономическая теория — лишь следствие этического основного чувства, и материалистическое понимание истории образует только заключительную главу той философии, корни которой доходят вплоть до английской революции с ее библейским настроем, остающимся до сих пор обязательным для английского мышления.

Поэтому, его основные понятия ощущаются, как моральные противоположности. Слова «социализм» и «капитализм» обозначают добро и зло этой не религиозной религии. Буржуа — дьявол, а наемный рабочий — ангел новой мифологии, и стоит только несколько углубиться в пафос «Коммунистического Манифеста», чтобы признать под его маской индипендентское христианство. Социальная эволюция — «воля божия». «Конечной целью» прежде было вечное блаженство. «Крушение буржуазного общества» — Страшный Суд.

Таким образом, Маркс поучает *презирать труд*. Быть может, он этого даже не сознавал. Труд упорный, долгий, утомительный — несчастье, легкое приобретение — счастье. Истинно английское презрение к человеку, добывающему средства к жизни своими руками, объясняется инстинктом викингов, призвание которых — брать добычу, а не чинить паруса. Поэтому, ремесленник в Англии — больше раб, чем где бы то ни было. Он — раб в *нравственном смысле*, ибо он чувствует, что его занятие лишает его названия джентльмена. В понятиях «буржуазия» и «пролетариат» противоположаются чисто английские точки зрения на торговые выгоды и ремесла. Первые — счастье, вторые — несчастье; одни — благородны, другие — низки. А ненависть несчастных людей добавляет: первые — профессия злых, а вторые — занятие добрых.

Таков склад ума Маркса, породивший его критику общества и сделавший его столь роковым для *подлинного социализма*. Маркс знал сущность труда только в английском понимании; он знал его, как средство разбогатеть, как средство, не имевшее нравственной основы, потому что этическое значение имели лишь успех, деньги, проявляющаяся милость божия. Англичанину недостает понимания *достоинства* сурового труда. Он лишил его всякого благородства. Он — ненавистник необходимости, и горе тому, у кого нет ничего, кроме труда; горе тому, кто ничего не имеет, не работая снова и снова, и, особенно, тому, у кого никогда ничего не будет. Если бы Маркс

понял смысл прусского труда; если бы он понял его, как деятельность во имя ее самой, как службу ради общего блага, для «всех», а не только для самого себя, как долг, который облагораживает безотносительно к роду труда, — тогда его Манифест никогда, вероятно, не был бы написан.

Но ему помог его иудейский инстинкт, который он сам отметил в статье об еврейском вопросе. *Проклятие*, тяготеющее над физическим трудом еще со времен грехопадения, запрет осквернить работой день воскресный, — все это сближало его с ветхозаветным пафосом англичанина, отсюда его ненависть к тем, кому незачем работать. Социализм Фихте лишь презирал бы их, как лентяев, как никому не нужных людей, забывших свой долг, как паразитов, а инстинкт Маркса им завидует. Им слишком хорошо, а потому надо против них возмущаться. Маркс привил пролетариату неуважение к труду. Его фанатические ученики хотят уничтожения всей культуры, чтобы сократить, по возможности, огромное количество необходимой работы. Лютер прославлял самую простую деятельность, как угодную Богу; Гете восхвалял ее, как «повседневную потребность»; но перед умственным взором Маркса витал идеал пролетарского Феактия, владеющего всем безо всякого труда: таков конечный смысл пресловутой экспроприации счастливых. И по отношению к английскому инстинкту он прав. Что называет англичанин счастьем? Удачу в делах, избавляющую его от физического труда и делающую, тем самым, человека джентльменом. Таков взгляд всех англичан; нам же это кажется низким, достойным черни и выскочек.

Этой этикой объясняются и экономические представления Маркса. Его мышление — чисто манчестерское. Оно вполне совпадает со взглядами Кобдена, который, как раз тогда, добился победы виговской теории свободной торговли. Маркс ведет борьбу с капитализмом, черпающим свое оправдание у Бентама и Шефтсбери, а формулировку — Адама Смита; но так как он — только критик, все отрицающий и ничего не создающий, то его принцип вытекает как раз от того, что он отрицает.

Для Маркса труд — товар, а вовсе не «долг»; это квинт-эссенция его национальной экономики. Его мораль становится чисто деловой. У него чувствуется между строк, что, может быть, «дела» и не совсем правдивы, но, во всяком случае, рабочий глуп, если он ими не занимается. И рабочий понял это. Борьба за заработную плату становится спекуляцией; рабочий превращается в торговца своим товаром-трудом. Секрет знаменитой фразы о прибавочной стоимости заключается в том, что на нее смотрят, как на *добычу*, которую купец вырывает у противной стороны. И заполучившему эту добычу завидуют. Классовый эгоизм возведен в принцип. Рабочий хочет не только торговать, но он *желает овладеть рынком*. По отношению к государству настоящий марксист настроен враждебно, по тем же соображениям, что и виги: ведь, оно мешает ему яростно защищать свои частные «деловые» интересы. Марксизм — это капитализм рабочего класса. Вспоминается Дарвин, который идейно так же близок Марксу, как Мальтус и Кобден. Торговля всегда мыслится, как борьба за существование. В промышленности предприниматель торгует «товаром-деньгами», рабочий — «товаром-трудом». Марксу хотелось лишить капитал права на частные интересы, но он сумел только заме-

нить его таким же правом рабочих. Это — не социалистично, но вполне по-английски.

Ведь Маркс стал англичанином и в том отношении, что *в его мышлении нет государства*. Он мыслит в рамках Society, без государства. Последнее существует как в политически-парламентской жизни Англии, так и в экономической жизни его мира, лишь как система двух независимых партий — и больше ничего. Поэтому мыслимы только борьба, безо всякого посредничества, только победа или поражение, только диктатура одной из двух партий. Диктатуру партии капиталистической, партии зла, Манифест хочет заменить диктатурой партии добра — пролетарской. Других возможностей Маркс не видит ¹⁾.

Но прусско-социалистическое государство находится по ту сторону от этого добра и зла. Оно — *весь народ*, и, вследствие его абсолютного самодержавия, обе партии — только партии, только меньшинство, служащее общему. Социализм, в чисто техническом смысле, — принцип чиновно-административного. Всякий рабочий принимает, в конце концов, характер чиновника, а не торговца, равно как и всякий предприниматель. Есть промышленные чиновники и торговые, подобно тому, как бывают военные и путейские. В самом крупном масштабе это было проведено в египетской культуре, а затем, но совсем иначе, — в китайской. Эта *внутренняя* форма политической цивилизации Запада выражена уже в готических городах, с их цехами и гильдиями, и символически — в готических соборах, где каждая самая незначительная часть — необходимый элемент динамического целого. Этого Маркс не понимал. Его горизонт и способность к организации простирались лишь настолько, чтобы частное *общество* торговцев перестроить в частное *общество* рабочих. Будучи перво-классным критиком, он слаб в смысле творчества. Это доказывают его постоянное уклонение от ответа на вопрос — как же он мыслит форму управления гигантским мировым механизмом? — и его дилетантское восхваление «системы советов» Парижской Коммуны 1871 года, возникшей из особых условий большого осажденного города и обнаружившей даже тогда свою нежизнеспособность. Научиться творчеству — невозможно. Либо оно есть, либо его нет. Вся социал-демократия дала только *одного* крупного творца, только *одного* политика, умевшего не писать, но управлять: это — Бебель, далеко не первый ум своей партии, но ее первый и единственный организатор. Для властелина важны иные таланты, чем умственная культура в литературном смысле этого смысла. Наполеон не выносил около себя «бездарных писателей».

Экономический дарвинизм англичанина и двухклассовая система Маркса выковали естественное оружие в борьбе между торговцами и торгующим рабочим классом: *забастовку*. Стачка есть не что иное, как отказ покупателя в «товаре-труде». Забастовка противной стороны — закрытие предприятия — есть отказ покупателя-рабочему в «товаре-деньгах». Резервная армия рабочих обеспечивает торгую-

¹⁾ *Примечание редакции.* Одно из очередных искажений автором марксистской идеи. Диктатуру пролетариата Маркс и его последователи рассматривают исключительно как промежуточный этап на пути от капитализма к коммунизму, от общества классового — к бесклассовому.

ших деньгами, а резервная армия предпринимателей (недостаток рабочих рук) гарантирует торгующим трудом сбыт их товара. Забастовка — *несоциалистический* признак марксизма, его классическая примета, доказывающая его происхождение из философии торговли, к которой Маркс принадлежал по своему инстинкту и привычкам.

С другой стороны, в государстве труд не является товаром: он — долг по отношению к общине, и, поэтому, там не существует (такова, например, прусская демократизация) никакого различия в нравственной его ценности: судья и ученый «работают» так же, как рудокоп и токарь. Поэтому тот факт, что в германской революции рабочий эксплуатировал остальной народ, вымогая за минимум труда максимум денег и желая поднять значение своего «товара» выше всякого другого, — этот факт доказывает английский источник вышеупомянутой мысли. Забастовка, как средство борьбы, предполагает, что нет никакого народа-государства, а есть только партии. Значит, идея свободной борьбы за заработную плату и односторонне-самодержавное установление последней после победы пролетарской партии, — марксистского, а следовательно, английского происхождения.

Прусская мысль заключается в беспартийном государственном установлении за всякий вид труда платы, планомерно изменяющейся в зависимости от общего экономического положения и в интересах всего народа, а не одного какого-нибудь класса-профессии. Таков принцип оплаты чиновников, применяемый ко всем трудящимся. Он предполагает запрещение стачек, как противогосударственного и торгашеского частного средства. Установление платы за труд должно быть изъято из рук работодателей и рабочих и передано общему экономическому совету, чтобы заставить обе стороны считаться с определенными данными, как это давно уже практикуется в других областях, хотя бы в продовольственной¹⁾.

По отношению к *природным* формам прусско-социалистического характера — марксизм не имеет смысла. Он может их отрицать и ослаблять, но, рано или поздно, они окажутся сильнее, подобно тому, как все живое и естественное быстро вытесняет все теоритическое. Зато в условиях английского национального типа марксизм оказался у себя дома; здесь его поняли лучше, чем настоящий социализм, — и с этим моментом заканчивается серьезное экономическое соперничество парламентских партий старого стиля.

Ныне экономическая противоположность образует две новые партии — денег и труда, а эту борьбу вести парламентскими средствами уже невозможно. Здесь спор идет уже не о форме, но о деле, и при нежелании подчиниться чуждому принципу — государству, как беспартийному авторитету, — возможно лишь окончательное подавление одной экономической партии другою.

¹⁾ Следовало бы подумать в этом случае о какой-нибудь такой системе, чтобы все трудящиеся — офицер, чиновник и рабочий — имели бы счет в государственном банке или сберегательной кассе, куда надо передавать все подлежащие им уплате деньги, с тем, чтобы на кредит каждому отдельному работнику, по известному способу распределения, записывалась бы сумма, соответствующая времени его службы и числу членов его семьи.

(Прим. автора).

XXI

Маркс, простым удлинением перспективы, распространил на всю историю свою, и без того очень схематическую, картину промышленной Англии, нарисованную под очень сомнительным углом зрения. Он утверждает, что его экономические построения действительны для *всего* «человеческого общества», прибавляя при этом, что они представляют единственно реальное явление в ходе истории. Здесь он напоминает Дарвина, который также исходил из Мальтуса и доказывал, что его система приемлема для «всех организмов», между тем как на самом деле, она подходит только к высшим, более похожим на человека, видам и становится нелепой, если ее частности, в роде естественного подбора, мимикрии и наследственности, применять серьезно к грибам и коралловым полипам.

Материалистическое понимание истории, рассматривающее экономическое положение как причину (в физическом смысле), а религию, право, обычай, искусство и науку — как следствие, заключает в себе, несомненно, в этой поздней стадии, нечто убедительное, потому что обращается к мышлению нерелигиозного и свободного от традиций населения больших городов, но это не потому, что экономическая обстановка была действительно «причиной», а от того, что искусство и религия утратили силу, содержание, искренность и, фактически, действуют ныне, как тени сильно развитой формы — выразительницы эпохи. И все это, от начала до конца, существенно английское, все это: религия, как *Sant*, ханжество; искусство, как *Comfort* для высшего класса и как милостыня для низшего («искусство для народа»), — проникло во все страны вместе с английским стилем жизни.

Но Гегель стоит выше, а ученик его, Маркс, — ниже уровня исторической действительности. Если оставить в стороне метафизику Гегеля, то обнаруживается политический мыслитель с таким глубоким пониманием всего реального, что новая философия не знает ему равного. Как пруссак, он ставит, в силу духовного сродства, государство в центре своего процесса развития, который он понимает глубоко, почти погетевски, с уверенностью англичанина. Маркс же делает центром своей механико-дарвинистической «эволюции» хозяйство. У Гегеля *государство создает историю, которая есть политика*. «Человеческое общество» — не его выражение. Высшие чиновники бисмарковского поколения были, в значительной части, строгими гегельянами. Маркс же мыслит историю без государства, как арену для партий, как столкновение экономических частных интересов. Материалистическое понимание истории есть ее английское понимание, ее толкование свободным народом викингов и торговцев.

Но в настоящее время для этого способа мышления уже не существует идейных предпосылок. 19-ый век был веком естествознания, 20-ый — веком психологии. Мы уже не верим во власть разума над жизнью. Мы чувствуем, что жизнь господствует над разумом. Знание людей для нас важнее абстрактных и общих идеалов; из оптимистов мы стали скептиками; нас касается не то, что должно было бы произойти, а то, что произойдет; и оставаться хозяевами фактов для нас существеннее, чем стать рабами идеалов. Логика общей картины природы, тесная зависимость между причинами и следствиями — кажутся нам поверхностными; только логика мира органического, — судьба,

инстинкт — логика, которую чувствуют и всемогущество которой видят в смене явлений, свидетельствует о глубине жизненного процесса. Марксизм — идеология. Это отражается и на его делении истории, сохранившемся у него в виде материалистического следа от христианства, после того, как угасла сила веры. От древности — через средневековье — к новому времени идет путь эволюции, в конце которой стоит земной рай — осуществленный марксизм. Возражать против этой картины не стоит. Современному человеку важно дать *новую* точку зрения, из которой — сама собой, неизбежно — вытекает новая картина. Жизнь не имеет никакой «цели». Человечество не имеет никакой «цели». Мир — нечто несравненно более высокое, чем убогое понятие, в роде «счастья большинства». Именно в беспредельности заключается все величие зрелища. Так воспринимал его Гете. Наша задача состоит в том, чтобы прожить дарованную нам жизнь так, чтобы мы могли гордиться собой; наша задача в том, чтобы в окружающей нас действительности, в которую нас поставила судьба и которую мы наполняем возможным содержанием, действовать так, чтобы от нас кое-что продолжало жить в этой завершающейся действительности. Мы — не «люди в себе». Это относится к прошлой идеологии. «Мировая буржуазия» — жалкая фраза. Мы — люди века, нации, круга, типа. Это — необходимые условия, на основе которых мы можем придать жизни смысл и глубину. Чем больше мы наполняем эти *отведенные* нам пределы, тем обширнее наше влияние. Платон был афинянином, Цезарь — римлянином, Гете — немцем; и то обстоятельство, что они были такими *вполне и прежде всего*, служило предпосылкой их всемирно-историческому влиянию.

С этой точки зрения мы сопоставляем теперь, на фоне германской революции, марксизм и социализм. Социализм — это все еще не понятое порождение прусского духа — есть часть действительности высшего порядка. Марксизм — литература. Литература стареет, действительность же побеждает или умирает. Сравните социалистическую критику на международных съездах с социалистическим фактом — с партией Бебеля. Выражение: «идеи создают мировую историю» — корыстная литературная болтовня. Идеи не высказываются. Художник созерцает их, мыслитель чувствует, политик и солдат осуществляют их. Они рождаются лишь в крови, инстинктивно, а не создаются абстрактным мышлением. Об их существовании свидетельствуют стили народов, типы людей, символика деяний и произведений, и совершенно неважно, знают ли о них, вообще, люди, говорят ли и пишут о них или нет, судят ли о них правильно или ошибочно. *Жизнь* есть Альфа и Омега; она не имеет ни системы, ни программы, ни внутреннего смысла; она существует самостоятельно, сама по себе, и глубокий порядок, в котором она осуществляется, можно лишь созерцать и чувствовать, а потом, пожалуй, описать, не разлагая, однако, на добро и зло, на истинное и ложное, на полезное и желательное.

Вот почему марксизм — не идея. В нем разумно (и потому произвольно) сгруппированы признаки и формы двух идей. Этот способ мышления — временный. Он отличался силой, потому что всякий народ пользовался им, как оружием. И притом, безразлично — понимали его люди или нет. Они действовали, потому что, при звоне слов и прочности положений, они во что-то верили. Во что? — это опять — такая непреложная идея жизни и, особенно, крови.

Теперь, после шумной, похожей на оргию, попытки к осуществлению, марксизм терпит крушение. Коммунистический Манифест является, в 1918 году, простой литературной достопримечательностью, как Contrat Social в 1793 г. Настоящий, инстинктивный социализм, являющийся выражением старо-прусского характера, заблудился в Англии и, вылившись в анти-английскую теорию, возвращается ныне к сознанию своего происхождения и значения.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

XXII

Когда-нибудь, много лет спустя, с проницательностью будут смотреть на то, что в настоящее время господствует в политической картине мира, в качестве международного социализма. Если что, действительно существует, так это *интернационал лозунгов, марксизм, как фраза*, способный только на одно десятилетие будить в рабочих всех стран чувство солидарности, да и то в гораздо меньшей степени, чем это делали до сих пор шумные съезды и самоуверенные воззвания. На самом же деле, единение ограничивается верой в его существование и фактом, что движением в одной стране вызывается движение в другой, где, якобы, помогают того же, что и в первой. Но что характерно для современной, пропитанной литературой цивилизации это то, что вожди масс, живущие в постоянном тумане теорий, все-таки могут быть носителями могучих реалистических идей. На созываемых ими съездах собираются представители английского, французского, немецкого и русского инстинктов, чтобы снова, не понимая сущности взаимных стремлений и чувств, объединиться на некотором числе тезисов, под которыми, как они верят, подразумеваются одни и те же мысли и потребности.

Как слабо влияет эта интеллектуальная действительность на реалистические стороны национальных инстинктов — показал август 1914 года, когда она улетучилась в один день от внезапного прорыва естественных, недуховных страстей. В каждой стране социализм имеет свою физиономию. Существует столько же рабочих движений, сколько есть живых, в духовном смысле, рас, и если только дело идет больше чем об общей ненависти к кому-нибудь, то они защищаются друг от друга с такою же ненавистью, как и самые народы. Есть красные якобинцы и красные пуритане, есть красный Версаль и красный Потсдам. Между Шо и Бебелем — такое же расстояние, как между Родом и Бисмарком. Все они постоянно пьют себе платье из одного и того же теоретического материала.

В мировой войне против Германии обратилась не только Антанта, но и *псевдо-социализм* союзных стран, ополчившийся на настоящий, прусский социализм в Германии. В лице кайзера подлинный социализм обнаружил самого себя, свое происхождение, свой смысл и свое положение в социалистическом мире. Бебель это почувствовал бы и сумел бы предотвратить. Его эпигоны этого не поняли. Они ездят теперь на конгрессы и еще раз подписывают Версальский договор касательно фраз и слов. Прусско-германский социализм имел своего опаснейшего противника не в немецком капитализме, носившем в себе резко выра-

женные черты социализма и втиснувшим самого себя лишь в 1917 году в английские формы, при чем он действовал, главным образом, ослаблением превосходно организованных профессиональных союзов и введением местных фабрично-заводских советов, признанием которых социалисты большинства стараются замаскировать перед массами свое влечение к либеральному парламентаризму: опаснейшим противником прусско-германского социализма было то, что на родине капитализма развивалось под названием социализма. То, что Энгельс видел своим проникательным взором, а именно — что существует *только* немецкий социализм, об этом забыли нынешние его защитники и стараются это доказать михельским раболепством перед социалистами Антанты.

В действительности, французский социализм бунта и саботажа — лишь голос чувства социального реванша, нашедшего своих Клемансо уже в восстании Парижской Коммуны; английский социализм — реформированный капитализм, и только немецкий представляет собою мировоззрение. Француз остается анархистом, англичанин — либералом, но, прежде всего, и французский рабочий и английский — сначала француз и англичанин и только затем, быть может, да и то теоретически, — сторонники Интернационала. *Прирожденный* социалист, прусский рабочий¹⁾, всегда был посмешищем для других. Он один понимал сразу серьезно, как какой-нибудь профессор — фразы Паулькирхе. Этот рабочий, который только один мог сослаться на грандиозное творение — на свою партию, благоговейно слушал других и помогал оплачивать их забастовки.

Настоящий Интернационал возможен только при победе идеи одной расы над всеми другими, а не в результате растворения всех мнений и взглядов в одну бесцветную массу. Станем, наконец, скептиками и отбросим старую идеологию. В действительной истории не может быть никакого примирения. Кто в нее верит, должен испытывать некоторый страх перед шутовской пляской событий и находить спокойствие только в самообмане. У вечной борьбы есть только один конец — смерть. Смерть индивидуума, смерть народов, смерть культур. Наша смерть еще далеко от нас — во мраке неизвестности ближайшего тысячелетия. Мы, немцы, живущие в этом веке и вошедшие своей жизнью в жизнь фаустовской цивилизации, мы храним в себе богатые, еще неиспользованные возможности и имеем перед собой огромные задачи. Для Интернационала, который непременно образуется, мы можем дать идею мировой организации, мирового государства; англичане могут дать организацию мировых трестов и мировой эксплуатации; французам дать нечего. Мы отвечаем за себя не своими речами, а жизнью. Вместе с прусским народом существует и погибнет орденская идея *подлинного* социализма. Только Церковь еще носит в себе старую испанскую всемирную идею: пасти и пещись о всех народах под сенью католицизма. Уже со времен Гогенштауфенов нам грозит опасность гигантской борьбы между политикой и мировой религиозной идеей. Но в данный момент в британском льве торжествует третья — идея викингов: мир не как государство, не как Церковь, а как добыча.

¹⁾ Глубокий смысл имеют слова Бебеля, назвавшего однажды Мюнхен Капуей германской социал-демократии. В карнавале эпохи советов он нашел бы этому подтверждение.

(Прим. автора).

Настоящий Интернационал есть империализм, господство над фаустовской цивилизацией, т. е. над всей землей при помощи одного организующего принципа; господство не путем выравнивания и уступок, а при помощи победы и уничтожения. Социализм имеет рядом с собой и против себя капитализм и ультрамонтанство, — итого, три *рода* социалистического стремления к власти: через государство, через деньги, через Церковь. Сила каждого из них кроется в политическом, экономическом и религиозном сознании мира, при чем первое старается подчинить себе оба других; это — творческие инстинкты прусского, английского и испанского человека, восходящие от духовного холода и высоты современной цивилизации, вплоть до первых людей готической эпохи, которые мечом и плугом покоряли болота Марки. пересекали в своих хрупких челноках Северное море и боролись за веру против мавров к югу от Пиринеев. Готика Марки, английская и испанская, свидетельствует о другой душе, но не французской. Эти инстинкты чрезвычайно могучи и могут даже пережить народы, в которых они создали видимые символы. Римский дух существовал еще тогда, когда уже не было настоящих римлян. Испанский дух бессилен, как народ, но как Церковь он представляет несокрушимую силу.

Таковы реальные факты, которые Интернационал съездов думает опровергнуть лозунгами Маркса.

XXIII

Худший из этих лозунгов — коммунизм. Критика его затрагивает основной и трудный вопрос о *собственности*. Здесь не место излагать его даже в общих чертах и освещать глубокую связь, существующую между собственностью и браком, между собственностью и политическим идеалом, между собственностью и мирозерцанием во всей его символической важности. Каждая из великих культур имеет здесь свой собственный язык. Западная идея собственности далека от античной, от индусской и китайской: *собственность есть сила*. Все то, что не действует динамически, всякое мертвое владение — мало значило для подлинно фаустовского человека. В этом — тайна выделения *производительной* собственности перед всяким другим, простым «имуществом». Нам редко свойственна чувственная античная радость при виде награжденных сокровищ. Гордость завоевателя, купца и игрока, даже собирателя произведений искусства, основывается на сознании приобретенной, благодаря этой добыче, *власти*. Испанская жажда золота, а у англичан стремление к приобретению земли обращаются в тяготение к собственности. В противовес этому энергичному понятию о собственности, возникает, в эпоху Возрождения и в Париже, другое — *идеал* *ренцы*. Не действие, но наслаждение; не «все», но «достаточно»; не дела, но «жизнь», — такова была конечная цель этой алчности. Кондотьеры зарылись на княжеские сокровища, чтобы иметь возможность наслаждаться праздной культурой своего века. Банкирский дом Медичи, один из первых в Европе, был далек от тщеславного стремления господствовать на мировом рынке. Людовик XIV высылал своих генералов и откупщиков, чтобы придать олимпийский блеск двору и власти Короля-Солнца. Французские дворяне в Версале были насквозь проникнуты чувствами Ренессанса. Но их культура была, однако, дина-

мического характера. Английские путешественники, вроде Юнга, изумлялись, незадолго до революции, как плохо они хозяйничали в своих имениях. Им было довольно, если они их «имели», и если их управляющие собирали им суммы, необходимые для жизни в Париже. Эта французская аристократия XVIII века представляла резкую противоположность деятельной, жаждавшей приобретений и завоеваний аристократии англичан и пруссаков. Инстинктивное стремление французского богатства к самосохранению делало его неспособным к господству на мировом рынке и к настоящей колонизации даже в великие моменты французской истории. Но *grand seigneur* 1750 года, как тип, был предшественником буржуа 1850 года, того беспечного рантье, которого только национальное тщеславие делало по временам опасным и название которого Марксу, действительно, не следовало бы употреблять для обозначения капиталистического общества.

Ведь капитал — великое слово, заключающее в себе *английское* понимание собственности. Капитал обозначает экономическую энергию: он — вооружение, с которым бросаются в бой за успех. На этой арене против французского шевалье и рантье выступают короли: биржевые, керосиновые и стальные, наслаждение которых — в сознании их экономического всемогущества. Мысль о том, что они могут, по желанию, вызвать падение курса во всем мире, что какая-нибудь телеграмма из трех слов способна вызвать катастрофу на другой стороне земного шара, что торговля и промышленность целых стран находится в сфере их личного влияния, — вот на чем покоится их понятие о собственности, о *частной* собственности. Надо уметь понимать весь пафос этого слова. Миллиардер требует себе неограниченной свободы, он хочет все решать по собственному усмотрению, он желает распоряжаться мировым положением безо всякого этического масштаба, кроме масштаба успеха. В области своей деятельности он поражает противника всеми средствами кредита и спекуляции. Трест — его государство и армия, а политическое государство — для него просто агент, которому он поручает вести войны, — как, например, испанскую или южно-африканскую, — заключать сделки и мирные договоры. Конечная цель этих подлинных властелинов — объединение всего мира в один трест: пусть остается неприкосновенным номинальное право собственности среднего человека, пусть он свободно оставляет в наследство свое состояние, как *доходный капитал*, пусть продает, пусть дежит, — и все же, экономическому значению этого *имущества, как торгового капитала*, дается, невидимо из того или иного центра, определенное направление. Таким образом, денежный магнат является собственником в более высоком смысле, так как целые народы и государства работают по его молчаливому приказу, подчиняясь его вездесущей воле. И вот, с этим понятием о собственности, в котором отразился «деловой» либерализм, встречается понятие прусское: собственность — не добыча отдельного человека, а врученная ему часть общего достояния; она — не выражение и не средство личной власти, а доверенное имущество, в управлении которым собственник его обязан отчитываться перед государством; наконец, национальное благосостояние является не суммой индивидуальных имуществ отдельных лиц, а складывается из отдельных состояний, как функций одного экономического целого. Постоянно приходится повторять великие слова Фридриха II: «Я — первый слуга своего государства». Когда каждый усвоит этот взгляд, социализм

станет фактом. Нет ничего столь резко противоположного этому положению, как девиз Людовика XIV: «Государство — это я!» Прусский народ и якобинство — это социалистический и анархический инстинкты, — на троне или на улице; это — наисильнейшая, какую только можно, вообще себе представить, противоположность в пределах Запада, и на ней покоится неугасимая вражда между обоими народами. Наполеон, на острове св. Елены, замечает: «Пруссия была для Франции помехой со времени Фридриха и ею она останется. Для моих планов относительно Франции она была самым большим препятствием».

Та форма, в которой выступает потребность французского рабочего в реванше по отношению к собственнику, является противоположностью социализма — коммунизмом в подлинном смысле этого слова. Рабочий тоже хочет быть рантье. Ему ненавистна праздность других, которой ему самому никак не достигнуть. Равенство в наслаждении, равная для всех возможность вести жизнь рантье — вот цель, лежащая в основе истинно французской формулы Прудона: «собственность есть кража». Ведь, здесь собственность означает не «власть», а *приобретенную возможность наслаждения*. Общность имущества, а не обобществление средств производства; раздел богатства («все должно принадлежать всем»), а не объединение в трест создающих ценности сил, — таков французский идеал в сравнении с английским. И ему соответствует социалистическая утопия Фурье: разложение государств на небольшие общества, коммуны, фаланстеры, объединяющиеся между собой для достижения, при минимуме труда, максимума в наслаждении жизнью.

Стремление английского низшего класса приблизиться к идеалу собственности господствующего высшего класса пытался представить Оуэн в своей своеобразной реформе капитала. Но думать, что англо-американский капитал сделает хотя бы один шаг назад на пути абсолютного экономического господства над миром, значит плохо знать мощь викингских инстинктов. Безусловная личная свобода и естественное неравенство на основе личных способностей, вытекающее из капиталистического строя, являются его предпосылкой. На место авторитарного социализма, англо-саксонский миллиардер ставит, без сомнения, широкий *частичный социализм*, благотворительность и попечение в крупном масштабе, в которых его собственная власть еще раз доставляет ему наслаждение, а принимающий их народ несет моральное поражение. За блестящим способом расходования миллионов забывают о способе их приобретения: это — манера старых корсаров, которые, пируя в завоеванном городе, бросали пленным куски со своего стола. Это *добровольное* пожертвование собственности увеличивает ее силу. И то обстоятельство, что этот акт свободной воли не превращается в законный долг, лежит в основу принципиального спора между будущими экономическими партиями в Англии и Америке. Уже в настоящее время обнаруживается готовность предоставить экономические области, непригодные для спекуляции, как например, разработку рудников и железные дороги, правительству иллюзорного государства, но, вместе с тем, ничуть не ослабляет стремление к превращению того же правительства в исполнительный орган афеизма при помощи демократических форм парламентаризма, т. е. путем оплаты расходов на избирательные кампании и на издание газет, т. е. для вербовки избирателей и читателей. Таким образом, над миром

висит грозная опасность порабощения его торговлей. Орудием последней служит ныне *Лига Наций*, другими словами, система народов, обладающих «самоуправлением» по английскому способу, т. е. на самом деле, система стран, в которых олигархия купцов, при содействии подкупленных парламентов и законов, эксплуатирует население, подобно тому, как Рим эксплуатировался когда-то при помощи подкупа сенаторов, проконсулов и народных трибунов.

Эту зарождающуюся систему разгадал Маркс, и против нее направлена вся ненависть его критики общества. Он хочет уничтожить это *английское* понятие всемогущей частной собственности, но он в состоянии формулировать только отрицание: экспроприировать экспроприаторов, ограбить грабителей. При этом, в его антианглийском принципе заключается прусский: при глубоком германском уважении к частной собственности, он желает всетаки отдать основанную на ней власть не индивидууму, а всему государству. Это — социализация. Но ее успешно развивало, с безошибочным инстинктом, еще правительство Фридриха-Вильгельма I, не смущавшееся никакими теориями, и такшло вплоть до Бисмарка, от палат государственных имуществ упомянутого короля до социальной политики железного канцлера, пока правоверные и мятежные марксисты германской революции не погубили одним ударом эту идею. Социализация не означает огосударствления путем отчуждения или кражи. Она, вообще, не касается вопроса о номинальном владении, а имеет в виду административную технику. Действовать в угоду лозунгу, стремящемуся скупать, без меры и дели, предприятия и передавать их, вместо инициативы и ответственности их владельцев, разным правлениям, утрачивающим, в конце концов, возможность контроля, — так действовать, значит губить социализм. Старо-прусская идея состояла в том, чтобы, заботливо оберегая права собственности и наследования, облечь все производственные силы в законодательную форму и предоставить страсти к предприятиям и личной энергии трудиться с соблюдением всех правил, точно опытный шахматисту, и в условиях той свободы, которая обеспечивается именно господством регламентации. Это применялось в широкой мере уже по отношению к старым партиям и синдикатам и должно было постепенно распространиться на способы работы, на расценку труда, на распределение прибыли и на служебные отношения между административными и исполнительными элементами. Социализация обозначает медленное, завершающееся лишь в течение десятилетий, превращение рабочего в экономического чиновника, предпринимателя — в ответственного администратора-чиновника с очень широкими полномочиями, собственности — в некоторого рода наследственный лен в духе старого времени, с определенной суммой прав и обязанностей. Экономическая воля остается свободной, как воля шахматного игрока, и только деятельность принимает правильный ход. Прусский тип чиновника, первого в мире, был выработан Гогенцоллернами, и его переходящие по наследству социалистические способности ручаются за возможность социализации. Вот уже двести лет, как он является носителем метода для решения задачи социализма. В этот тип должен будет отлиться рабочий, когда он перестанет быть марксистом и начнет, благодаря этому, делаться социалистом. «Государство будущего» — государство чиновников. Это — неизбежное и окончательное состояние, вытекающее из предпосылок нашей, уже установившейся, в смысле направления, цивилизации.

Социализм миллиардеров тоже превратил бы, незаметным образом, народ в армию частных чиновников. Крупные тресты являются уже теперь частными государствами, под протекторатом которых находится государство официальное. Но прусский социализм обозначает *объединение* всех хозяйственных государств и отдельных специальных отраслей в одно общее государство. Спор между консерваторами и пролетариями сводится, в сущности, не к вопросу о необходимости этой авторитарно-социалистической системы, от которой можно бы избавиться лишь установлением американской (желание немецкого либерализма), но к вопросу о высшей власти. Повидимому, в настоящее время существуют возможности социализма сверху и снизу, — тут и там в виде диктатур. Но на самом деле, обе они постепенно вылились бы в одну и ту же окончательную форму. В данный момент этого еще не признают, потому что обе стороны приписывают решающую роль конституции. Но важны не тезисы, а личности. Если вождям рабочих не удастся в короткое время проявить требуемые от них высокие политические способности, то их сменят другие. В организации, принципиально уничтожающей разницу между рабочим и чиновником и открывающей каждому правоспособному человеку урегулированное поприще для работы, начиная с самых низких ступеней до надсмотрщика и далее, вплоть до управления какой-нибудь хозяйственной единицей, — в такой организации, под руководством прирожденного государственного мужа, должны будут, в конце концов, совпасть консервативные и пролетарские конечные цели: полное огосударствление экономической жизни, но путем не отчуждения, а законодательства. Высшее управление не может быть, однако, республиканским. Если устранить все иллюзии, то республика означает ныне исполнительную власть, продающуюся частному капиталу. Сила частного капитала сталкивает вместе принципы социалистический и монархический. Индивидуалистический идеал собственности сводится к подчинению государства свободным экономическим силам, другими словами — демократии, т. е. подкупности правительства частным богатством. В современной демократии вожди масс стоят лицом к лицу не с руководителями капитала, но с самими деньгами и с их анонимной властью. Вопрос в том — много ли найдется вождей, способных противиться этой силе? Если хотят знать, чем отличается не очень молодая и сознающая потому свои достоинства демократия от той, которая существует в умах идеологов, надо прочесть книги Саллюстия о Катилине и Югурте. Несомненно, нам предстоит пережить римские условия, но их влияние и действия могут быть смягчены монархическим и социалистическим порядком.

Таковы три идеала собственности — коммунистический, индивидуалистический и социалистический, — ведущие ныне упорную борьбу и стремящиеся к трем конечным целям: к разделу, к объединению в трест и к управлению всей производительной собственностью мира.

Перевел с немецкого

А. Горлин

ЛИТЕРАТУРА

СТРИНДБЕРГ И НИЦШЕ.

После смерти Стриндберга прошло уже не мало времени. Литература о нем возрастает с каждым днем. Но исчерпывающего труда о его жизни и деятельности все еще не имеется, так как до сих пор не обнародованы многие его произведения. Обширная переписка Стриндберга могла бы пролить новый свет на историю развития его мысли, но и она все еще недоступна исследователям.

Поэтому с таким интересом встречена в Германии маленькая книжка Карла Штрехера, напечатанная в Мюнхене, «Ницше и Стриндберг», заключающая переписку обоих писателей. Издатель очень добросовестно справился с возложенной на него задачей. Он хороший знаток всех сочинений Ницше и Стриндберга и лично знал последнего. Переписка Стриндберга с Ницше продолжалась всего несколько недель. Ницше до 1888 г. был еще совершенно незнаком с произведениями шведского писателя. В апреле этого года Георг Брандес пишет ему: «Если вы читаете по-шведски, я обращаю Ваше внимание на единственного гения, которого имеет в данный момент Швеция — на Августа Стриндберга. В том, что он пишет о женщинах, много общего с Вашими взглядами».

Начало переписки положил Ницше письмом, написанным в ноябре 1888 года, в котором просит Стриндберга указать ему кого-нибудь, кто взялся бы перевести его на французский язык.

«Я непременно хочу, чтобы меня читали во Франции. Я самый независимый и, пожалуй, самый сильный ум из всех ныне существующих; я призван к великому подвигу и никак не могу допустить, чтобы произвольные границы, воздвигнутые династически-национальной политикой между народами, препятствовали тому, чтобы немногие, прислушивающиеся к моему слову, вошли бы со мною в контакт. И я признаюсь откровенно: более всего я желал бы быть известным во Франции. Мне не безызвестны явления французской духовной жизни; говорят, что, в сущности, я пишу, как француз, хотя и по-немецки, в особенности в своем «Заратустре» я достиг такого совершенства, какого до меня никто в Германии не достигал. Да и никакой немец, кроме меня, не способен его достигнуть». В письме встречаются еще следующие характерные для Ницше слова: «Считаю необходимым заметить, что предки моего отца происходили из знатного польского рода, а моя бабушка была родом из Веймара эпохи Гете — достаточные причины, чтобы я был в данную минуту самым одиноким немцем».

Можно себе представить впечатление, произведенное на Стриндберга этим письмом: Стриндберг до конца своей жизни оставался пламенным поклонником Заратустры. Он тотчас же написал Ницше такое письмо:

«Несомненно, что Вы подарили человечеству самую глубокомысленную книгу, какая только есть у человечества. Более того: Вы имели мужество кинуть в лицо этим жалким человечкам чудные великие слова. Благодарю Вас за них! В последнее время я заканчиваю все письма к своим друзьям словами: «Читайте же Ницше!» Это мое — «Карфаген должен быть разрушен!»

Письмо заканчивается столь характерными для Стриндберга словами: «Во всяком случае Ваше величие с того момента, как Вы станете известны и как Вас поймут, будет тут же загрязнено, и милая толпа будет считать Вас гунном. Вам более приличествует занять благородную оборонительную позицию и дать возможность нам, десяти тысячам избранных, предпринять тайное паломничество к Вашему святилищу, чтобы получить вдоволь упоение, исходящее от

Вашего величия. Разрешите нам сохранить в чистоте тайное учение и распространять его, прибегая исключительно к помощи избранных учеников. От имени этих учеников я подписываюсь: Август Стриндберг».

Неудивительно, что получив это письмо, Ницше писал Петеру Гасту: «Это было первое письмо, написанное в историко-мировом тоне, которое я получил». Ницше проживал в то время в Турине. Он работал с лихорадочной поспешностью, как бы предчувствуя близкий конец своей деятельности. Летом того года он закончил «Переоценку всех ценностей», и теперь работал над «Анти-христом», над «Ессе Номо» и заканчивал «Ницше против Вагнера». Это было незадолго до катастрофы.

Стриндберг переживал тяжелое время в своем уединении в Гальте, близ Копенгагена, где закончил, между прочим, своего «Чандалу». Он был под всеподавляющим влиянием Ницше, как видно из этой повести и из его романа «У открытого моря». Но для его мятежного духа скоро это уединение стало нестерпимым, и он снова начал скитаться по свету.

Вместе с последним письмом Стриндберг послал Ницше свою драму «Отец» с предисловием Золя. Золя придерживался мнения, что анализ в пьесе был слишком сжатым и писал, между прочим:

«Вам, быть может, известно, что я не поклонник отвлеченности. А Ваш капитан, у которого даже нет имени, Ваши прочие действующие лица, которые почти сплошные абстракции, не дают мне полного чувства жизни, которого я требую. Но тут, между Вами и мною — несомненно расовое различие».

Такие банальности могли только раздражительно действовать на гениальную натуру Ницше. «Собственно, я огорчен этим предисловием, хотя я и не желал бы, чтобы оно осталось ненапечатанным: уж слишком оно очаровательно-наивно. То обстоятельство, что Золя — «не поклонник отвлеченности», напоминает мне какого-то немецкого переводчика Достоевского, который был также «врагом отвлеченности», в результате чего он попросту выкинул «аналитические резюме», пришедшие ему не по вкусу. Но ведь Золя не способен отличить типов от абстракций! Он требует «полный гражданский штат» в трагедии! Я сотрясаясь от смеха, прочитав в конце его замечание о «расовом различии». До тех пор, пока во Франции был остаток вкуса, там как раз избегали того расового инстинкта, которого желает Золя, ибо именно латинская раса протестует против Золя. Ведь, в конце концов, это — современный итальянец, поклоняющийся веризму».

В следующем письме Ницше обращается к Стриндбергу с просьбой перевести на французский язык только что законченный им «Ессе Номо». Он восторженно отзывается о французском языке Стриндберга и считает, что Стриндберг единственный способен перевести «Ессе Номо». Уже это письмо свидетельствует о крайней возбужденности Ницше. В тоне его уже чувствуется приближение катастрофы, наступившей через несколько недель. Его мысль лихорадочно разбегается; он поглощен массой планов.

«Чтобы предохранить себя от немецких грубостей (конфискации), я до выпуска в свет пошлю два первых экземпляра Бисмарку и молодому императору с письменным объявлением войны. Военные не должны будут ответить на этот вызов полицейскими мерами. Ведь я психолог».

Ответ Стриндберга на это письмо является новым свидетельством того, как сильно он страдал от непонимания своих близких и современников. Он крайне смущен неуспехом своего «Отца», за которого не получил даже гонорара и при представлении которого публика с диким ревом покинула театральный зал. Он согласился бы перевести «Ессе Номо», но лишь за очень значительный гонорар. «Вы должны понять, что для меня перевод Вашей книги — важный денежный вопрос. Так как я — бедный парень (жена, трое детей, двое слуг, денежные долги и т. п.) я Вам не могу уступить в этом вопросе, тем более, что я намерен переводить этот труд как поэт, а не рутинный переводчик по призыванию. Если денежные издержки Вас не утруждают, Вы можете рассчитывать на меня и мой талант».

Несколько дней спустя, Стриндберг получает «Генеалогию морали». Как его должно было поразить ее начало, столь соответствующее его собственным воззрениям: «Наш клад там, где стоят ульи нашего постижения. Мы, которые по своей природе — крылатые и собиратели умственного мира, постоянно летим к ним, и все наши сердечные пожелания направлены исключительно к тому, чтобы «принести добычу в свой улей».

Судьба, однако, не допустила, чтобы дружба Ницше и Стриндберга получила свое дальнейшее развитие, так как благодарственное письмо Стриндберга с его пожеланиями к Новому Году застало Ницше уже после катастрофы.

Переписка все же продолжалась еще некоторое время. Нидше писал Стриндбергу: «Вот вкратце мой ответ на Вашу повесть: она звучит, как пушечный выстрел. Я пригласил собрание правителей в Рим, я намерен застрелить молодого императора. До свидания, так как мы встретимся с Вами. Одно условие: Развод.— Нидше — Цезарь».

Стриндберг переслал это письмо Брандесу с пометкой: «Мне кажется, что Нидше смеется надо мной». Приходится предположить, что он не догадывался об истинной причине этого странного послания — о сумасшествии Нидше. Психологически-интересным является ответ Стриндберга на это письмо Нидше, написанный наполовину по-гречески, наполовину по-латыни.

«Я — неистовствую. Ваше письмо меня очень встревожило. Любимый, Вы должны еще жить, если Вы все еще несетесь по открытым морским пространствам и, не содрагаясь в ужасе перед бурей, не подходите слишком близко к обманчивым берегам.

Да возрадуемся же по случаю безумия!

Будте счастливы и оставайтесь постоянно преданным Вашему Стриндбергу (лучшему, высшему божеству)».

На это письмо последовало несколько бессвязных слов Нидше:

«Что же! более не «развод», Распятие».

Вот как закончилось столь кратковременное знакомство Нидше и Стриндберга.

Последующее известно. Для Нидше наступили долгие годы беспросветного homelessness, а для Стриндберга — еще более долгие годы кипучей литературной деятельности и борьбы, мучений и скитаний, всевозможных исканий и наконец — смерть в лоне католической церкви.

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АНРИ ДЕ-РЕНЬЕ.

H. de Régnier. L'illusion héroïque de Tito Bassi. Paris. M. de F. 1916.

Histoires incertaines. P. M. de F. 1919.

La Pécheresse. P. M. de F. 1920.

23 декабря А. де-Ренье исполнилось 58 лет. У него в прошлом почти четыре десятилетия литературной работы.

Характер его дарования отвечает тем сторонам французской души, которые сами французы больше всего в себе ценят, усматривая в них квинтэссенцию своего эстетического уклада. Это тот самый «логический темперамент», «логический инстинкт», который в условиях XVII в. нашел свое ясное выражение в классической литературе, так неполно и односторонне понятой Европой XVIII в.

А. де-Ренье ценен этим специфическим и чисто-французским влечением к гармонии и классицизму, которые он сумел осуществить в наши дни в обстановке борьбы за символизм и новую экспрессию в лирике и романе. Тут его художественный подвиг и заслуга.

Пред нами современное проявление великого дара ритмического и расчетливого движения чувств, такого, в сущности, загадочного для всех нероманских народов! Этот дар создал искусство А. де-Ренье.

Его тайна — искусство дистилляции, соразмерности и последовательности. Художник ведет рассказ тихим, почти потухшим голосом, без энтузиазма, но сильно и сдержанно; мы испытываем воздействие тончайших и осторожных намерений и принуждений, ведущих нас по верному и узкому пути.

Он из той же семьи, что Расин, Мавиво, Стандал, Фромантен. Он занят миром душ и обращает их в высокое искусство.

Таковы особенности манеры Ренье, изображающего в романе во взвешенных и выверенных формах деликатную, сердечную драму или в небольшой новелле переливающего в нас капля за каплей лирические, утонченные потрясения чувств.

Круг идей, образов, выбор сюжетов и там у него предопределен и устойчив. Нас не удивит поэтому, что и в последних его книгах — снова XVII и XVIII вв., старая Франция, вдохновительная красота городов Италии, из которых на первом месте неисчерпаемая в оттенках, такая вечная в своих явлениях и хрупких формах Венеция.

«Героические мечтания Тито Басси» — история жизни воображаемого автора, записавшего ее в октябре 1773 г. Герой не реальное лицо, это идеальное излучение тихой Виенны, города дворцов, Олимпийского Театра и вилл Палладио. «Тито Басси родился в Виенне и из самой Виенны», — говорит нам автор. У него героическая душа, мечтающая о подвигах и опасностях, а тело его и движения уморительны и забавны, но он не знает об этом и с горестным удивлением встречает неудачу выступления в роли Цезаря, узнает про свой недолговечный комический талант, вскипает и очаровывает публику своим гневом под ударами палок Арлекина и Брицеллы. Даже настоящая любовь, ревность, покушение на убийство жены, смертный приговор, все в его судьбе теряет серьезный и героический характер, служит на потеху веселой публике. То, что кажется нам неярким и незаконченным в обрисовке Ренье, на самом деле есть соответствие основному замыслу: Тито Басси проходит пред нами, как неясная, милая тень, нежная и трогательная, как Виенна, откуда вызвала ее фантазия поэта.

В начале романа мы кратко предупреждены о главных событиях истории: рассказчик не боится предвосхитить эффект, так как главное не в катастрофе, а в неспешном и выдержанном раскрытии искусно оживленной души Тито Басси.

Пристрастие А. де-Ренье — ставить в центре романа ординарное, мало-замечательное лицо — характерная черта его повествования. При всех вариациях, которым подвержена эта фигура в зависимости от перемены веков и стран, самая потребность в ней есть для Ренье — величина постоянная. Очевидно, он нормирует ширину и глубину охвата темы и отвечает ресурсам психологического анализа, не знающего банальности, но и не потрясающего читателя годовокружительностью прозрений.

В томике «Нежных повестей» мы дважды встречаем скромного любителя искусств, обеспеченного, но небогатого человека, болезненного, мягкого и нежного. В новелле «Встреча» (L'entrevue) это непоказывающий себя парижанин, давнишний поклонник Венеции, приезжающий сюда после надомлившей его организм какой-то сердечной драмы. Его нервы беспокойны, он ищет тишины и одиночества. От старого друга венецианца он узнает о таинственной пропаже из музея хорошо известного ему бюста XVII в. Потом он снимает ветхий палаццо, живет там и неожиданно открывает портрет прежнего владельца, оказавшегося моделью пропавшего бюста. При свете свечей, он начинает видеть незнакомца в зеркале своей комнаты, откуда тот движениями показывает, что хочет узнать поближе нового обитателя своего дворца... Заключение рассказа происходит в больнице: герой в постели с повязкой на голове. Доктор объясняет, что на него упало зеркало, разбившееся вдребезги. Друг венецианец дополняет это известием, что статуэтка нашлась, но с небольшим повреждением: ее должно было уронить, так как теперь на ней появилась трещина.

Мистический пафос повести не силен и только углубляет интимное ощущение Венеции, воспоминания о кабалястике Годди, подчеркивает состояние легкого перевоза, неотделимо-связанного с близостью прекрасных, доживающих свою жизнь старых вещей.

Вечные старинные присутствуют и в двух остальных очерках: «Запертый павильон» (Le pavillon fermé) хранит пастель Ла Тура, изображающую прекрасную Сабин де-Найи, мелькнувшую в размышлениях рассказчика, от лица которого ведется повесть. Владелец фамильного портрета не допускает к нему посетителей. Только после вторичной попытки, и то в отсутствии хозяина, желание исследователя исполняется. «Под старым, почерневшим стеклом бледно обозначились неверные краски, несколько смутных контуров, что-то в роде тени какого-то облика, на что я смотрел с меланхолией и волнением — прекрасная Сабин де-Найи, почившая дважды — разрушившись в своей брэнной плоти и разрушившись в цветной пыли, где она пережила себя надолго и где был теперь один неясный пепел и ее формы и ее красоты».

Совсем в ином роде последняя новелла «Марселлина или фантастическое наказание», построенная курьезно и остро, структура которой раскрывается на двух последних страницах.

Начало и конец разделены одной ночью, закончившейся ссорой супругов, путешествующих по Венеции, где скромный чудаковатый и фантазер, купив перед отъездом во Францию за большую сумму ненужную игрушку — старинный театр масок. Эта покупка вызвала размолвку между Жаком и положительной Марселлиной. Нервность и фантазия Жака превратили осадок неприятной сцены в кошмар, где он видит, как коварная Марселлина проводит его сумасшествие

и добивается того, что его, связанным, перед отправлением в лечебницу, относят на чердак. Там при свете луны Жак видит сосланный под крышу кукольный театр. Маски оживают, приходят на помощь несчастному и вешают злодейку-супругу на театре, подвесив ее вниз головой на тонкой бечевке. Пробуждение от сна вносит мир в душу Жака, и он отказывается от разорительной еще не взятой из магазина покупки.

Сцена у антиквара Барлотти, ловко обошедшего робкого ценителя старинных, и гневное поведение Марселины так искусно поставлены впереди рассказа героя о себе, о его воспитании, юности и женитьбе, что при чтении пред нами проходит, казалось бы, сплошная, реальная нить повествования, и мы внимательно следим за печальными перипетиями неудачника Жака. Венеция играет в рассказе роль аксесуара, а вся сила экспрессии сосредоточена на криминальных происшествиях Марселины и на фантазмагории оживающих масок.

Самой крупной и значительной из последних вещей А. де-Ренье является роман «Грешница» (*La Pêcheresse*), место действия которого, Франция второй половины XVII в.

Грешница — вторая жена простодушного г-на де-Сегирана, посвятившего свою жизнь одному важному делу — оставить после себя продолжателя рода.

Отец-гуленот привил ей вкус к теологии, и юная девушка надела не мало хлопот опекунам, воспитавшим ее после смерти старика, своими отказами принять учение католической церкви. Такая странная культура определила склад и судьбу ее трагической любви. Бурное чувство, завладевшее ее существом, было воспринято ею, как обжигающий, неукротимый огонь чувственности. В господине де ла Пежоди, небогатом дворянине, покорившем всех виртуозной игрой на флейте, околдованной дамой необъяснимым физическим очарованием, атеисте и либертине — она увидела одно только средство погасить пожирающий пожар, орудие тем более годное для цели, что преданная греху душа его уже при жизни предопределена была аду. Окутав свое чувство туманом казуистики, она жадно отдается преступлению страсти. Но вот героиня делается предметом вздохов самовлюбленного и нахального мальчишки, Паламеда д'Эскандо, порочного любовника старого моряка, г-на де-Морморана, младшего брата ее мужа. Паламед выследил визиты де ла Пежоди и неожиданно явился ночью в спальню и потребовал от г-жи де-Сегиран уплаты за тайну — ее любви. Спрятанный было де ла Пежоди в бешенстве убивает дерзкого поклонника... Катастрофа, животная ревность моряка, улика (найденные в саду ножны от шпаги Пежоди), подсылающая подозрение, что искусный музыкант отбивал у Морморана ласки Паламеда. Де ла Пежоди ни единым словом не выдал возлюбленной, и был осужден на галеры за позорные нравы и убийство. После катастрофы г-же де-Сегиран кажется, что она изжила свой грех и она равнодушна к судьбе возлюбленного. Ей довелось увидеть его еще раз на галере у Морморана, где его мучил и бил неумолимый ревнивый старик. Под конец она узнает о гибели галеры, Морморана и де ла Пежоди, расставшегося с жизнью героически и пожалевшего только о том, что его, страстного поклонника женщины, опозорили порочной сплетней. Но и тут она осталась спокойной.

Правда ее любви открылась, когда, забеременев, к великой радости мужа, г-жа де-Сегиран, давно не бывшая у службы, отправилась в церковь и там, молясь перед скульптурным «Снятием со Креста», заметила, как фигура Христа преобразилась, и была заслонена «другим телом, другими членами, другим лицом». «Ах, она ясно узнавала его, призрак своего желания, орудие своего греха, любовника своих преступных ночей». Грех не умер, «он снова вставал в ней неистовый и живой, неукротимый, неуловимый, как жизнь, покоряющий, как любовь». Возлюбленный вытеснил и прогнал лик самого бога. Потрясенная, она покинула церковь, зацепилась о порог и тяжело ударила животом. Через несколько дней г-жа де-Сегиран скончалась.

Протокольный пересказ журнальной заметки не может дать адекватное ощущение от романа Ренье. Фабула жизненна и интересна, но она делается такой от особой атмосферы, становится естественной и убедительной от незаметных, казалось бы, деталей, мелочей, навязываемых нам старых привычек, взглядов и вкусов, тиков и гримас эпохи. Такое гипнотическое воздействие свойственно вообще романам Ренье. Показателем силы его таланта является то, что переживания героини мы воспринимаем не как абстракцию чувства, а как неизбежную судьбу; мы покоряемся и следуем законности ее душевного уклада. А. де-Р. показал нам странную живучесть такой далекой и ненормальной для нас психологии казуистов XVII в., владеющей героями, и сделал это без всякой тенденции, навязчивости и претензий.

Она жива, эта странная г-жа де-Сегиран, и вместе с тем, со всей картиной романа, она по ту сторону рамы; все движения ее души, страдания и муки проходят в отдалении, и автор заботливо держит нас на почтительном расстоянии от своих персонажей. От этой особенности выигрывает и фигура г-на де-Пежоди, резкости и динизм которого так облагородились в стихии любви — гордого и молчаливого поклонника, чудесного флейтиста, страдающая фигура которого затмила для «грешницы» лик израненного Христа.

Флейта, редкий дар владеть людьми и звуками, маленький рост, что-то дьявольское, крепкое, нечеловеческое в жизни и в облике, капризное и сильное обаяние личности дают возможность увидеть, что пред нами, в обстановке Франции XVII в., является воплощение воспетого поэтом в поэме «*Le Sang de Marsyas*» сатира Марсия.

Вряд ли следует задавать вопрос, для чего это, или искать соотношений между образами, искать мифологии за фигурой и в антураже г-на де ла Пежоди. Очевидно, неисчерпаемая жизненность XVII в., ее стихийная сила, сдержанная каким-то органическим ритмом, потребовала для своего выражения родственного облика Марсия, тем более, что это демоническое проявление силы «наказано» одинаково трагическим образом.

Что обозначают новые произведения А. де-Ренье в общем итоге его художественной работы?

Самые свойства его таланта не позволяют говорить об ослаблении той или другой стороны дарования: А. де-Ренье, очевидно, не станет писать плохих произведений, а остановится сразу, как... Расин, почувствовав, что исток его вдохновения мутнится и темнеет. Но до сих пор это та же сила и тот же дар, что и раньше, и новое следует искать не в попытках выйти за пределы своего искусства — их нет; его следует усматривать в усложнении и в большей трудности задач, требующих строгой четкости и полной виртуозности изобразительных средств. Робкая фигурка Тито Басси, ее типичные переживания изображены с почти музыкальной грацией и нарастанием; повесный материал, ускользающий от пластической обработки, мастерски дисциплинирован и расчленен. Трагический эпизод ни на минуту не заслоняет забавной шалости его страданий, и, читая о них, мы чувствуем себя невольными приспешниками и пособниками его мучителей. «Неверные повести» своим заглавием прекрасно показывают, какую меру «таинственного» берется изображать Ренье. Тем не менее он еще не ставил этих тем в таком диапазоне, как в «Марселине», где осторожной рукой он пробует качнуть твердые границы реальности и сейчас же обращает рассказ в грациозную и милую шутку.

Наконец «Грешница» достойно продолжает галерею женских портретов, законченную Лор де-Лерэн (*L'Amphibène*) и Ромэн Мирмо (*Romaine Mirmault*) и является полным утверждением искусства, в котором так трудно решить, где кончается вдохновение и где вступает в права непогрешимый артистический расчет.

Б. Кржевский

К ВОПРОСУ О КРИЗИСЕ РОМАНА

О том, что современный роман на Западе переживает сейчас кризис, свидетельствует удивительное совпадение между приблизительно одновременно появившимися статьями трех критиков, в Англии, Франции и Италии, не только согласно констатирующих этот кризис, но и в точности одинаково определяющих характер его.

В статье «Будущее английского романа», в «*Athenaeum*», № 1, *Миддлтон Марри* устанавливает некоторые вехи. После того, как английский роман долгое время культивировал фабулу и искусство рассказа в целях живописного эффекта и занимательности, он обратился, с конца XIX века, к психологическому анализу. Но для правдивости и проникновенности последнего нет лучшего материала, чем самонаблюдение. И вот, роман стал в том или ином смысле «автобиографическим»: автор излагает лишь то, что проверил на своем собственном чувстве. Так было до 1914 года. Но после происшедшего за ним мирового сдвига, рассказ о собственной душе стал казаться слишком мелким, ничтожным. Явилась потребность осмыслить жизнь.

в целом, дать новую концепцию ее. Одни избрали путь того же самоанализа, но углубленного и осложненного непосредственными впечатлениями, даваемыми жизнью (Джойс, мисс Ричардсон). Другие избрали иной путь, идущий от Бодлера и еще более от Чехова — путь более объективного восприятия жизни, но с помощью символизации ее явлений (мисс Мансфилд). Путь этот, однако, так труден, что даже Чехову на нем не удалось создать настоящего романа. Трудность — в создании фабулы, которая бы не стесняла, не фальсифицировала нового осмысляющего чувства жизни, но органически воплощала его. Пока же — печальное разделение: одни художники ставят себе высокую цель, но не в силах подчинить ей сюжет, другие обладают сюжетом, но он служит у них ничтожным целям.

Французский критик *Марсель Батийя* (Batillat), в статье «Современный роман как декоративный синтез жизни», в «La Revue de l'Époque» за апрель, вспоминает формулу В. Гюго: «Всякий роман состоит из равных частей — угаданного, наблюдаемого и рассказанного» (третье предисловие к «Гану Исланду»). С тех пор, при переходе от романтизма к реализму «угаданное» или «созданное воображением» почти сошло на нет: все место заняло «наблюдение». Далее и оно утратило свой характер, постепенно приняв оттенок «символа». Сейчас все это исчерпано. Господствует «хроника злободневных событий», роман приключений, фантастический, псевдо-сентиментальный и т. п. Всюду — отказ от высоких задач и осуждение. В общем, то же расщепление: либо дешевая фабулистика, либо высокий порыв, бессильный овладеть сюжетом. Между тем, роман должен быть по преимуществу «вечным» и всегда обновляемым лирическим и декоративным истолкованием жизни народов и красоты мира.

Наконец, то же самое констатирует *Л. Тонелли* в статье «Современный итальянский роман» (в «L'Italia che scrive», № 10). Всюду торжествует бульварная фабулистика, тогда как писатели-психологи и мыслители не в силах создать истинного романа с живым, творческим сюжетом. «Где преемники Верги, Фогатцаро, д'Аннунцио? — меланхолически заканчивает он свою статью, — Дедеда и Панзини еще пишут сейчас, но они уже стары»...

А. С.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

При слове «швейцарская литература» образованный читатель припоминает лишь имена тех урожденных швейцарцев, которые писали лишь на литературном языке своих соседей — немцев: Готфрида Келлера, К. Ф. Мейера, Пер. Готхельфа, пожалуй, еще Карла Шнитцлера, с тех пор как он получил нобелевскую премию в 1919 г. Между тем, существует довольно обильная и безинтересная литература, за последнее время крепнущая и разрастающаяся, на национальных швейцарских наречиях, т. е. на местных диалектах немецкого, французского и итальянского языков.

Пропаганда ее посвящено несколько изданий, вышедших в Швейцарии в текущем году. Сборник *Роберта Фази* (Faesi) «Гельветская антология» содержит, наряду с произведениями авторов, пишущих на немецком (К. Шнитцлер, Ад. Фрей), французском (Анри Спизес) и итальянском (Фр. Кьеза) литературных языках, также и написанных на местных наречиях (напр., на немецко-швейцарском — М. Линерта). С последним наречием основательно знакомит книга *О. Грейера* «Швейцарско-немецкое наречие: старинные образцы его».

В своих книгах «Молодая Швейцария» и «Письма о швейцарской литературе» (пока вышел первый том, вскоре ожидается второй) *Эд. Корроди* призывает своих земляков-писателей освободиться от исключительной разработки идиллических сельских мотивов — воспевание гор, пастбищ и т. п. в стиле Г. Келлера — и отразить достойно то более богатое содержание, которое несомненно есть в швейцарской национальной жизни. На этот путь уже стали многие писатели, разбираемые в статьях Корроди: сильный эмоциональный поэт К. Штаммлер, драматург Макс Цульвер, представитель реалистической повести Я. Шаффнер, автор повел (под влиянием Достоевского) А. Стеффен и др.

НОВОСТИ ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Новейшая польская литература, ранее группировавшаяся вокруг известного журнала «Химера», ныне раскололась и обелуживается двумя журналами — «Zdziej» и «Skamander». Первый тяготеет к экспрессионизму и в критике признает только формальный метод. Второй журнал пытается посадить новое течение, название которого производит от слова *populus* — народ. «Популисты», повидимому, немного сродни нашим имажинистам. По крайней мере, их шумные и весьма непринужденные выступления («на улиду!» «в массы!») и разного рода фонетические новшества очень напоминают Шершеневича и Мариенгофа. Академики скромно приютились в журнале «Nowy Przegląd Literatury», а за последнее время в варшавском ежемесячнике «Początek» («Возрождение»). Среди множества совершенно новых имен критика отмечает *Анджея Стругу*, выступившего с большим и сильным романом «Деньги» из жизни американских миллиардеров, которые проводят свою жизнь между горячей деловитостью Нью-Йорка и туризмом по Швейцарии, между воровством и филантропией. А. Стругу сейчас ставят на первом месте. Последнее его произведение посвящено войне и называется «Могилы неизвестного солдата».

В беллетристике уделяется внимание и России, но достаточно привести одни заголовки романов, чтобы судить о степени приязни к нам: «Преступление» (К. Здиховский), «Бешеные собаки» (П. Бандровский) и др. Из старых писателей с большой похвалой отзываются о *Вальде Беренте*, который после долгого молчания выпустил «европейский» роман «Живые камни», отражающий новые идеологические тенденции.

Среди поэтов выделяется *Юлиан Тувим*, выпустивший три тома стихов. Отмечают в его творчестве несколько странное, хотя и обычное для нашей эпохи замысловатое сочетание — неподдельную лирику и озорство. Тувим еще известен как переводчик Бальмонта и Брюсова. Кстати, о переводной литературе. В Польше в этом направлении совершается сейчас колоссальная работа. Помимо того, что переводятся все выдающиеся иностранные новинки, заново переведены «Фауст», Мольер, Рабле, Шекспир, затем вышли переводы итальянских классиков, немецких и др. Переведены также Омар Хайям, Овидий, Тагор, китайские лирики и др.

В. И.

ФРАНЦ ГЕЛЛЕНС

Среди молодых фламандских писателей, пишущих на французском языке, видное место принадлежит *Францу Гелленсу*, выступившему в этом году с «негритянским» романом «Басс-Бассина Булу», который, однако, несмотря на свои достоинства, не может быть причислен к произведениям, отражающим лучше всего самобытное дарование писателя. В данный момент негры и все негритянское — литературная мода: всем памятна шумиха, которую возбудили «Батуала» Рене Марана и «Самба Дюф» братьев Таро. Трудно предположить, что сюжет и даже самое заглавие романа Гелленса не вызваны, до известной степени, желанием произвести сенсацию. Впрочем, сюжет «Басс-Бассина-Булу» ничего не имеет общего с сюжетами романов Марана и Таро. Он скорее навеян теми романами таинственных приключений, которые так усердно культивирует молодое литературное поколение Парижа. Сюжет романа вызван интересом современного европейца не столько к литературе негров, сколько к их пластичному искусству, которое является одним из последних страстных увлечений некоторой части европейского общества. Роман этот — история фетиша из Конго, под чары которого подпадает молодой французский писатель-невротик.

Среди молодого поколения фламандских писателей Франц Гелленс всегда более других подхватывал и своеобразно передавал самые последние течения современной французской мысли. С 1920 г. он состоял главным редактором журнала «Сигналы Франции и Бельгии», столбцы которого были открыты французским «экстремизмам», в том числе Блэзу Сандрару, поместившему в нем кинематографический роман, печатание которого было прервано вследствие прекращения журнала. В данный момент он — главный редактор другого журнала «Зеленый Диск», сотрудниками которого тоже являются французские «экстремисты».

Творчество Гелленса можно разделить на два периода: до-военный и после-военный. В первом из них преобладает болезненно-развитая фантазия, во втором — столь же болезненно-развитое умственное напряжение. Его до-военные книги носят ярко выраженный провинциально-фламандский характер, как вообще творчество многих бельгийских писателей того времени.

Первый роман Гелленса называется «В мертвом городе». Вся книга состоит исключительно из описаний, но эти описания лишены всякого натурализма. Автор впитал в себя впечатления Гента, которые переплетаются с его юношескими и в то же время болезненно-уточенными, лихорадочно-возбужденными чувствами. В этом отношении роман отчасти напоминает «Теплиды» Метерлинка, хотя он наивнее и атмосфера его свежее. Но в этом литературном дебюте уже отчетливо выступает одно из самых выдающихся качеств Гелленса — богатство фантазии, которую он умеет облачать в своеобразные поэтические образы.

Мысль Гелленса богата и оригинальна, но крайне импульсивна. Отсутствие рассудочности придает ей искрящийся блеск.

Вторая его книга «Недоступные ветру» — ряд галлюцинаций, в которых гораздо больше контроля над самим собой, чем было в первой книге. Автор все еще окутан провинциальной атмосферой, в которой вращается, но все же видит возможность высвободиться из нее. Тон этих очерков — крайне пессимистичен и свидетельствует о полном отрезвлении автора от юношеских исканий.

Следующая книга «Скрытые свечения» является радостным возрождением к новой жизни. В ней фантазия Гелленса облачает все окружающее в блестяще-радостные тона. Земля и небо сливаются в его душе воедино. В нем такое изобилие внутренней радости, что она всеми силами стремится уделить часть ее человечеству. Эту книгу можно назвать радостным гимном счастливой жизни.

Война и вся последующая жизнь наложили тяжелый отпечаток на творчество Гелленса. Конечно, его индивидуальность, сила фантазии, тонкость мысли остались прежними, но во всем, что он пишет теперь, чувствуется что-то чуждое, ненатуральное, сухое.

Выросший в строго-верующей католической семье, воспитанный иезуитами, совершенно незнакомый с европейской жизнью, он в последние годы прожил в окрестностях Ниццы и Канна, где столкнулся с международным космополитизмом, который не мог не наложить своего отпечатка на крайне отзывчивую, впечатлительную натуру писателя.

В последних книгах Гелленса «Мелюзина», «Прислушиваясь к звуку своих подметок» и «Басс-Бассина-Булла» слог гораздо суше и заостреннее, чем в предыдущих писаниях. Лихорадочная работа фантазии уступает место столь же лихорадочной работе мышления. Но если в последних книгах слышится усталость и натянутость, то стиль приобрел замечательную выразительность и ясность. Чувствуется, что Гелленс настойчивым трудом научился правильно писать по-французски, что можно сказать про очень немногих фламандцев. В этих книгах более всего заметно, что Гелленс стремится быть сознательно-примитивным, как и другие новейшие французские авторы. Эта погоня за простотой исключает подлинную примитивность, которая должна быть бессознательной; бессознательность совершенно немислима для современного человека.

Но эта погоня за первобытностью — один из симптомов современных литературных течений. В противоположность живописи, стремящейся все более к конкретности; в противоположность музыке, которая начинает тяготиться импрессионизмом, новейшая литература более всего стремится к динамизму, движимому исключительно инстинктом. Интерес, царящий в Европе ко всем проявлениям негритянского искусства и вообще ко всякому «первобытному» экзотизму, объясняет успех романов в роде «Батуала» и «Самба Дьюф», а также и выбор Гелленсом столь странного сюжета для своего последнего романа¹⁾.

¹⁾ Материалом для этой заметки послужил этюд известного фламандского поэта и критика Кареля ван-де-Вустейн, напечатанный в голландском журнале «Новые Роттердамские Курьеры».

ВОЕННАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА ВО ФРАНЦИИ

Мода на «военную литературу» далеко еще не прекратилась во Франции, хотя значительно ослабела. Подводя итоги, можно назвать очень мало произведений, подлинно глубоких и художественных, написанных на тему войны. Это прежде всего — полные патетической мудрости стихи Клоделя, пламенная книга Барбюсса «Огонь», остроумная пьеса-сатира Р. Роллана «Лилиюли», поэтическая «Европа» Ж. Ролана и довольно интересный психологический роман Дриё Ла Рошелля «Вопрос» (трагедия двадцатилетних, брошенных в огонь раньше, чем они успели сформировать свою душу и жизнь). Но эти произведения тонут среди массы условно-патриотической и ложно-патетической макулатуры.

Исключением является вышедшая недавно книга Жоржа Году (Gaudy) «Агония замка Мон-Рено». Это — дневник участника одного из мелких эпизодов — защиты одного пункта на пути Компьень-Париж. Автор, «труженик войны», просто и честно выполнивший то, что считал своим долгом, уклонился в своих воспоминаниях от всякого лиризма и вообще субъективности, но дал точную, необычайно правдивую картину своих переживаний, и в этом — большое достоинство книги. Приводим для образца один отрывок:

«Нам приносят бульон. Эта тепловатая вода, изготовленная в отдаленном подвале, по привычке называется бульоном. Затем дают бобы. За неимением ложки, ем их пальцами. Конечно. Мы не имеем права проголодаться раньше, чем через 24 часа. — «Я охотно бы всхрипнул», — говорит один. Другие тоже не прочь бы соснуть. Но можно ли лечь прямо в грязь? Мы стоим, прислонившись к мягкой стенке траншеи, под струящимся дождем. Вода наполнила мой плащ как губку; чувствую, как она стекает ледяными струйками вдоль спины.

«Длительное страдание прививает абсолютное равнодушие ко всякому новому мучению. Одним больше или меньше!... Мы привыкли жить без сна, есть — когда ведают, дрожать в грязи. Эта жизнь показалась бы ужасной людям тыла, — мы же изжили ее горечь. Сейчас мы спокойно предоставляем всему совершаться, как оно должно быть. Меня не волнует уже и приближение атаки. Если бы те, которые меня любят, там, далеко, могли сейчас читать в моей душе, они ужаснулись бы тому, насколько я далек от них. Остаться в живых? Умереть? Эти слова потеряли для меня уже всякий смысл.

Это уже не литература: это — ценный человеческий документ.

А. С.

НОВЫЙ РОМАН МАРТЭНА ДЮ ГОРА

«ТИБО»

Циклический роман, после продолжительного перерыва вновь возвращенный к жизни знаменитой хроникой Ромэн Роллана «Жан Кристоф», теперь нашел нового последователя в лице Мартэна дю Гора с его романом «Тибо» («Les Thibaut»). Пока мы имеем только первую книгу, озаглавленную «Серая тетрадь» (Le Cahier gris). Героями романа являются дети, не гениальные дети, как Жан Кристоф, но просто два мальчика, убежавшие из школы в поисках приключений. После их бегства была найдена тетрадь, в которой маленькие друзья обменивались мыслями, впечатлениями и взаимными уверениями в дружбе. Беглецы были пойманы в Марселе и возвращены домой.

План рассказа интересно задуман, и, развиваясь все время, держит в напряжении внимание читателя. Переписка детей является ценным документом детской психологии.

Какие пути выберет автор для дальнейшего развития романа, предсказать заранее нельзя, но вся постановка темы взята им так удачно, что предполагает создание большого и серьезного произведения.

«БЕСЕДЫ С АНАТОЛЕМ ФРАНКОМ»¹⁾

В издании Грассе в Париже вышла книга «Беседы с Анатолем Франком, собранные Полем Гзель» («Утренники на вилле Сайд»).

«Беседы» составлены частью из анекдотов, которым скептицизм Франса придает некий философский смысл, частью — из философских, художественно-теоретических или политических рассуждений, которым автор книги сообщил анекдотическую форму.

Анекдоты о жизни Французской Академии, об академических выборах, о присуждении премий и пр., уже в силу их локальности — наименее интересная часть книги.

Но в суждениях Франса о литературе, о языке, о театре, сказывается весь блеск его тонкого эстетизма и его обширной эрудиции.

В главе, которая претенциозно названа «профессор Броун ищет секрет гениальности», вымышленный профессор задает Франсу вопрос о сущности литературного гения. Какие качества отличают великих писателей? Совершенство их стиля? — «Все великие писатели пишут плохо» — доказывает Франс, иллюстрируя рядом блестящих примеров свои мысли о темпераменте, разрушающем установленные догмы совершенного стиля. Их работоспособность? Несколько ярких примеров писательской небрежности и лени разбивают и эту гипотезу. Оригинальность и сила воображения? Но выдумка великих писателей ничтожна в отношении к тому, чем они обязаны традиции. В умении продумывать, компоновать свои произведения? Примеры грубых оплошностей, отсутствия продуманных планов убеждают в неправильности и этого предположения.

Наконец Франс подвергает сомнению самое понятие литературного совершенства, указывая на зависимость художественных оценок от требований времени. И завершив этот разрушительный анализ, он внезапно обнаруживает обратную, позитивную сторону своего скептицизма утверждением, что сущность литературного гения — в чувстве, в сострадании, в жалости к человечеству. «Великие писатели не имеют низкой души. Вот, г. Броун, в чем их тайна. Они любят своих ближних, они благородны, их сердца открыты, они сочувствуют всем их страданиям»...

Превосходны по остроте мысли и тонкости аргументации беседы Франса о театре и драматическом искусстве. На примерах Расина и Мольера он устанавливает специфический характер сценического языка; «Язык театра — не язык жизни». Глава «Прекрасная кукла и настоящая женщина» посвящена суждениям об эсперанто и заканчивается ярким пантегриком живому языку, «в который миллионы и миллионы людей внесли свои вздохи и боли, в котором слышится в одно и то же время мощное уханье народа и щебетание хороших птиц в светских салонах, грохот всех станков и гром всех мятежей, крик отчаяния и шопот греха».

Мысли Франса о славе находят свое завершение в его великолепных репликах на вопросы интервьюера о том, откуда черпает «мэтр» свои обширные познания. Изумив его шутивным ответом, что все свои астрономические сведения он извлек из «Популярной Астрономии» Фламариона и что эрудиция его основана главным образом на словаре Ларусса, он говорит: «но главное не в моем научном багаже, который легковесен, а в том впечатлении, которое производят современные открытия на восприимчивость, воспитанную долгим общением с тонкими, глубокомысленными и человечными умами нашей родины». «Вот мои источники», говорит он, указывая на старинные книги своей библиотеки, «вы найдете здесь только великих или интересных писателей, которые говорили на хорошем французском языке и следовательно прекрасно мыслили. Потому что одно невозможно без другого».

Много интересных мыслей разбросано в главах, описывающих беседу Франса с Роденом и в его суждениях по социальным и политическим вопросам. Острота и яркость их несколько теряется в многословии Гзеля (книга искусственно растягивается на 300 страниц) и в общем льстиво-благожелательном, «мемуарном» тоне изложения.

Н. Р.

¹⁾ Книга выходит в свет в издании «Всемирной Литературы».

ФРАНЦИЯ

● Ромэн Роллан. «Клерамбо».

Как бы ни расходилась современная критика в оценке Ромэна Роллана, как романиста и мыслителя, одно свойство его остается общепризнанным. Это необычайная чуткость к жизни. В настоящее время нет, может быть, писателя, более горячо, искренно и неутомимо отзывавшегося на современность. Что бы он ни писал, роман, драму или публицистическую статью, на каждой странице его произведений за образами и рассуждениями чувствуется подлинный отзвук жизни. Его творчество всецело питается ею. Оттого в нем много стихийного. Это делает его далеким большинству лучших французских писателей. И это же дает ключ к пониманию его произведений. В них нет и не может быть ничего классического. За немногими исключениями они сложны, тяжеловесны и внутренне патетичны, как сама жизнь.

Такой же характер носит и «Клерамбо», законченный в 1920 г. Произведение это, по словам самого автора, не роман, а «исповедь свободной души» и вместе с тем «призыв к борьбе личной совести со стадностью».

Клерамбо — известный, уже пожилым писатель. В привлекательном образе его нет ничего необычайного. Это «старый ребенок», безобидный, искренний, легко поддающийся влияниям; единственное, что отличает его от ему подобных — это большая внутренняя свежесть.

1914 год застает его совершенно неподготовленным. Сначала он отдается общему потоку воинствующего национализма, но потом, после гибели единственного сына, начинает понимать, насколько лжив лозунг «война за вечный мир», как фальшив боевой энтузиазм и какому бессмысленному ужасу обрекла себя Европа. После глубокой внутренней трагедии он выступает в печати против войны, наталкивается на всеобщее возмущение и скоро остается совершенно одиноким. Твердая уверенность в своей правоте придает ему мужество и силу. Умирая от руки фанатика националиста, он вполне спокоен, ибо нашел самого себя и истину, тайна которой в любви.

Вопрос о том, не изображены ли под именами Клерамбо и других действующих лиц, деятели и мыслители современной Франции, можно считать второстепенным. Важно лишь то, что современная Франция действительно нашла отражение в этом произведении. Приговор Ромэна Роллана суров. По его мнению, Французская республика установила

«царство посредственности». Ее вожди, «господа» политики, техники, капитала, промышленности и, в особенности, «господа мысли» поработили свободный дух и сломали сильные характеры. Ради их выгод и их иллюзий вспыхнула великая война; ужас ее измеряется не количеством павших, а тем, что человечество переросло эпоху войн и, воюя, изменило самому себе.

Эта измена себе страшнее всего. Страшнее войны, страшнее тяжелого состояния Франции. Да и не во Франции дело. Интернационалисту Клерамбо одинаково дорог весь мир. И всему миру грозит гибель, потому что церковь, государство и «одуряющий унитаризм» современных теорий всюду порабащают и обезличивают людей. Они душат человека. Они посягают на жизнь.

А для Р. Роллана, как и для Клерамбо, жизнь священна. В страстных, то негодующих, то призывных словах он борется со всем, что мешает ей цвести пышным и свободным цветом. К сожалению, положительные воззрения его очень туманны и идеал будущего, основанного на свободе человеческого духа и всеобщей любви, до конца остается неясным.

Книга выходит в издании «Всемирной Литературы».

● Ромэн Роллан. «Пьер и Люс».

Небольшой роман «Пьер и Люс», написанный в 1918 г., представляет собою историю юношеской любви. Действие происходит в начале войны. О ней говорится мало, — ровно столько, сколько нужно на то, чтобы далекая и чудовищная тень ее легла на пронизанные светом страницы. Война — мрак. Любовь — свет. В игре света и тени главное очарование «Пьера и Люс».

История любви Пьера и Люс проста и бесхитростна. Он — балованный сын буржуазных родителей, она — бедная девушка, принужденная зарабатывать свой хлеб. Первая встреча в темном вагоне подземной железной дороги является для них роковой. Оба они очень молоды, почти дети; они не рассуждают и мало думают, и все-таки от каждого вздоха их и каждой улыбки веет какой-то просветленной мудростью. Нет никакого сомнения в том, что они знают все то, что деною таких страданий открылось Клерамбо. Истина была дана им вместе с любовью.

И еще им было дано высшее счастье, — умереть вместе. Читая об этом, не думаешь больше о войне.

По чистоте и чуткости рисунка, а также по непосредственной предельности образов «Пьер и Люс» одно из совершеннейших произведений Ромэна Роллана.

● **Матерлинка.** «Великая тайна».

Принадлежит к циклу философско-мистических произведений Матерлинка, эта книга занимает, однако, несколько обособленное место в его творчестве. Обычно в его рассуждениях о земном и «потустороннем» чувствуется прежде всего поэт, и философия его представляет не какую-либо стройную систему, а совокупность подкупающе-искренних, порою глубоких, порою действительно мудрых, но случайных мыслей или даже чувств. Он делится с читателями не выводами — выводов у него, пожалуй, вовсе нет, — а своей творческой интуицией.

Великая тайна не что иное, как очерк оккультных религий с глубокой древности до наших дней. Относясь к ним в общем сдержанно, а местами даже скептически, Матерлинка признает вместе с тем их преимущество над официальными религиями: оно состоит, по его мнению, в более прямой и смелой постановке вопросов.

Как и все произведения Матерлинка, «Великая тайна» написана очень изящно.

● **Пьер Бенуа.** «За Дона Карлоса».

На фоне карлистского движения в Испании в 70-е годы XIX в. описывается ряд более или менее невероятных приключений молодого французского герцога. Фабула пестра и занимательна. Тут и заговор, и пострижение в монахи, и борьба двух против еста, и беснующийся принц, и роковая женщина, отдающаяся каждому встречному сначала во имя торжества своей партии, а потом для спасения любимого человека, и безумная храбрость, и «тончайший аристократизм», и неистовая страсть, материал для десятка романов, из которых каждому обеспечен быстрый сбыт на книжном рынке.

Обнаружив богатую фантазию, талантливый автор премпированного романа «Атлантида» выказал на этот раз, к сожалению, недостаток художественного вкуса: грубая напряженность и аляповатость его нового романа вряд ли искупается несколькими действительно яркими и остроумными по замыслу главами. Подлинной литературной ценности в нем нет. Но среди широкой французской публики роман пользуется большим успехом.

● **Клод Фаррер.** «Осужденные на смерть».

Когда такой известный, даровитый и темпераментный писатель, как Клод Фаррер, берется за разгадку будущего в социальном отношении — читателем овладевает вполне законное любопытство.

В «Осужденных на смерть» изображено, повидимому, последнее столкновение

между капиталом с пролетариатом. Время действия — будущее, место действия — Америка. Чрезмерный труд и все усиливавшееся бесправие окончательно надорвали силы представителей низших классов. Сконцентрированный в руках немногих капитал достиг безграничной власти; состоявший у него на службе разум действует почти исключительно в его интересах. Вследствие ряда новых технических изобретений, производство может обходиться без помощи человеческих рук, и только нечто в роде человеколюбия или жалости мешает капиталистам совершенно отказаться от рабочих. Но жалость, как известно, представляет собою чувство очень шаткое. С того момента, как рабочие объявляют забастовку, они осуждены на смерть. Новые орудия пистрелят их поголовно.

Все это, разумеется, очень фантастично и вряд ли правдоподобно. К тому же роман загроможден описанием новых изобретений и рядом довольно растянутых рассуждений. Психологическая сторона его состоит, главным образом, в изображении любви дочери главного из капиталистов к молодому инженеру, играющему роль вождя пролетариата. Оба они предпочитают погибнуть с «осужденными на смерть», чем разделить торжество с победителями. К чему приведет это торжество, что будет представлять собою опустелый мир, что дадут оставшимся в живых заменившие людей машины — на эти вопросы автор, к сожалению, не дает никакого ответа.

● В Париже с марта месяца текущего года стал выходить новый ежемесячный журнал «Французская Муза». Программа подписана 16 именами; список сотрудников очень велик. Журнал является органом всех поэтов, подчиняющих свое вдохновение здоровой традиционной дисциплине французского стихосложения. Статья **А. Шериба** о настоящем положении поэзии резко осуждает футуристов, кубистов, дадаистов, которые, по его мнению, являются «шантажистами», не заслуживающими того внимания, которое им уделяется. Утверждают, что эти «школы» являются логическим последствием примера Рэмбо. Это — неправда: «логическое следствие из теорий Рэмбо — это отказ от литературы, торговля в Абиссинии. Он сам, обладавший огромным талантом, на деле доказал это, дав пример высшего вкуса»¹).

¹ Жан Артур Рэмбо (1854—1891) один из зачинателей французского символизма, в самом расцвете таланта оторвался от литературы, уехал в Африку и сделался богатым абиссинским промышленником.

Шарль Дерен в статье, посвященной «классицизму» в поэзии г-жи де-Ноайль, восторженно отзывается о ее творчестве. В первый номер вошли стихотворения **Пьера де-Ноака**, **Эры Рено**, **Андре Мори**, **Тристана Дерама** и **Пьера Жалабера**.

Шестой (августовский) номер журнала содержит ряд интересных критических статей. **А. П. Гарнье** дает очерк изображения моря в творчестве французских поэтов.

Андре Делакур посвящает статью поэтическому творчеству **Анри де-Ренье**, которого он считает самым искренним и глубоким язычником среди всех французских поэтов, не исключая и самого **Ронсара**. «Вот в силу этого природного языческого чувства поэту «Полевых игр» удалось избежать всякой шаблонности, холодности и подражательности, хотя множество его поэм переполнены «авнами, дриадами и пастухами. Ему удалось пропеть на простой свирели мощный гимн всему лесу и облечь природу в человеческие формы, не рационализируя ее, и выразить, после **Виргилия** и **Андре Шенье**, новую мысль в античном стихе. Символизм Ренье — возрождение самых прекрасных античных мифов и их лирическое приспособление к выражению современного духа. Позади всех обманывающих нас внешностей, которых мы не считаем за простые внешние формы бытия, эти мифы являются существенным, неизбежным ликом природы и человечества».

Эрнест Рэнб, по поводу только что вышедшей книги **Флорета**, посвященной творчеству **Бодлера**, указывает на перемену в оценке поэта, удостоившегося труда, посвященного ему одним из представителей того мира университетских ученых, которые так долго считали его воплощением всего безразличного и развращающего, достойным отвращения и проклятия.

● **Луис-Ренан.** В парижском издательстве **Б. Грассе** вышла книга **Андре Терриба**, останавливающая внимание заголовком: «Путешествие Ренана». Терив был до сих пор известен, как автор авантюрных романов, и новая его книга тоже, как будто, является беллетристическим произведением; но речь в ней идет об Эрнесте Ренане, и это сбивает с толку. Автор довольно долго и умело интригует читателя и только в середине книги разъясняет, в чем дело. Оказывается, у Эрнеста Ренана был приятель — священник **Антуан Пуже**, составлявший для него разного рода выписки и заметки. Этот Пуже, живший, между прочим, в квартире Ренана, необычайно походил на него и

лицом и фигурой. Тяготаясь очень частыми приглашениями на всякие заседания, празднества и юбилеи, Ренан однажды вздумал отправить вместо себя своего приятеля и, когда это сошло благополучно, стал прибегать к этой замене очень часто, а под конец, при помощи своего двойника, совершил даже «неподвижное» путешествие на Восток. Пуже выдержал свою роль артистически, и все почести, выпадавшие на долю автора «Жизни Иисуса», принимал как должное.

В эту тайну были посвящены несколько лиц, в том числе химик **Бертело** и **Эрнест Психари**. Автор познакомился с престарелым Пуже в 1908 г. в Лиможе и, заинтересовавшись необычными похождениями человека, прожившего чужую жизнь, написал о нем книгу.

● **Анатоль Франс** напечатал автобиографический роман «Жизнь в цвету», в котором под вымышленным именем дает историю своей жизни до 20-летнего возраста. Роман этот является как бы частью целого ряда подобных книг Франса, из которых две: «Книга моего друга» и «Пьер Козьер» появились очень давно, а третья «Маленький Пьер» — совсем недавно.

● **Жорж Дюамель** напечатал ряд очерков из детской жизни под заглавием «Радости и игры» («Мемуары Кюба и Тюпа»), свидетельствующие о глубоком проникновении автора в детскую душу.

● Во Франции, повидимому, возрождается мода на исторические романы, которых за последние годы появляется очень много. Иногда эти романы свидетельствуют о серьезном изучении изображаемой их авторами эпохи, но большею частью они представляют лишь пикантное, легкое чтение, в роде романов **Дюамель**. К последней категории можно причислить роман **Луи Бертрана** «Корденно или человек с бантами огненного цвета». В нем хорошо выведены характеры последнего испанского Габсбурга **Карла II** и его первой жены **Луизы-Генриетты Орлеанской**, но запутанная романтическая фабула лишена всякого правдоподобия и крайне мелодраматична.

● Последний роман **Клода Фаррера** «Новые люди» отличается теми же достоинствами, что и предыдущие; в нем дается наглядная картина нравов французских колонизаторов в **Казабланке**, в **Марокко**.

● Из новинок французской беллетристики можно отметить «Неверного

товарища» Жана Шамберже — на излюбленную в данный момент тему осложнений, вызванных несчастьями мировой войны; «Призрак улицы Микель-Анжело» Анри Бордо и «Забытого» Пьера Бенца.

● Любопытен роман-дебют «Медное зеркало» Анри де-Гандеса. Это — история известного художника, избалованного своими светскими успехами; он задумал написать картину с изображением голубой девушки, смотрящейся в зеркало в то самое мгновение, как ее заметил незнакомый мужчина. Он долго тщетно ищет подходящую модель, пока выбор его не останавливается на собственной невесте. Девушка уступает его мольбам, но по окончании картины, она чувствует, что душа ее поругана, что ее любовь к нему погибла, и отказывается выйти за него замуж.

● В Париже вышел посмертный роман рано скончавшегося даровитого Альбера Адэса, родом египтянина, «Совершенно голый король», изданный его друзьями Марселем Берже и Андре Обэ. Первый роман Адэса «Книга простака Гума», написанный в сотрудничестве с другим молодым египтянином, при чем сюжет взят из современной египетской жизни, вызвал восторг Октава Мирбо, провозгласившего его (в предисловии) шедевром. Действие посмертного романа Адэса протекает в современных художественных кругах. В нем выведен тип современного гениального художника «сверхчеловека».

● На конкурсе, устроенном в этом году журналом «La Revue de l'Epoque», премированным оказался роман Дави Дарро (Dagrot) «Супруга», примыкающий к традиционному типу психологически-бытового романа. Это — история девушки, полюбившей старого женатого человека, при чем сближению их содействует ее мать и, невольно, его жена.

● Роман *и-жи Гингар* «Французские сердца, английская совесть», дающий картину французской и английской психологии, удостоен премии «Лицея совета французских женщин».

● Молодой писатель Поль Морни, напечатал оригинальный сборник фантазий в прозе «Ночные откровения», напоминающий некоторые из очерков Марселя Швоба.

● Очень интересны вышедшие только что в Париже сатирические очерки «Размышления Якобуса или чудеса прогресса» Мориса д'Артуа.

● Жюль Сажерэ выпустил книгу «Религия атеиста», в которой доказывает, что атеизм имеет свою мораль, эстетику и психологию.

● Известный артист Люсьен Гитри выпустил роман «Мадмуазель Карьер из Одеона».

● В издательстве Боссара, в Париже, начала выходить «Коллекция неизвестных публике шедевров». Для начала, появились записки *Таллемана де-Рео* о кардинале Ришелье, которого автор интимно знал, «Французский наблюдатель» *Марибо*, содержащий не мало тонко подмеченных черт из жизни XVIII века и забавные, чутко подслушанные «Деревенские разговоры» *Поля дю-Фамы*.

● В. Фели написал изящный лирический роман «Сад молчания».

● Довольно занимателен роман *Аренна* из жизни парижского уличного мальчишки «Трава, выросшая между камнями».

● Посмертный роман *Леона Тиссандье* «Святое забвение», изданный Анатолем Ле-Бразом, имеет крупные художественные достоинства.

● *Анри де-Ренья* напечатал сборник «Следы пламени», достойный занять место наряду с его другими сборниками. В нем есть настоящие шедевры. В сборник вошли циклы стихотворений: «Что они мне говорили», «Маленькие оды», «Сад воспоминаний» (прекрасные стихотворения, посвященные Венеции) и «Медальоны художников».

● *Жан Ришэн*, который в течение более 20 лет не выступал как лирический поэт, за исключением немногих стихотворений, написанных им во время последней войны, выпустил сборник стихотворений, под заглавием «Погребальный звон». Французская критика сочувственно отзывается об этом сборнике.

● В июньской книжке «La Revue de l'Epoque» напечатаны два красивых стихотворения в прозе, рассчитанные на чисто музыкальное впечатление. Первое, «Поэма на два голоса», *Франсуа Берто* (Berthaux) носит характер дуэта в пении. Второе, «Лунный свет — соната в прозе» *Поля-Эмиля Кадильяка* (Cadilhac), в трех частях — аллегро, менуэт и финал — имеет сложное, тщательно разработанное построение, в котором использовано чередование образов, ритмическое паростание их, развитие тематики, звуковая инструментовка и т. п. Это — оригинальный опыт создания музыки из слов.

● В сентябрьском номере «Revue des Deux Mondes» напечатано неизданное юношеское произведение знаменитого историка *Альбера Сореля*, в диалогической форме, написанное в 1865 г.; диалогу предшествуют воспоминания *Габриель Ганот* о Сореле. В этом же номере напечатаны: этюд *Сен-Мари Перрэн* о Джаке Лондоне и этюд *Виктора Гирб* о Ламенэ.

● «Орфей» *Фернана Дивуара* — диалогически-мистических поэм, в которых дается своеобразное толкование мифа о сошествии Орфея в ад, означающий «погружение певца в сокровенные тайники своей собственной души». Эвридика — посредница между внешним миром и певцом. Орфей совмещает в себе Аполлона и Дионисия и т. п.

● Вышел том «Poèmes lyriques», посмертных стихотворений *Эмиля Золя*, до сих пор хранившихся у его вдовы.

● Парижское издательство «Sirène» выпустило чрезвычайно интересный сборник *негритянской поэзии*, содержащий следующие отделы: легенды о происхождении мира, фетишизм, тотемизм, исторические легенды, эволюция и цивилизация, свободная фантазия, пословицы, басни, песни, современные истории.

● Вышел сборник, составленный *Жюль-Бером Лэи*, «Шедевры игривой поэзии XVIII века» — с большим вкусом подобранная антология эпохи.

● Впервые выступили со сборниками стихов молодые парижские поэты *Тэм* («Le Parc aux chimères») и *де-Ланов* («Les Esquisses»), в которых есть хорошие стихотворения.

● В Книге «Реликвии» *Изабеллы Рэмбо*, сестра поэта Артюра Рэмбо, не только рассказывает подробно об окончательном обращении его к католицизму перед смертью, но и утверждает, что он всегда был по натуре человеком глубоко религиозным, что будто бы и заставило его рано отказаться от литературного творчества. За отсутствием других сколько-нибудь достоверных свидетельств о второй половине жизни Рэмбо, мы вынуждены оставить эти показания на совести религиозно-фанатически настроенной сестры поэта.

● Дочь знаменитого поэта Эредиа, пишущая под псевдонимом *Жерар д'Убий* поместила в «La Revue de l'Amérique latine» интересные воспоминания о своем отце.

● Коллекционер Эмануэль Мартэн намерен опубликовать факсимиле 18 пи-

сем Бодлера, из которых 14 еще неизданных. Письма адресованы А. Уссэ, Шанфлери, Дюкану, Пулэ-Малассе, Мишело Леви и Нозми Парфе. В «Le Temps» Эмиль Анрио дает анализ этих писем, свидетельствующих о крайней тщательности Бодлера во всем, что касалось издания его сочинений и о его постоянной готовности всячески услужить своим собратьям по перу.

● Журнал «Les Marges» («Книжные поля») открыл *anketu*, обращенную к представителям молодого литературного поколения о XIX веке, который большинством из них характеризуется словом «stupide» (тупоумный).

Ж. Бэнвилль заявил, что с XIX веком точно так же не стоит церемониться, как в свое время романтики не церемонились с ложноклассицизмом.

Вот несколько интересных характеристик, которые Фагэ дает знаменитостям XIX в.: Шатобриан — «Нарцисс-Нерон»; Ламартин — «лебедь с мозгами соловья»; Мишлэ — «влюбленная старая дева»; Ренан — «Мишлэ более низкой пробы»; Франс — «Ренан-садиист»; В. Гюго — «Бог-отец-Тартюф», «эпический простофиля, но с практической смекалкой».

● На страницах журнала «Clarté» недавно разыгралась полемика между *Р. Розманом* и *А. Барбюссом* по вопросам тактики в настоящий социальный момент. В то время как первый проповедует принцип выжидания и непротестности, второй требует прямого действия, «которое должно привести к диктатуре пролетариата».

● Сборник «Дурные учителя» *Жана Каррера* содержит ряд статей убежденного христианина, посвященных «дурным учителям»: Руссо, Шатобриану, Стендалю, Жорж Санд, Мюссе, Бодлеру, Флоберу, Верлену, Золя. Автор сурово осуждает то «зло», которое, по его мнению, нанесли эти авторы подрабачившим поколениям Француз, привив им «разочарованность, религиозный и нравственный индифферентизм, нигилизм» и т. д. Характерно для современной Франции, что множество подобных книг появляется в последнее время.

● Бельгийский каноник *Поль Альфланте* выпустил в Брюсселе в трех объемистых томах «Историю французской литературы в XIX в.». Автор тонко чувствует и мастерски анализирует различные индивидуальности разбираемых писателей. В общем, этот труд является им едва ли не самой подробной историей французской литературы XIX века из всех появившихся до сих пор.

● «Carnet Critique» («Критическая записная книжка») приступил к изданию новой серии монографий, посвященных современным писателям. Пока вышли томики, посвященные Барбюссу, Тайаду, Буэлю и Роману Роллану.

● *Абель Шевальи* выпустил труд «Современный английский роман», над которым работал более 30 лет. Насколько автор хорошо знаком с предметом, свидетельствует то, что им цитируются, а иногда и анализируются более 500 английских романов. Он приходит к заключению, что настоящая литературная эпоха в Англии является эпохой атеизма, так как произведения всех корифеев романа, за исключением разве Киплинга и Конрада, носят характер более или менее враждебный церкви. Нельзя сказать, чтобы тенденции романистов были анти-религиозны, но все они рисуют полную несостоятельность англиканства и ничтожную роль, которую оно играет в жизни современных англичан. Начиная с Самюэля Батлера, нет почти ни единого популярного романа, в котором сюжет не был бы почерпнут из конфликтов, возникающих между старым и молодым поколением, отцами и детьми.

● В последнем номере журнала «Книжные Поля» появилась интересная статья *Жоржа Дютюа*, посвященная творчеству Уота Уйтмана.

● В Париже вышла монография *Леандра Вайя* посвященная Рабиндранату Тагору.

● Увлечение востоком охватило в последнее время и Францию. В настоящее время в Париже начинает выходить большая иллюстрированная серия «L'art bouddhique». Первый том этой новой серии книга *Анри Фокильона* содержит, по отзывам французской критики, весьма удачную характеристику китайской культуры, искусства и философии.

● *Морис Гошэ* выпустил книгу «История литературы на французском языке в Бельгии», являющуюся едва ли не первым полным и обстоятельным очерком в этой области.

● В Сорбонне основана кафедра для изучения *Виктора Гюго*.

● В Париже скончался 65 лет от роду *Жак Фино*, издатель в течение тридцати лет «Revue des Revues». Фино родился в Польше, но с юных лет проживал в Париже и известен целым рядом популярно-научных трудов, написанных живо и увлекательно и выдержавших много

изданий, как «Агония Мира», «Философия счастья», «Половая проблема», «Расовые предрассудки» и др.

● В Париже в августе скончался знаменитый французский историк *Эриест Лависс*, автор многих ценных трудов, главным образом по истории Германии, более всего известный как редактор (совместно с Рамбо) монументальной «Истории Европы», начиная с IV в. до конца XIX в.

● Умер *Жорж Перэн* автор недавно вышедшего романа «Рука без кольца».

● Список книг, вышедших в Париже в текущем году и отмеченных сочувственно французской критикой¹⁾.

I. Стихи.

Поэль Рюэ — Склоненная урна. *Марсель Марти* — Солнечная клетка. *Жозеф Билль* — Мир людям. *Ферман Демёр* — Стоило. *Анри Мюстьер* — Новая Франспада. *Рене Лир* — Увядшие рифмы. *Жан де-Лассю* — Прелюдия. *Э. Спальковский* — По ветру моей родины. *А. М. Госсэ* — В краю пастбищ. *Пьер Буржуа* — Верность сомнению. *Манжа* — Сад скарабей. *Жермен Нубо* — Валентинов день. *Гастон Морейон* — Видение маленького человека. *Эдмон Флег* — Слушай, Израиль. *Боб Клаесан* (Claessens) — Путешествие Хоригучи. *Танки. Жан Луанэ* — Поговорки и шутки. *Жан Туэн* — Эвритмия. *Р. Гобер Сэн Марсаль* — Подражание Святой Деве. *Поэль Гарнье* — Площадь Клиши. *Роже Пийе* — Сентябрьские часы. *Жан Лэмон* — Источники. *Г. А. Массон* — В костюме Медзетиво. *Анри Ришар* — Чапа любви.

II. Романы и рассказы.

А. Т. Серстеван — Пляшущий бог. *А. Ф. Рокетт* — Великое белое молчание. *Морис Ренар* — Обманутый. *Анна Марлиани* — Улыбка святого Иоанна. *Пьер Милль* — Ангел причудливого. *Питшарю Паж* — Шипар — летчик. *Марсель Прево* — Дон-Жуанки. *Эжен Марсан* — Амазонки. *Жан Поль Иппо* — Гаома. *Поэль Сабор* — Куст шпировника. *Жан Ростан* — Пока еще страдают. *А. Табаран* — Новое Евангелие. *Аллен Грандье* — Когда сердце ошибается. *Ф. Ж. Бонжан* — Двенадцатичасовая история. *Шарль и Анри Омесс* — Дочь Карфагена. *Клод*

¹⁾ Список не притязает на полноту. В него не включены произведения, нашедшие оценку в статьях и заметках нашего журнала.

Фаррер — Новые люди. *Гастон Пикар* — Синяя свеча. *Жорж Перэн* — Рука без кольца. *Шарль Бриан* — Рассказы для женщин. *Жан Бушор* — Сентиментальная проница. *Жан Бальд* — Виноградник и дом. *Пелада* — Авиньонские поклонницы. *Мариус-Ари-Леблон* — Офелия. *Максим Формон* — Грех мертвой. *Абель Эрман* (Hermant) — Дама военного времени. *Андре Бонье* — Сумасшедшая девушка. *Допри* — Подлец. *Этьен ле Галь* — Жизнь трепещет. *Поль Брюла* — Звезда Носифа. *Прежерман* — Две звезды в ночи. *Рипэр* — Золото развалин. *Сан-Сорни* — Бикни. *Пьер Бийлотэ* — Аптекарь — спирт. *Эмиль Заби* — Путник — осужденный.

ГЕРМАНИЯ

● *Карл Штернейм*. «Четыре повеллы».

Книга продолжает хронику того же автора — «Начала двадцатого века»; четыре повеллы внутренне объединены беспокойством, напряженно сдерживаемым.

Классический Мопассановский подход к теме перебивается и осложняется чувством тревоги, своеобразно выраженной: темп повествования временами ускоряется, временами задерживается; самый синтаксис, отступая от застывших форм, как бы применяется к фазам чувства. Острота современности присуща, несомненно, этой книге, при кажущейся случайности тем.

Наиболее закончено — законченностью отживших и уходящих мировых форм — анекдотическое повествование о супругах-рантье, берлинских провинциалах, рвущихся за пределы тесного круга рент в 15.000 марок. Долгожданная поездка в Париж, встреча жены в отеле с одним из дворян Вандербильдов, деловито-короткий любовный эпизод, шпана, им оплаченная — и благодарная на всю дальнейшую жизнь растерянность счастливой четы. Сатира отходит на дальний план; преобладает интерес пристальный и тревожный.

Пульс современности почти обнажается в рассказе «Позинский». Военное время. Герой, художник-портретист, стремительно дегенерирует. Суть вещей прозревает он в нормальном питании и, замкнувшись от внешнего мира, окружил себя продовольственными припасами, рассчитанными надолго. Но внешний мир предстает ему в окне, в образе актерской четы. Чета, при явном недоедании, возмущает Позинского упорством, с которым держится, верная своей профессии, за ненужные миру размеренные

и рифмованные строки. Позинский из револьвера стреляет в актера.

Следующий рассказ — «Сумасшедший дом», — ряд диалогов между испытуемым Позинским и другим сумасшедшим, — тончайшая диалектика, где клинически оформленное безумие соблазнительно прорывает будто бы надежные идеологические грани культуры.

Наименее удачен рассказ «Пулярда». Эротика женщины, темная, как жизнь, намечена здесь как тема — и только подчеркнута ее безвыходная темнота.

В. Э.

● *Идилия Гауптмана* «Анна». «Музы, вспомните самые нежные ваши голоса и начните песнь любви», — так начинается третья песнь «сельской идилии», последнего произведения Гергарта Гауптмана, посвящего заглавие: «Anna, ein laendliches Liebesgedicht».

Это простая и трогательная история юношеской любви. «Он» (Гольтман) — двадцатилетний юноша, нежный, наивный и немного поэт, бледен по характеру и терается перед своей возлюбленной. «Она» — принцесса-раба, у нее тяжелые косы, венчающие золотой короной ее грустное и гордое лицо. Ее окружает атмосфера страдания, и из истории ее мы узнаем, что грубая реальность жизни в самых ранних годах коснулась девушки и приучила ее к мысли всегда быть только жертвой. Несмотря на то, что девушка любит Гольтмана, она избегает его, не хочет его любви и на все его мольбы отвечает слезами. Автор дает два мотива душевной драмы героини: первый — психологический, возникающий из столкновения прямолинейно и сурово религиозной среды (действие романа происходит в маленьком городке Силезии) с язычески-радостной красотой Анны. Фермер Шварцкоп, дядя Гольтмана и его жена видят в живой красоте девушки силу, идущую от дьявола, особенно после того, как один пятнадцатилетний мальчик застрелился из-за нее. Но кроме этого мотива Гауптман вводит в роман другой мотив, реальный. Молодость Анны была убита диничным и лицемерным негодяем, братом фермера, характер которого дан автором удивительно остро и выпукло. Он сам и сообщает об этом Гольтману, и последний, как натура чрезвычайно пассивная, отстраняется от Анны. В заключение над девушкой учреждается семейный суд и, в искупление грехов, она отдается в жены безобразному и многосемейному вдовцу — брату Гольтману. В описании этого «брата» много обычного для Гауптмана антиклерикализма, а весь роман проникнут глубоким состраданием к судьбе женщины.

● Как и следовало ожидать, празднование шестидесятилетия со дня рождения Гауптмана вызвало в Германии целый ряд книг, посвященных его жизни и деятельности. Капитальным трудом является новое издание «Жизнь и труды Гергарта Гауптмана» Пауля Шлентера, пересмотренное, переработанное и дополненное двумя главами Артуром Элессером. Как Шлентер, так и Элессер являются безусловными поклонниками Гауптмана. Элессер иногда впадает в той чистого панегирика, как, напр., в последней главе книги, где Гауптман величается «самым человеческим, самым социальным, самым национальным, самым языческим и самым христианским из всех поэтов».

Гораздо более объективен труд «Гергарт Гауптман» Пауля Фехтера. Многие в творчестве Гауптмана Фехтеру кажется устаревшим и заслуживающим полного забвения. Гауптман, по его мнению, уже потерял контакт с интеллектуальными течениями молодого поколения. Несмотря на все недостатки Гауптмана, Фехтер все же признает его значение и великие достоинства, в особенности внутреннюю правду, свежесть и неподдельный лирический подъем почти всего, что им написано. Кроме этих книг, можно назвать следующие: «Гергарт Гауптман» Макса Фрейманса; «Г. Гауптман» Белл; «Из жизни немецкой современной мысли» Эжена Кюнеманна; «Гергарт Гауптман» Генриха Штро. «О драмах Гауптмана» Юлиуса Баба—брошюра, составляющая девятую тетрадь издающейся тем же Юлиусом Бабом серии «Человек на сцене» и дающая, между прочим, очерк режиссерской деятельности Гауптмана.

Самым ценным, что дал юбилей Гауптмана, следует признать появление большого издания полного собрания его сочинений в двенадцати томах, выходящего у издателя С. Фишера в Берлине. В последний том его вошел ряд неизданных произведений Гауптмана: афоризмы, стихотворения и драматический отрывок «Веланд».

● В Берлине вышел изданный под редакцией Феликса Голлендера сборник в честь Гергарта Гауптмана. В сборник вошли автобиографические воспоминания и стихотворный отрывок «Молитва монаха Мартина» из неоконченной драмы «Собор» самого Гауптмана, приветственные письма и статьи Шницлера, Генриха и Томаса Манна, Вассермана, Бара, Вилле, Фульда, Келлермана, Кизера, Унру, Серваса, Керра, Энгеля, Элессера, Якобсона, Якобса, Мейер-Греффе, Гохдорфа, Голлитчера, Осборна, Лудвига, Стерноу, Витковского, Кюне-

мана и многих общественных и политических деятелей (включая президента республики Эберта).

● Артур Клессер переработал и дополнил труд Пауля Шлентера «Жизнь и творчество Г. Гауптмана». Сам Гауптман предоставил в его распоряжение свои еще неизданные автобиографические воспоминания. Книга будет богато иллюстрирована и появится вскоре у издателя Фишера в Берлине.

● Друзья и поклонники Гергарта Гауптмана выпустили сборник под заглавием «С Гергартом Гауптманом», в который вошли воспоминания и статьи Германа Бара, Бруно Вилле, Георгия Гиршфельда, Германа Штара, Морица Геймманна и других.

● Мистическая струя, проявляющаяся в современной литературе и характеризующая школу экспрессионистов, становится все более сильной и начинает уже вырождаться в пропаганду самого грубого суеверия, астрологии, оккультизма и тайных наук. Характерным симптомом этого болезненного течения служит то обстоятельство, что, после успеха «Белого Доминиканца» Густава Мейринка, венское издательство Ricola предприняло издание целой серии романов и книг о магии, из которых вышли уже три тома: Карла Фолма — «Шри Рамкришна», последний индийский пророк», К. Лаарса — «Элифас Леви, великий каббалист и его сочинения по магии», П. Б. Рандольфа — «Dhoula Bel», роман из истории розенкрейцеров. В том же мистическо-фантастическом духе произведения Франца Шкунды — «Devachan» и Эмонта Колеруса — «Белые маги». Если это течение перейдет в бульварную литературу и в общедоступные издания, то увлечение чертовщиной скоро, пожалуй, охватит массы с еще большей силой, чем в свое время увлечение пресловутой пинкертонщиной.

● К числу романов с социалистическими тенденциями относятся недавно выпущенный роман Карла Видмайера — «Бронзовый бог», из недавней эпохи владычества коммунистов в Венгрии, и произведение талантливого венского писателя Фрида Шрейфогеля — «Антихрист», роман коммунистического агитатора.

● Совершенно в стороне от господствующих течений стоит поэт Р. Борхардт, о котором в № 1 «Запада» приведен отзыв критика по поводу поэмы «Полуспасенная душа». Большинство произведений этого писателя, рассеянных по альманахам и в периодической печати, оставались недоступными широ-

ким кругам читающей публики. Недавно стало выходить отдельными выпусками собрание его как поэтических, так и прозаических сочинений, дающее возможность вполне оценить талант этого писателя, его могучий страстный стих и строгую выдержанность стиля. Как драматург, он, судя по вышедшей пока первой части драматической поэмы «Die Päpstin Jutta», под заглавием Verkündigung, также идет своим путем. Борхардт является большим мастером диалога, в постепенном нарастании страстности последнего нельзя не заметить влияния античной трагедии. Но с особенной похвалой критика отзывается о художественно-критических произведениях Борхардта, сблизив их с классическими статьями Лессинга.

● Новый роман Йоханнеса Туммерера, «Krämer und Seelen. Ein deutscher Grosstadtroman», можно назвать в известном смысле культурно-историческим — до такой степени детально и верно изображена в нем чисто бытовая сторона в жизни мелкобуржуазных слоев общества самого последнего времени. Что же касается революции, то она в романе служит только декорацией для достижения внешних эффектов. Недостатком романа является чрезмерное обилие деталей и резонерствования автора с целью объяснения изображаемых явлений.

● Известный биограф Штирнера и издатель его сочинений Джон Генри Маккей напечатал роман «Искатель свободы», служащий как бы продолжением его романа «Анархисты», появившегося в 1892 г. и возбудившего тогда всеобщее внимание. Роман «Анархисты» представлял наглядную картину из области сложной культурной борьбы конца прошлого столетия, в то время как «Искатель свободы» дает психологический анализ стремления к свободе отдельной личности; один роман дополняет другой. Если сопоставить эти оба романа, следует признать, что Маккей дал наглядную, всесторонне освещенную картину философских, этических и социальных проблем, волнующих современное общество.

● Утопией в жанре романов Уэллса является «Die Macht der drei» Ганса Доминика. Роман этот, печатавшийся в журнале «Die Woche» и имевший большой успех, представляет одну из самых смелых фантазий из области техники. Технические чудеса будущего рисуются в нем с такой логической убедительностью и общедоступной наглядностью, что совершенно не производит на читателя впечатления чего-то утопического.

● Фантастическим романом будущего называется также роман Франца Цербулуса, — «Конец огня».

● Немецкая критика отмечает роман «Слоново-костяных дел мастера» Альфреда Бока; это — тонкий психологический этюд на фоне хорошо известной автору и мастерски воспроизведенной им гессенской жизни. Язык автора — скатый и напряженный — передает дух современности.

● В издательстве Эриха Райсса вышли два новых романа Клябунда, одного из участников нашумевшей в свое время четверки писателей, объединившихся под именем «Квадриги». Первый роман называется «Моро. История одного солдата». Второй «Магомет. История одного пророка». В обоих романах Клябунд остается лириком по преимуществу и говорит больше о себе, чем о своих героях.

● Роман Фернанды Эйстманн «Вера Корнелиус» преследует чисто-тенденциозные цели, как свистельствует его подзаглавие «Боевой роман в интересах материнского права незамужних».

● Роман Мартина Бюкина «Одерживающие победу» дает ряд наглядных картин из гамбургской жизни революционного и послевоенного периода.

● «Парсифаль» Альбрехта Шеффера. Заглавие этого романа в стихах поневоле вызывает сравнение с великим средневековым эпосом Вольфрама фон Эшенбаха. Для Эшенбаха Парсифаль был живым лицом, а у нового поэта отсутствует жизненность и наивность. Его Парсифаль не живое лицо, а символ скитаний человеческой души. Участие нового Парсифаля зависит от сочетания различных созвездий и протекает в двенадцати стадиях. Поэма написана звучными и сильными хорейми. Главным достоинством «Парсифаля» Шеффера следует признать его художественную выдержанность, отчасти искупающую его схематизм и отвлеченность.

● Готфрид фон-Ганштейн недавно издал роман — «Солнечная Дева. Роман из царства Тагуантинсуйю», посвященный жизни древнеперуанских инков.

● Чрезвычайно отрадное впечатление производят небольшие новеллы, почти стихотворения в прозе Букки Баум, под заглавием «Schloss theater» (1921 г.); некоторые из них представляют настоящие художественные шедевры.

● В издании Staackmann'a в Лейпциге только что вышло новое произведение

Рудольфа Ганса Барча — «Seine Jüdin oder Jacob Böhm's Schusterkugel».

● Критик Макс Крелл, сам выступавший как романист, издал под заглавием «Расцвет» сборник избранных повестей двадцати представителей молодого литературного поколения в Германии: Рене Шикеле, Стеффена, Франца Кафка, Пауля Адлера, Фрэнсиса Юнга, Альфреда Дёблина, Карла Штернгейма, Альберта Эренштейна, Вильгельма Лемана и других. Сборнику предпослано введение, где изображается картина сложных и часто противоречивых друг другу течений в немецкой литературе, из лабиринта которых все здесь представляемые молодые писатели ищут выхода.

● К числу наиболее даровитых пролетарских поэтов Германии принадлежит Макс Бартельс. Вышедшие в 1920 г. два сборника его стихотворений: «Душа рабочего», с подзаголовком: «стихи о фабрике, проезжей дороге, странствиях, войне и революции», и сборник «Дайте нам мир покориться», раскрывающие перед нами душу пролетария, его заветные мечты и политические идеалы, встречены очень сочувственно даже буржуазной критикой, относящей Бартеля к числу многообещающих поэтов. В стихах его много теплоты, задушевности, а подчас и мощи.

● Весьма сочувственные отзывы в печати мы находим о сборнике стихотворений Карла Брегера «Пламя», также вышедшего в 1920 г. Стихотворения эти, также как и вошедшие в сборник три небольшие лирические пьесы, отличаются редкой для современных поэтов ясностью образов, мощью, воодушевлением, чуждым всякого хаоса, и мастерством формы.

● Талантливый поэт Альберт Эренштейн (характеристику которого мы дали в № 1 «Запада») выпустил новый сборник стихотворений под заглавием «Письма к богу». В другом издательстве вышел также недавно сборник новелл и стихов того же автора, под заглавием «Вечный Олимп».

● «Силуэты. Антология швейцарской лирики». Базель 1921. В антологии собран целый ряд поэтов, представляющих сегодняшний день швейцарской лирики. Одни поэты не выходят за пределы тем и приемов прошлого — Фридолин Гофер, Фриц Либрихт, другие, как Отто Пфеннингер и Ганс Либмах следуют по путям новейшей немецкой лирики.

● Немецкая печать отмечает, как интересную и значительную, новую книгу стихов Эрнста Лиссауэра «Внутренняя дорога».

● В Вене вышел прекрасно изданный сборник стихов поэта-экспрессиониста Макса Родена — «Erlösendes Leid» (Спасительное страдание).

● «Insel-Verlag» выпустил подлинный текст всей сохранившейся переписки между Гёте и Беттиной фон-Арним, урожденной Брентано.

До последнего времени, за исключением немногих отрывков, письма эти были известны лишь по художественной обработке их самой Беттиной в ее знаменитой книге, вышедшей в 1835 г. «Переписка Гёте с ребенком».

● Известный исследователь Гёте и его эпохи, Вильгельм Боде, предпринял обстоятельную биографию Гёте. Вышедшие первые три тома обнимают жизнь и деятельность Гёте до его переезда в Веймар.

● Георг Брандес напечатал на немецком языке книгу о Гёте, в которой самой удачной частью следует признать историю отношений Гёте к различным европейским странам (в частности к Дании) и его влияния на развитие европейской культуры.

● Богат содержанием труд «Гёте и его отношение к религии» Карла Юстуса Обенауэра. Автор дает обстоятельный анализ всех изречений Гёте о религии и о его отношении к религиозным проблемам, при чем приводит множество цитат из сочинений, дневников, писем, разговоров Гёте и воспоминаний его современников.

● Лена Фосс напечатала хорошо написанную, но не представляющую никаких новых данных книжку «Бессмертная подруга Гёте» (Шарлотта фон-Штейн). Автор убежден в том, что связь Гёте с г-жей фон-Штейн была чисто платонической.

● Книга Клары Гофер «Брачная жизнь Гёте» — талантливый и интересный, но крайне страстный и несправедливый обвинительный акт против жены Гёте, Христины, урожденной Вульффус, которая представлена развратницей, пьяницей и т. п., при чем упускается из виду, что сам Гёте неоднократно говорил о любви и уважении, которые он питал к этой женщине.

● Вышло новое, дополненное на основании неизданных рукописей Римера, издание «Воспоминаний о Гёте»

его секретаря и друга Фридриха Вильгельма Римера. Первое издание этого ценного документального труда вышло в 1841 г., давно распродано и стало библиографической редкостью.

● О возрождающемся в Германии интересе к творчеству Конрада Фердинанда Мейера свидетельствуют труды Мартина Бодмера «Ранние баллады Конрада Фердинанда Мейера» и Теодора Вогенблуста: «Начальный период творчества К. Ф. Мейера».

● Профессор Гессенского университета А. Мессер напечатал «Объяснения к Заратустре Ницше».

● Профессор Фрейбургского университета Филипп Витков опубликовал большую монографию о Клейсте, в которой считает его величайшим после Гёте писателем Германии и противопоставляет его последнему, как дионисийско-трагический полюс. Построенная на биографическом стержне книга содержит много интересных и новых мыслей о Клейсте, в частности, об его «Амфи-трионе».

● У издателя Кипенгейера в Потсдаме появилось давно ожидаемое издание полного собрания сочинений Гёльдерлина, предпринятое еще до возникновения мировой войны лучшим знатоком Гёльдерлина, Норбертом фон-Геллингратом, погибшим на войне в 1916 г., всего 28 лет от роду. Весь подготовленный им к печати материал перешел к его сотруднику Фридриху Лебару, которому, при помощи молодого поэта Германа Казаха, наконец, удалось выпустить издание в свет. Другим безвременно погибшего Геллинграта выпустили также две его речи, посвященные Гёльдерлину, произнесенные им публично в 1915 г. Племянница Гёльдерлина, Фрида Арнольд, опубликовала «Письма Диотимы», содержащие важный материал для изучения жизни Гёльдерлина.

Эти издания свидетельствуют о возрождении интереса к личности и творчеству Гёльдерлина.

● Вскрытие в прошлом году в день пятидесятилетия смерти Грильпарцера его наследия не обнаружило ничего, кроме некоторых материалов, характеризующих его отношения к «вечной невесте» Кети Фрелих и к некоторым другим женщинам.

● Юбилей Данте в Германии. Прошлый годный юбилей Данте ознаменовался в Германии выходом целого ряда книг, весьма значительно обогативших и без того немалую немецкую литературу о Данте.

Прежде всего следует отметить целый ряд новых переводов и в первую очередь перевод «Божественной комедии», сделанный Рихардом Вогенманном (Leipzig, 1921), который немецкая печать приветствовала, как исключительно близкий к подлиннику и чрезвычайно точно передающий все метрические особенности оригинала.

Отдельные главы «Божественной комедии» перевел Г. Федерманн (Мюнхен, 1921), снабдив их большим и интересным предисловием. Вторым изданием, значительно дополненным, вышли переводы Стефана Георге из «Божественной комедии» (Берлин, 1921).

Неодобрительно отзываясь немецкая критика о переводе «Бож. комедии» Зигфрида фон-дер-Тренка (Гота, 1921).

Из остальных произведений Данте переведена заново «Новая жизнь». Перевод, сделанный А. Ламбертом, снабжен обширным и ценным комментарием. Кроме того, вышел также перевод «Новой жизни» Р. Борхардта.

Появился также целый ряд переводов Данте, приспособленных для школы и для массового читателя.

Из литературы о Данте в количественном отношении на первом месте стоит целый ряд лекций, прочитанных на различных торжествах в честь Данте и потом напечатанных. Из них отметим речь проф. Г. Финка «Данте», изданную с послесловием д-ра Отто Миллера, ряд лекций проф. Франца Кемперса «Данте и Возрождение. Введение в основные мысли «Божественной комедии» и ее источники» (Майнц, 1921), доклад Макса Коха «Данте и Возрождение», «Дух Данте и наши культурные задачи» — Иосифа Маубаха, «Гора очищения» — речь Эрнста Трельшца и т. д.

Из более солидных трудов интересна коллективная работа «Görrgesellschaft», второй выпуск трудов общества, заключающий в себе целый ряд работ Дирова, Кребса, Баумартнера, Зауэра, посвященных как личности Данте, так и его философии, эстетике и т. д.

Выяснению религиозных взглядов Данте посвящена работа Карла Фосслера «Данте, как религиозный писатель».

Кроме самостоятельных работ, появился перевод известной итальянской монографии Бенедетто Кроче «Творчество Данте».

Не прошел юбилей Данте бесплодно и для других видов искусства. Появился ряд альбомов — иллюстраций, музыкальные произведения, посвященные ему, драматические произведения, изображающие как самого Данте, так и его героев.

● *Филипп Винкоп* напечатал труд «Женщины в жизни немецких поэтов», содержащий четыре части: «Мать» (Елизавета Гете и Елизавета Келлер); «Сестра» (Корнелия Гете и Ульрика фон-Клейст); «Жена» (Христина фон Гете, Марианна Иммерманн и Христина Геббель); «Возлюбленная» (Фредерика Брюнн, Ульрика фон-Левенцов, «Мушка» Гейне и Диотима Гельдерлина).

● Недавно вышла в немецком переводе биография выдающегося финского поэта и политического деятеля прошлого столетия *Захария Топелиуса*, известного у нас, к сожалению, только по своим художественным сказкам. Биография написана шведской писательницей *Сельмой Лагерлеф* по случаю истекшего в 1918 г. столетия со дня рождения Топелиуса, и написана по поручению шведской Академии, пожелавшей почтить таким образом память высоко ценного в Швеции писателя, несмотря на то, что Топелиус, горячий патриот и борец за независимость Финляндии, боролся не только против русского владычества в Финляндии, но и против всякого протектората Швеции.

● Книга *Карла Гельблита* «Личность художника в новейшей поэзии» — превосходный этюд, посвященный художественной деятельности Томаса Манна. В этом труде на основании богатого материала дается оценка творчества Манна и его отношения к натурализму, Шопенгауэру, Вагнеру, Ницше и т. п. Несмотря на свой незначительный объем, книга эта является ценным вкладом к изучению современной эпохи, так как открывает широкие перспективы, освещающие современные эстетические и философские течения и проблемы.

● Немецкая критика сочувственно отзывается о новом труде профессора *Фрица Штриха* «Немецкий классицизм и романтизм».

● В Берлине вышло обширное исследование о Рабиндранате Тагоре, как человеке, поэте и мыслителе. Автор книги, *Э. Энгельмарт*, видит в индийском писателе апостола новой человечности.

● Известный немецкий критико-библиографический журнал «Das Literarische Echo» вступил в 25-ый год своего существования. Стоит отметить, что, несмотря на престарелый возраст, располагающий к известному консерватизму, журнал до сих пор очень чутко и любовно откликается на все новейшие ли-

тературные течения. Особенно ценны в журнале вполне объективные «иностранные письма», расширяющие это провинциальное (штутгартское) издание до размеров вестника международной литературы, что приятно сказывается в только что отзвучавшую эпоху шовинистической грезни. Между прочим, о русской литературе в журнале неутомительно корреспондирует небезвестный московский переводчик и критик *Артур Лютер*, проживающий ныне в Дрездене. Последние десять лет редактором журнала состоит *Эрих Гейльборн*.

● *Лео Фробениус*, известный немецкий историк культуры и путешественник по Африке, выпустил пятнадцать томов, под заглавием: «Атлантида. Африканские народные предания и сказки». Собрание это является результатом десятилетней работы ученого по исследованию северо-африканских надписей, рисунков и развалин, давшей чрезвычайно интересные в культурно-историческом смысле материалы.

● Пенское издательство *Дидерихс* приступило к изданию в немецком переводе серии сказок всех национальностей. Вышли «Буддийские сказки старой Индии», переведенные *Эльзой Лидерс*, «Малайские сказки Мадагаскара», в переводе *П. Гамбруха* «Финские и эстонские народные сказки» в переводе *Августа фон-Левис*.

● Новости немецкого театра. Интересные данные о немецкой драматической литературе последнего времени можно найти в небольшой книжке *Юлиуса Баба*: «Воля к драме».

Из новинок драматической литературы, вышедших в 1921 и 1922 г.г., отметим пьесы: *Макса Гальбе* — «Kikeriki», причудливую комедию в 3 актах; *Бруно Франка* — «Женщина на звере»; *Артура Шницлера* — «Храбрый Кассиан», одноактную пьесу для театра марионеток; *Гельмута Штумекке* — «Душа бродяги», драму в 5 актах; *Отто Зандера* — «Людвик XII, король Франции», драму в 3 актах; *Людвига Фюльда* — «Тень осла», комедию в 3 действиях; *Оскара Бендишера* — «Ренегат»; *Газенклебера* — «Gobseck», драму в 5 действиях.

Новая пьеса прославленного автора «Человека в зеркале», *Франца Верфелла*, «Песнь козла», — драма в 5 действиях, судя по отзыву печати, не прибавит лавров своему автору. Слишком много в ней аллегоризма, чертовщины и всякой мистики, — так много,

что без комментария автора не усмотреть смысла произведения. По словам одного из рецензентов, на этом произведении липший раз оправдывается ядовитое замечание Шопенгауэра о немецких писателях, которым совершенно достаточно, что они сами понимают написанное ими, а поймет ли читатель, что они хотели сказать, — до этого им мало дела. В пьесе имеются эффектные в театральном отношении сцены — очень сильная сцена в церкви и черная месса Дьяволу.

«Злая весть» *Карла Эйнштейна* — пьеса в 20 сценах, выходящая в рекламной публикации издателя, как неслыханно смелая и остроумная сатира на современность, представляет новую попытку перенести личность Христа в современную обстановку. Как образчик приемов автора, укажем хотя бы на то, что при жизни Христа присутствуют фотографии, спешащие сделать кинематографические снимки, что режиссер кричит умирающему Христу: «Побольше, побольше мимики», что Христос торгуется с издателем о гонимых за свои мемуары и т. п.

Восторженный отзыв дает известный критик *А. Мендельсон-Бартольд* в «Zeitschrift für Bücherfreunde» о напечатанной в 1920 г. пьесе *Фрида фон Унру* — «Platz», представляющей, подобно другим произведениям того же автора, пламенный призыв к любви, должествующей обновить мир.

● Общество имени Клейста присудило премию за 1922 г. *Бертольду Брехту* за его три драмы: «Барабан в ночное время», «Ваал» и «В чаше» и удостоило почетного отзыва трех других молодых драматургов: *Эрнста Барлаха* за его драмы: «Бедный двоюродный брат», «Настоящие Зедемунды», «Мертвый день», *Эрнста Вейса* за драму «Олимпия» и *Ули Климша* за трагедию «Возвращение мертвых». В пространном отчете председатель жюри общества *Герберт Ийеринг* дает характеристику молодых поэтов и их драм и особенно подробно останавливается на творчестве *Бертольда Брехта*, которому предсказывает блестящее будущее.

● Берлинский комитет для борьбы с безнравственной литературой и комитеты исследования литературы для юношества открыли в Берлинской думе курс лекций о свойствах и значении порнографии. На основании практического опыта будут обсуждаться средства к успешной борьбе с порнографией.

АНГЛИЯ И АМЕРИКА

● Одной из наиболее выдающихся книг в английской художественной прозе за последний год является «Улисс» *Джеймса Джойса* (James Joyce).

Джеймс Джойс — ирландец. Перед началом мировой войны вышел том его рассказов — «Дублинцы», немного позже — роман «Портрет художника» и драма «Пигмалион». В течение последних пяти лет о нем ничего не было слышно, он нигде не печатался. И только в этом году вышла — напечатанная во Франции, по подписке (3 фунта стерлингов за экз.) — эта его книга «Улисс», около 700 стр. большого формата мелкой печати.

Это — не роман и не повесть, в обычном смысле этого слова, а что-то в роде живой, острой, художественной летописи подлинной жизни Ирландии: все действующие лица — действительно живущие сейчас в Дублине деятели политики и литературы, художники и завсегдашние Дублинских трактиров: автор почти не старался прикрасить их вымышленными именами. Книга — жестокая, звонкая; это пощечина и Британии, и Ирландии. Об «Улиссе» много писали, ругали и хвалили автора, как давно никого не ругали и не хвалили. Между прочим, в английской чопорной литературе до сих пор ни один автор не подходил так грубо, реалистически к вопросам сексуального порядка, что даже повод многим критикам усмотреть в книге «порнографию». Рядом с этим отмечалось, что у автора — поразительное знание и необычайно тонкое понимание Шекспира, критике которого он уделяет много места в своей многосторонней книге. Издана была эта книга во Франции потому, что ни в Англии, ни тем более в Ирландии ни один книгоиздатель не взялся бы ее напечатать, чтобы не навлечь на себя судебного преследования. О впечатлении, произведенном книгой Джойса на публику, можно судить по тому, что вскоре после ее выхода в газетах время от времени появлялись объявления о готовности уплатить за «Улисса» 8 — 10 — 12 фунтов.

Роман, произведший сильное впечатление на континенте, вызывает довольно холодное отношение со стороны английской критики. Она считает его «антиевропейским» за крайний индивидуализм, переходящий в анархизм, за полное отрицание социальной морали. Отмечается нечто общее по духу с «Братьями Карамазовыми». Типичной чертой «ирландского ума» признается своеобразное сплетение в романе трагического и комического начал.

Е. З.

● Последний роман А. Беннета «Мистер Прохак» имеет следующее содержание. Человек со скромными средствами внезапно наследует огромное состояние. Душевное благородство удерживает его от деморализации, легко происходящей в подобных случаях, но все же он попадает в целый ряд смешных и мало привлекательных положений. В романе есть черты социальной сатиры, выраженной, однако, с большой мягкостью.

● Е. И. Томпсон напечатал монографию о Рабиндранате Тагоре, в которой дается характеристика всех произведений поэта.

● Германский критик Карл фон Дорен напечатал обширный труд «Современные американские романисты», дающий меткие, хотя порою слишком благосклонные, характеристики новейших англо-американских романистов. В книге дан анализ всего современного англо-американского строя, отражающегося в произведениях этих писателей. Объективность суждения и ясная форма этого труда делают его ценным пособием для желающих изучить сложные проблемы современной Америки.

● Новые романы «Милость Аллаха» Хилера Беллока — замечательный роман, где изображаются проделки ханжи-араба, наживающего себе громадное состояние; роман является сатирой на весь капиталистический строй.

● Рабиндранат Тагор напечатал ряд прозаических статей под заглавием «Созидательное единство».

● Романы «Моя дочь Елена» Эдлен Монкауса, «Ошибочные расчеты» Эрика Ледбиттера и «Главная цель» Мисс Фридендер изображают столь излюбленные у современных английских романистов конфликты, возникающие между старым и новым поколением, «отцами и детьми». В этих романах — борьба отцов с дочерьми, выбирающими себе мужей по собственному вкусу.

● Обращает на себя внимание роман, «Геплесталлы» Гарольда Брайауса. В этом романе, свидетельствующем о серьезном изучении описываемой среды, излагается история возникновения и расцвета крупной хлопчатобумажной фабрики в Ланкашире и долголетней распри, возникшей между основателем фабрики и его компаньоном, которого он переманил к себе. Эта распри передается их потомству и, наконец, улаживается мирным путем благодаря женитьбе потомков.

● «Тайная Жатва» Дороти Персибаль — история страшной семейной тайны, приводящей к трагической развязке.

● «Великие искания» Бордман Гэвеса — занимательная повесть о приключениях искателей клада по морям и африканским лесам.

● «Хворост» Катлин Барроу — призыв женщины к борьбе за расширение их прав.

● «В ожидании рассвета» Томлинсона — сборник фантазий в прозе.

● «Изготовитель палаток Омар» Натана Гаскеля Доля — роман из истории Персии в эпоху крестовых походов.

● «Создание Святого» Сомерсетта Моама — трагическая повесть из жизни средневековой Италии.

● «Страна канибалов» Мартина Джонсона — очень живое описание приключений автора и его жены во время их скитаний среди канибалов на Ново-Гибридных островах.

● Миллин напечатал интересный роман «Покой Адама» из жизни Южно-африканских колоний.

● «Услады изобилия» Арчиальда Льюка — живая картина космополитического фефенебельного общества, развлекательного в Сан-Марице.

● По мнению английской критики, новый роман Бэресфорда «Гартлинские пленники» является его лучшим романом.

● Английская критика встретила очень сочувственно появление двух сборников рассказов «Дом душ» Артура Мэчина и «Чаепитие в саду» — Катерины Мансфилд.

● В своих путевых впечатлениях «Пешком по Англии» Хэдсон дает очень живые описания красот английской природы, древних соборов, памятников искусства, маленьких городов и сел.

● Автобиография Людвига Льюисона «Против течения» — исполненный горечи обвинительный акт против так называемой «свободы» в Северной Америке, резко бичующий низкий культурный и умственный уровень всего американского общества.

● Вышло однотомное собрание стихотворений знаменитого английского романиста Томаса Харди.

● «Монологи в Англии» Джорджа Сантаяны можно характеризовать, как философско-эстетические мечтания, блестящие и расплывчатые, сознательно витающие в мистическом полумраке и отвергающие всякий строгий философский анализ. Они проникнуты глубоким сознанием относительности всего существующего и симпатией ко всем человеческим стремлениям и заблуждениям. Автор напоминает то до-сократовских поэтов-философов, то скептиков, то христианских мистиков.

● Знаменитый прландский поэт Вильям Йейтс издал в одном томе свои «Избранные стихотворения», в который вошли лучшие его пьесы, написанные в период от 1885 до 1919 г. и «Четыре пьесы для танцоров».

● Томас Кадзуэл издал в Лондоне антологию новейшей английской лирики за 50 лет под заглавием: «Золотая книга современной английской поэзии» — лучшие среди кратких стихотворений, написанных за полстолетие 1870 — 1920 гг.

● Олива Тильфорд Дарган напечатала сборник стихотворений «Лютня и борозда», хорошо передающих настроение грандиозной природы Северной Каролины.

● Честертон выступил в Амстердаме с остроумным докладом, посвященным Роберту Броунингу. Касаясь пресловутой «непонятности» поэта, докладчик указал на то, что она у него не всегда обуславливается глубиной мысли, так как часто самые простые сюжеты страдают той же замысловатостью выражения. Типичным для Броунинга является его символизм, при чем играют важную роль цвета.

Одной из особенностей Броунинга является вульгарность выражений, дешевые остроумия, часто портящие прекрасные стихотворения. Эта черта объясняется личным предрасположением поэта к такого рода вульгарным остроумам, а также и понятной реакцией против увлечения его современников Байроном. Но не всегда эта преднамеренная вульгарность портит стихотворения Броунинга, подчас именно благодаря такому чередованию возвышенного и смешного им достигается мощный, крайне своеобразный и истинно-художественный эффект.

В заключение Честертон указал на величие поэзии Броунинга и на ее художественную гармонию, силу, выразительность и, главным образом, на его неподражаемую любовную лирику, в ко-

торой он сумел объединить модернизм настроений с нежной поэтичностью.

● Известный исследователь Шекспира Джон Робертсон выпустил книгу «Шекспировский канон», в которой, между прочим, доказывает, что «Юлий Цезарь» — соединение двух старых драм, лишь слегка переделанных Шекспиром, а позже еще раз Бен-Джонсоном. «Генрих V» тоже — переделка Шекспиром более ранней чужой драмы, а «Ричард III» сочинен Марло. При всей эрудиции и остроумии доводов автора, выводы эти все же должны признать крайне сомнительными.

● Вышла новым изданием книга Батлера «Авторша Одиссеи», в которой доказывается, что поэма эта написана женщиной. При первом своем появлении книга Батлера вызвала в ученом мире общее негодование и насмешки. Сейчас второе издание встречено более терпимо, хотя попрежнему никто не признал теории Батлера убедительной.

● Английский профессор Кэнди приобрел книгу, напечатанную в 1563 году во Франкфурте, содержащую ряд гравюр и рукописных стихов к «Метаморфозам» Овидия, о которой сообщает в последнем номере Лондонского журнала «Заметки и изыскания».

Профессор Кэнди твердо убежден, что эти рукописные стихи принадлежат перу Мильтона, так как все особенности почерка и слога говорят за его авторство. К заметке приложены фотографическая репродукция оригинала одного из стихотворений. В ряде других заметок Кэнди предполагает научно исследовать рукопись Мильтона и напечатать полностью текст вновь найденных стихотворений.

● Сборник «Французские и английские книги и характеристики» Литтона Стрэчи содержит ряд очень тонких и остроумных этюдов о Шекспире, Расине, Вольтере, Стендале, Руссо, и др.

● «Старая и новая Италия» Елизаветы Хазельтон Хэт содержит несколько интересных этюдов из культурной истории Италии.

● Обри Белл напечатал «Историю португальской литературы» и монографию об испанской провинции Галисии.

● Маститый критик Эдмонд Госс напечатал сборник «Взгляды и впечатления».

● Из новых английских сборников критических этюдов следует отметить

«Читатели писатели» А. Р. Орджоникидзе и «Ночи в пятницу» Эдуарда Гарнетта.

● Список книг, вышедших за последние месяцы в Лондоне и сочувственно отмеченных английской критикой.

Стихи.

Эдмонд Бланден — Пастух и др. стихи. Джон Дринкуотер — Избранные стихи. Ф. У. Стоко — Безумец о мечтах и др. стихи. Фредерик Шов — Рассвет. Т. Харди — Поздняя и ранняя лирика. У. Форс Стад — Сладостное чудо и др. стихи. Р. Хэд — Страницы из произведений Т. Харди. Айрик Розенберг — Стихи.

Романы и рассказы.

Альберт Хаксли (Huxley) — Бухты смерти. Аллен Монкхаус — Моя дочь Елена. Эдм. Кэндлер — Отречение. У. Петт Ридж — Ричард торжествует. Миддлтон Марри — Люди как мы есть. Лойд Осбери — Дикое правосудие. А. Милль — Тайна красного дома. Гарри Джонстон — Оклейка. Э. Фербер — Девушки. Мари Джонстон — Серебряный крест. У. Б. Максуэл — Придильшица из нашего прихода. Сэвиль-Уэст — Наследник. Шерууд Андерсон — Победа и др. рассказы. Дж. К. Флетчер — Сердцевина вещей. Флорид Дэл — Луна — теленок. Сиджсунк — Викториадец. Иден Филпотс — Кастриля и двойни. Сисли Хамилтон — Теодор Сэвдж. Сторм Джэксон — Брыканье. А. Э. Коннорд — Клоринда устремляется к небесам. Хавелок Эллис — Канга Крик, австралийская идиллия. Коллтон МакКензи — Ступени алтаря. Дж. К. Флетчер — В гостиной майора. Коналл О'Риодан — В Лондоне: история Адама и брака. Люкас Молэт — Вдова Да Сильва. Уодхаус (Wodehouse) — Девушка на пароходе. А. Х. Лоренс — Жезл Аарона. К. Э. Лоренс — Господни Амброз. Джамс Стибен — Холм видения.

Пьесы для театра.

Голсуэри (Galsworthy) — Семейнин. Лоренс Хаусман — Маленькие пьесы о св. Францисе — драматический цикл. Сент-Джон Эрвин — Корабль. Роберт Николс — Преступные души.

Критика и публицистика.

Миддлтон Марри (Murry) — Области духа; этюды литературной критики. Ею же — Проблема стиля. Бертрам Рассел (Russel) — Свободолюбие и официальная пропаганда. Г. К. Честертон — Евгения и другие беды.

● В Америке появляется множество романов и повестей на всевозможные темы, усердно рекламируемых североамериканской прессой. Особенно излюбленными являются любовные повести, написанные подчас в ультра-экзальтированном тоне (авторы романов по большей части женщины); тенденциозные романы, в которых изображаются конфликты, возникающие между старым и новым поколением; романы приключений; таинственно-ужасные повести, в которых чувствуется влияние то Эдгара По, то Готорна, то Уэллса или Генри Джемса и других, или просто сыщидские романы.

Более отрядным явлением следует признать повести, задающиеся скромной целью — дать наглядную картину различных слоев американского общества и знакомящие с городской и деревенской жизнью Северной Америки.

Наиболее выдающийся среди них роман Сивклера Льюиса «Бэббит».

● «Башмаки ветра». В Америке только что вышла книга «Башмаки ветра», написанная маленькой девочкой, восьми-девяти лет, Гильдой Конклин. Критика единодушно приветствует ее дарование. Приводим образцы ее творчества в переводе К. Ч.

Мои мысли и я.

Мы друзья,
Мои мысли и я.
Но иногда мы не можем
Понять друг друга:
Как будто туча
Заслонила солнце.
Или пруд, ослепший от деревьев,
Забыл о небе.

Верхушка утра.

Серая грифельная крыша дома
Сделалась от солнца серебряной,
И вот сразу
В окно потекли лучи.
Они текли и пели,
Эта песня прогнала тучи,
Вышло синее небо и открыло
Глаза свои солнцу.

Эта картина — поэма,
Но это также и мысли мои.

Некоторые стихотворения имеют всего две строки. Напр.:

Сквозь радугу.

Сквозь радугу я видела голубые холмы.
Песни любят эту страну.

«Башмаки ветра» вторая книга стихов этого автора. Первая вышла два года назад и называлась «Стихотворения маленькой девочки».

● «Урод» Флорид Дела рисует конфликт между старым и новым поколением в семье американских пионеров.

● Эмори Холлоуэй выпустила в свет «Неизданные статьи и стихи» Уотса Уитмана, в двух томах. Это большей частью его журнальные статьи, прибавляющие мало положительных черт к облику знаменитого поэта.

● Австралийский критик Арчибалд Стронг напечатал «Три этюда о Шелли».

● Список книг, вышедших за последнее время в Америке и отмеченных критикой.

«Лилия Ченоверт» — Ли Вильсон Додд; «Светлый Вестник» — Олджернон Блэкбурд; «Иоанна Годден» — Шейла Кэй-Смит; «Взгляд одного человека» — Леонард Меррик; «Антивиус Гедуло» (исторический роман) — Эдуард Люкас Уайт; «Симон по прозвищу Петр» — Роберт Кибл; «Аннида Ли» — Ванс; «Темный Дом» — Уайли; «Судья Барбара» — Диана Патрик; «Пара идолов» — Стюарт Кэбен; «Черный алмаз» — Фрэнсис Брэтт-Понн; «Его Светлость» — Бэйли; «Медь» — Чарльз Норрис; «Вечернее сияние» — Эдит Томсон; «Адриенна Тонер» — Анна Дайлас Сэдвик и мн. др.

ИТАЛИЯ

● Один из наиболее значительных романов последнего времени — «Бог живых» Грации Деледды. Содержание его следующее. Холостяк, имеющий незаконного сына, внезапно умирает в доме своего брата. Тот находит у него завещание в пользу мальчика и уничтожает его, чтобы имущество рода не дробилось и перешло целиком к его собственному единственному сыну. Но с этого момента счастье покидает дом. Каждая мелкая неудача кажется хозяину божьей карой за обман, в каждом чужом слове ему мерещится подозрительность. Это настроение еще более усиливается от всяких суеверных рассказов соседей. В конце концов, он не выдерживает и публично сознается в своем поступке. Главная мысль Деледды та, что бог не вне нас, но внутри нашего сердца, что он — не что иное, как человеческая совесть.

По отзывам итальянской критики роман написан необыкновенно чистым и художественно-выразительным языком.

● Последний роман Матильды Серао «Кара», полный мелодраматической мрачности и буафорекских ужасов (начинается

самоубийством и кончается кораблекрушением и некрофилией), обличает полный упадок дарования романиста.

● Последний роман Альфредо Паницини «Земля — круглая» — история философа, отправившегося после военной катастрофы путешествовать вокруг света в поисках новой истины. Философ приходит к выводу, что единственная истина — это закон вечного круговращения.

● В Милане под редакцией Энрико Соляри появилась Антология итальянских новеллистов в двух томах, в которых собраны лучшие образцы итальянской новеллистики, начиная с XIII до конца XVIII века. Сборник снабжен историко-литературным введением и биографическими и критическими примечаниями.

● В романе «Сокровенный роман Розарино деλλα Мэлорда» Витторио Гранди много поэзии и удачных диалогов, но он страдает неровностью художественного выполнения.

● Интересен роман Амато Таури «Среди пиаг и париков», рисующий наглядную картину сценической жизни Неаполя в XVIII веке.

● Критика сочувственно отмечает роман Марио Моретти из провинциальной жизни «Двое ребят».

● Сборник «Маленький алтарь у груди» Франческо Кьеза содержит двенадцать новелл из детской жизни, в которых много прелести и задушевности.

● Оригинальным юмором выделяются сборники «Путешествия и открытия», «Напряженная жизнь» и «Трудная жизнь» Массимо Бонтемелли.

● Роман Сальваторе Готта «Первый Король» распадается на две части, из которых одна — любовная история — имеет крупные художественные достоинства, а другая, разрабатывающая социологическую проблему, очень неубедительна.

● Новые итальянские поэты. Последние сборники стихов, выпущенные итальянскими поэтами, представляют в большинстве случаев мало оригинального и являются перепевками давно-известных мотивов прежних поэтов.

Так, напр., Гвидо Марта в «Снеге в саду» и Уго Бетти в «Задумчивом короле» выказали мало оригинальности.

Больше самостоятельности в сборнике «Зеркало и роза» Теофило Валенти. Этот поэт обладает звучностью, богат-

ством фантазии и (подчас даже в избытке) роскошью красок.

В «Царстве Кипарисов» Козимо Джорджери преобладают, наоборот, нежные, минорные тона. В этом сборнике Джорджери собрал стихотворения, написанные им за долгий период от 1895 до 1920 г. Главным достоинством лирики Джорджери следует признать глубокое, тонкое чувство природы, к которым она проникнута.

В «Колоколах из Ортодоксика» Луиджи Орсини, интересен цикл «Элегии из Романьи», в звучных и пышных стихах, отчасти напоминающих манеру Паскали. Его «Гарибальдийские сонеты» очень популярны в Италии, но лишь благодаря своему ярко-выраженному патриотизму, а не в силу каких-либо особых художественных достоинств.

Если большинство итальянских поэтов — эпигоны, то этого нельзя сказать про Клементе Ребора, который в своих «анонимных песнях» является настоящим, но мало талантливым модернистом. Его свободные строфы с их туманным отвлеченным содержанием и вымученными сравнениями очень претенциозны.

Первое место среди новых сборников стихотворений принадлежит «Поэмам любви и смерти» Эрико Товеса, в которые включены три крупные поэмы «Сон варвара», «Умиравшая Брунгильда» и «Безумный Тристан». Оды и гимны Товеса — прочувствованные, исполненные глубокой скорби напевы об исчезнувшей молодости, которая прошла, не оставив ни единого светлого воспоминания в душе поэта. Примечательно, что Товес, являющийся одним из самых беспощадных критиков д'Аннунцио и его поэтических приемов, которые считает ложными и напыщенными, сам не вполне сумел избавиться в своих стихах от его влияния.

● **Л. Патоли** напечатал сборник «Муза Сицилии» — интересную антологию из произведений поэтов, писавших на сицилийском наречии, начиная с первых опытов до последнего времени.

● **Остильо Лукарини** выступил со сборником стихов «Душа по ветру», в которых чувствуется отчасти влияние Кардуччи и Пасколи, но есть также оригинальные и самобытные мотивы. Роман того же автора «Моя жизнь под стеклянным колпаком» и сборник новелл «Мои марионетки» свидетельствуют о ярком таланте молодого писателя.

● В Италии не прекращается поэтическое творчество на местных диалектах. Из последних новостей в этой области отметим сборник: **Э. Боньо** «Пре-

красная Венеция — венецианские стихи», полный условного местного патриотизма. Гораздо интереснее сборник сицилийского полуграмотного крестьянина **Джуз. Скандурры** «Природа и чувство», где, наряду с длиннотами, есть сильные и верные места, отражающие дух народной поэзии.

Вышли также новым изданием образцы «Латинской литературы Фриуля» **Б. Квурло**, довольно богатые темами и оттенками.

Сочувственно принят критикой второй том «Снов» веронского народного поэта **Барбарани**.

● Литература о Данте продолжает обогащаться солидными трудами, из которых некоторые, как напр. труд **Артуро Фаринелли** «Данте в Испании, Франции, Англии и Германии» и монография «Данте в отражении английского мировоззрения» **Алисы Галимберти**, являются ценными вкладками в сравнительную историю литературы и культуры. **Арриго Сольми** посвятил объемистый солидный труд политическому мировоззрению Данте. Последним биографом Данте выступил **Дель-Церро**, напечатавший «Жизнь Данте».

● Манцони почти столько же, как и Данте, продолжает служить предметом ревностного изучения со стороны итальянских ученых и критиков. Одним из лучших знатоков Манцони является **Моммилано**, напечатавший том, в котором собраны статьи, посвященные технике и различным редакциям его романа и разбору «Опытов о Манцони» **Альберто Рондини**.

● **П. Барби** напечатал обширное исследование о поэзии Уордсворта.

● Известный историк **П. Орси** напечатал в двух томах «100 лет всемирной истории с 1815 по 1915 г.».

● Переведен на итальянском языке капитальный труд **Людвига Пастора** «История пап с конца средних веков», в 6 больших томах.

● В Италии сильно повысился за последнее время интерес к иностранной литературе. Это выражается не только в громадном числе вышедших переводов произведений как современных, так и старых (в первую очередь русских), но и в появлении ряда значительных историко-литературных трудов об иностранных писателях, что является новостью для итальянской науки.

Наибольший интерес вызывает английская литература. В частности, замечается большое увлечение Шекспиром. За

последние месяцы вышли хорошие переводы ряда трагедий его, сделанные **А. Риччи**, **Ч. Кьярини** и др. К своему великолепному переводу «Макбета» **А. ди Стефани** присоединил обширное исследование (около 400 стр.), составляющее настоящую «макбетовскую энциклопедию». Тот же автор вскоре обещает дать труд по библиографии Шекспира. Интересна книжка **Дж. Кастеллано** о «Короле Лире», в которой автор вскрывает целую философскую теорию. Менее оригинальна, чем недавний блестящий этюд о Шекспире **Б. Кроче**, но довольно содержательна книга **А. Муччолли** «Шекспир в жизни и в творчестве».

Нельзя не привести в связь это увлечение Шекспиром со стремлениями новой итальянской литературы, не удовлетворяясь традицией старых форм и внешней артистичностью, искать более углубленного и синтетического подхода в восприятии жизни.

● Бывший футурист **Ф. Флора**, отошедший от движения, пытается все же отстоять в книге «От романтизма к футуризму» его значительность и историческую обоснованность. Он устанавливает два корня его. Первый — романтический порыв к свободе, доведенный до предела («свобода слов» **Марионетти**). В этом смысле предшественники футуризма — **Рэмбо**, **Маларме** и др.; из новых художников родственны ему **Клодзль**, **Баррес**, в музыке — **Дебюсси**. Второй корень — философский идеализм и критицизм, ведущие начало от **Канта**. Отсюда — антиисторизм и динамизм.

● Бывший футурист **Бруно Корра** обратился к писанию исторических романов. Последний из них «Бык», из эпохи **Борджиа**, не представляет больших достоинств.

● Неумолимый **Бенедетто Кроче** продолжает издание своего журнала «Critica», посвященного пропаганде его мысли, что историко-литературное исследование должно основываться исключительно на чисто эстетическом проникновении в произведение, оставляя в стороне историзм, филологию, морализацию и т. п. Продолжая в «Critica» свои «Заметки по итальянской и иностранной литературе XIX века», он дал в текущем году ряд блестящих этюдов о **Ж. Санд**, **Леопарди**, **Уго Фосколо** и **Шиллере**, при чем подверг их творчество резкой переоценке. Приговоры Кроче всегда интересны, хотя и не до конца убедительны, — напр., когда он развенчивает **Шиллера** и объявляет его второстепенным поэтом за надуманность и рассудочную схематичность всех его трагедий.

Идеи Кроче — законная реакция против крайностей филологизма — приобрели за эти годы немало последователей. Отметим, кстати, что его «Эстетика, как наука о выражении и обща лингвистика», вышла недавно 5-м изданием.

● Новые итальянские журналы. В Риме, Милане и Неаполе стал выходить ряд художественно-литературных журналов, выделяющихся как богатством и разнообразием содержания, так и художественностью издания. Выходящий в Неаполе журнал «Сакура» задается целью познакомить итальянскую публику со всеми выдающимися новостями русской и японской литературы.

Роскошно издается в Милане под редакцией **Этторе Коццани** «Эронка», каждый выпуск которой украшен превосходно выполненными гравюрами на дереве.

Миланское «Первенство Италии в искусстве» — почти исключительно художественный орган.

Очень богаты содержанием римские историко-литературные журналы «Зритель» и «Круг» и миланский «Союз».

● Под редакцией **Ло Гатты**, доцента истории русской литературы в римском университете, начал выходить журнал «Russia», посвященный русской литературе и культуре. В вышедших пока 5 номерах напечатаны: критико-биографический очерк о Герцене, перевод статьи **Кропоткина** «Идеал и действительность в русской литературе», статья «Проблемы русской литературы» и мн. др. О росте интереса к России в Италии свидетельствует громадное количество появившихся за последний год переводов русских произведений, вплоть до «Слова о полку Игореве» и сборников былин.

Список книг, вышедших в Италии за последние месяцы и сочувственно принятых критикой.

Поэзия.

Раймондо Ванни — Грязь и звезды. **Ф. Кьеза** — Утешения. **Дж. Борджезе** — Стихи.

Романы и повести.

Джан Даули — Последний из Гастальдонов. **Марино Моретти** — Двое детей. **Новаро** — Разрушение. **Паолери** — Родной дикий городок. **Белтрамелли** — Кавалер Моэрадо. **Э. Пиза** — Мускусовый шарик. **Сфиндже** — Запретный порог. **А. Панцини** — Хозяин — я. **Анни Вибанти** — Сестра Мессаллины. **А. Франки** — На депи. **Гвидо да Верона** — Моя жизнь в луче солнца. **А. Альбертацци** — Топ

(новеллы). *В. Брокки* — Хрупкость (новеллы). *А. Мардокки* — Генри сегодняшнего дня. *Л. Пукколи* — Вещи, которые больше его. *М. Сапонро* — Пять моих невест (новеллы). *П. Аркари* — Небо без бога. *К. Проспери* — Счастье в клетке (новеллы).

Драмы.

Т. Галларати Скотти — Да будет так.
С. Дзамбади — Поднимите занавес.
М. Доменикини — Цыганка.

ИСПАНИЯ

● Среди новой испанской поэзии выделяется «Опьяненная ласточка» — сборник стихов урожденного мексиканца *Рафаэля Лосано*. Тонкая техника соединяется в нем с богатством мысли и настроений.

Одни из отделов посвящены теме всеобщей любви: Лосано воспекает не только единение народов, но и любовь ко всему сущему: — К «братцу — медведю», к «сестрице — камню». Другие отделы носят более субъективный melancholic характер и обличают сильное влияние Верлена.

● Испанский романист и публицист *Пио Бароха* выпустил книгу «Мемуары одного деятеля» в 12 томах. В распоряжение автора попали бумаги его двоюродного деда Эухенио де-Авиронета, известного испанского деятеля, либерала и конституционалиста, под конец — волонтера в греческом отряде Байрона. Бароха обильно пополнил этот материал данными из эпохи, извлеченными из архивов, и придал всему форму мемуаров, добавив, повидимому, немного из своей фантазии романиста. В целом получилась живо написанная картина испанской жизни начала XIX в. Интересно описаны эпизоды войны за независимость, мексиканской жизни и мн. др. Особый интерес представляют характеристики выдающихся людей, с которыми Авиронета встречался, в том числе — Байрона.

СКАНДИНАВИЯ

● Новый роман *К. Гамсуна* «Женщины у колодца» рисует нравы маленького норвежского города, где «женщины у колодца» выполняют то же назначение, как центральное телеграфное бюро для всего мира.

Роман выходит в изд. «Всемир. Литер.».

● Г-жа *Нилле Финсен*, бывшая в течение долгих лет близким другом семьи Бьернсона, выпустила интересный сбор-

ник воспоминаний о Бьернсоне, под заглавием «Бьернсон у себя дома», в которых сообщается много интересного из семейной жизни Бьернсона.

● В Христиании скончалась 74 лет от роду известная писательница *Альвида Приодз*, произведения которой пользовались успехом среди норвежской публики. Долгое время ее литературная деятельность не находила отклика, виною чего отчасти являлась тяжелая, неподкупающая внешним излеществом форма ее произведений, и лишь когда критик Бьерсон принял с усердием пропагандировать свою соотечественницу, читающая публика мало-по-малу оценила ее. Романы и повести Приодз проникнуты духом высокого идеализма, дают мастерской анализ сложных душевных переживаний и часто исполнены истинного лирического подема, поневоле заражающего читателя. К ее лучшим книгам принадлежат сборник повестей — «По пути», романы «Люди», «Сон», «Дочь Гуанара Торедо в Геро» и драма «Айно» — единственное драматическое произведение этой писательницы. Некоторые романы Альвиды Приодз неоднократно переводились на иностранные языки.

● Известный шведский путешественник и исследователь средней Азии *Свен Гедин* написал большой роман «Путешествие Тсангпо-Ламы к святым местам». Роман, открывающийся блестящим описанием Пекина, повествует о путешествии монгольского князя Тсангпо-Ламы из одного буддийского монастыря к священному городу Тибета — Лхасе. Свен Гедин выявляет всю свою исключительную эрудицию в описании жизни и быта разных групп и классов туземного населения, перемежая их с великолепными картинами природы: степные пожары, песчаные смерчи, нападения волков, горные хребты — вся средняя Азия встает перед читателем в ее подлинном виде.

Идеологический фон романа построен на буддийском мировоззрении.

Роман обрывается неожиданно: Тсангпо-Лама, не дойдя еще до Тибета, попадает в плен к разбойникам и замысливает бегство. Вторая часть романа должна последовать вскоре.

● В Швеции отмечается дебют двух молодых поэтов *Густава Лундберга*, выступившего со сборником «Черные Иван да Марья» и *Арvida Линдманна* — со сборником «В скитаниях».

● *Андреас Остерлин*, которого считают величайшим из современных шведских поэтов, дал новый сборник сти-

хов «Парис и Паллада», не уступающий по достоинствам его предыдущим стихам.

● Вышедшая недавно в свет драма *Карли Тегель* «Нюбея» — протест против войны. Действие драмы происходит в стране, сильно пострадавшей от опустошений войны, действующие лица пьесы — физически и нравственно искалеченные в последней мировой войне.

● *Генрик Гелмунд* напечатал две драмы «Хуэнатан» (в двух актах) и «Когда Афинские стены были скрыты до основания» (в одном акте). Действие первой драмы происходит в Египте эпоху Аменофиса III (в 1400 г. до Р. Х.), а сюжет второй — трагический эпизод из эпохи Пелопонесской войны.

● Шведский профессор *Клас Лундскот* напечатал прекрасный исторический труд «Греческие женские фигуры». В этом труде, свидетельствующем о глубокой учености автора, в изысканном изложении дается очерк роли женщины в истории греческой культуры. Перед читателем проходят все более или менее выдающиеся героини греческой истории и легенды с самых древних времен до последней представительницы античного мировоззрения Ипатии, а также ряд выдающихся женских фигур, обязанных своим бессмертием великим греческим поэтам (Антигона, Елена и т. п.).

● Известный историк литературы и критик *Гуннар Кастрен* напечатал в двух объемистых томах биографию Юхани Ахо. Этот труд является ценным вкладом в историю финской литературы и культуры, так как в нем на основании богатого материала дается обстоятельная картина не только жизни и деятельности Ахо, но и всей столь богатой потрясениями эпохи финской истории конца прошлого и начала текущего столетий.

● В Стокгольме в ноябре с. г. состоялось присуждение Нобелевской премии по литературе известному испанскому драматургу Хасинте Бенавенте, по физике за 1921 г. Альберту Эйнштейну, а за 1922 г. датскому физiku Нильсу Бору; по химии за 1921 г. английскому химику Фредрику Содди, а за 1922 г. английскому химику В. Эстоку.

● Датская критика отзывалась очень сочувственно о новом сборнике лирических стихов «Звездный свет» *П. Лауритсена*.

ГОЛЛАНДИЯ

● *Фервей и Фон-Дейссел*, два известных голландских поэта и критика, приступили к многотомному изданию полного собрания своих сочинений. Из сочинений Фервея уже появился ряд томов, содержащих многочисленные этюды о голландской, французской и англ. словесности, а также удачные переводы иностранных поэтов.

● Известный поэт и критик *Виллем Клоос* напечатал двенадцатый том своих статей о новой и современной литературе.

● Новая монография о Стриндберге. Голландский ученый *К. Ф. Прост*, автор монографий об Ибсене и Ницше, напечатал в Амстердаме обстоятельный труд о жизни и творчестве Стриндберга.

● Голландец *Г. И. Гэрс*, тонкий знаток и ценитель испанской литературы выпустил первую часть прекрасно составленной Антологии новейших испанских и испано-американских прозаиков, «Antologia Castellana».

В сборник вошли, помимо интересных политико-экономических статей и статистических данных, дающих наглядную картину промышленного развития современной Испании и Латинской Америки, очень удачные выдержки из произведений 15 современных испанских прозаиков, из которых некоторые совершенно неизвестны за пределами своей родины и заслуживают, чтобы с ними ближе познакомилась. В сборник вошли следующие авторы: *Асори*, *Пио Бароха*, *Бласко Ибаньес*, *Хулио Камба*, *Хосе Франсес*, *А. Хиральдо*, *Хуан Рамон-Хименес*, *Габриэль Мирó*, *Ортега и Гассет*, *Паласио Вальдес*, *Перес-де-Айала*, *Педро де Ретиде*, *Мигель де Унамун*, *Рамон дель-Вайз-Никлан* и *Варнас Вила*.

Интерес к старой и новой испанской литературе за последнее время снова пробудился в Голландии, о чем, между прочим, свидетельствуют перевод «Стеклянного Лисенсната» *Сервантеса*, исполненный тем же Гэрсом, а также образцовый перевод полного собрания сочинений Тересы, предпринятый кармелитами.

● Голландский писатель *Луи Куперус* опубликовал свой новый роман «Безумие», где под видом персидского царя охарактеризован безумный император наших дней Вильгельм II. Роман написан в обычной для Куперуса фантастической манере.

● Известный голландский византист профессор Хесселинг напечатал на голландском языке «Историю ново-греческой литературы», в которой с редким талантом сумел дать в кратких чертах обзор самых выдающихся явлений этой литературы, начиная с 1453 г.

С историей ново-греческой литературы тесно связана история борьбы разговорного и письменного языков. Профессор Хесселинг по справедливости очень невысокого мнения о трудах, написанных на школьном, «литературном» языке. Он посвящает несколько содержательных страниц деятельности известного Коранса, избравшего средний путь между чисто разговорным и «литературным» языком и имевшего большое влияние на всю ново-греческую литературу, вплоть до 1888 г., т. е. до выступления Психари, вызвавшего настоящую революцию в литературе и окончательно покончившего с насилием Академии над живым языком.

Весь труд подразделен на отдельные части, посвященные выдающимся литературным центрам: Криту, литературный расцвет которого совпадает с владычеством венецианцев, при чем автор проводит интересные сравнения тамошних литературных памятников с имевшими на них влияние итальянскими; Константинополю—этому центру фанариотского движения; Ионическим островам (родине основателя ново-греческой поэзии Силомоса) и Афинам, являющимся центром литературной жизни, начиная со второй половины XIX века. Наряду с «книжными» произведениями XVI и XVII веков—этого периода застоя литературной жизни—автор посвящает интересную главу народному творчеству (в особенности народным песням), возврат к истокам которого вызвал расцвет истинно-национальной поэзии. Профессор Хесселинг доводит историю ново-греческой литературы до 1921 г. В сжатом, но содержательном обзоре литературного движения последних лет да-

ются характеристики отдельных направлений и писателей, с биографическими и библиографическими данными.

В заключении своего труда автор указывает на то, что Греция, национальная независимость которой пока не насчитывает еще и ста лет, не может гордиться первоклассной литературой. Это вполне понятно. Она должна будет окончательно освободиться из под гнета археомании, филологизма и иноземного влияния; настоящий расцвет национальной литературы возможен лишь через народную поэзию и после окончательного признания народного языка подлинно—литературным.

Труд профессора Хесселинга заслуживает тем более серьезного внимания, что он является—за исключением одной истории ново-греческой литературы на немецком языке, вышедшей в 1902 г.—единственным в своем роде, дающим полную картину ново-греческой литературы до последнего времени (маленькая книжка, вышедшая в 1906 г. на французском языке, посвященная современным греческим писателям, заслуживает мало внимания). В самой же Греции нет ни одного сочинения, дающего полную картину литературного развития, начиная с 1880 г.; все материалы для таковой разбросаны в разных сборниках критических очерков.

ГРЕЦИЯ

● В современной греческой литературе поэзия определенно преобладает над прозой. Из последних новинок западная критика выделяет следующие: сборники стихов—«Ночи» *Ариса*, «Никити» *Кариотакиса* и «Отец» *Пароритиса*, новеллы в стихах «Сияющие строки» *Папастристу* и поэтический роман *Язуриса* «Темос Ласкарис».

Один из виднейших ново-греческих поэтов *Паламас* написал изящный этюд о Данте.

ТЕАТР

ПАРИЖСКИЕ ТЕАТРЫ.

Сцены больших парижских театров попрежнему остаются главным образом во власти банально-психологических, натуралистических, тенденциозно-злободневных и полу-бульварных пьес, фабрикация которых весьма облегчена канонами ловких традиционных приемов. Апри Батай, Кюрьель, Лаведан, Саша Гитри... все те же имена, и все та же бессмертная фактура. И однако, и тут намечается некоторый сдвиг, хоть несколько приближающий французскую сцену к исканиям немецкого и русского театров.

Симптомом является, конечно, не тот «кризис театра» (в сущности лишь «кризис кассы», объясняемый трудным экономическим положением населения вообще), на который жалуются директора, тут же утешаясь тем, что он, без сомнения—кратковременный. Нет, есть определенные признаки того, что сами присяжные французские драматурги начинают испытывать пресыщение от старого шаблона и искать более углубленного идейного и художественного подхода в своей работе.

Признаки эти объединены в целую теорию в статье *Поля Бланшара* (в июньской книжке «Le Carnet Critique»), достаточно интересной, чтобы быть рекомандованной.

Вся современная драма, утверждает он, тяготеет к типу трагедии, как изображению «морального конфликта психо-метафизического характера между личностью и судьбой», в качестве «коллективного искусства, где объединяются поэзия, философия, пластика и музыка» и, конечно, «облегченного в дух современной эпохи». Но этот тип может развиваться по разным путям, и два из них Бланшар думает обнаружить в пьесах двух чрезвычайно типичных французских современных драматургов—*Ленормана* («Пожиратель сердец») и *Сен-Жоржа де Бузье* («Жизнь женщины»).

У *Ленормана* «герой новой трагедии показан в борьбе уже не с внешним для него античным роком, а с внутренней фатальностью, выражающей совокупность собственных его бессознательных сил». «Новый человек» одолевает жажду познания, но не мировой тайны, а тайны собственного подсознательного «я». Так, по новому, не без отголосков учения Фрейда, драматизируется вечный конфликт между судьбой и волею личности, и становится ясен смысл заглавия пьесы. Герой ее—«Дон Жуан сознания». И персонажи драмы приобретают широкое символическое значение. Главный герой—«демон познания, обуравляемый жадной обладания бессознательным», первая героиня—«человечество, убегающее от тайны любви», вторая—«дух свободы, радостного и страстного разрушения». Из этого конфликта—неизбежная катастрофа финала.

Иной путь—избранный *Бузье*. Разными средствами, и в первую очередь—обращением к легенде, к народному духу, он стремится создать «символическую мелодраму», единственный, по его мнению, возможный для современного чувства тип живой трагедии.

Поскольку Бланшар не идеализирует, и подобная тенденция к трагедии действительно налична в новой французской драме, в ней трудно не признать воздействия таких высоких образцов как трагедии Клоделя или Верхарна, а также почтенных и упорных (хотя не всегда удачных) стремлений *Андре Жюда*. Но воздержимся пока от суждения, поскольку тенденция эта действительно широка и плодотворна, и обратимся к другим, более бесспорным признакам тяготения французского театра к творческой реформе. Это—энергичная и успешная работы в нескольких небольших театрах типа студий, театрах исканий, которые сейчас крепнут и развиваются в Париже, несмотря на грозный «кризис кассы».

Самый значительный из них, работающий в этом же плане,—театр «Vieux Colomberg» («Старая Голубятня»). Труппа, прекрасно сыгравшаяся под руководством *Жака Копэ*, одушевлена общей художественной идеей. Репертуар, чрезвычайно богатый, состоит из пьес классических (*Мольер*, *Бомарше*, *Марииво*) и новых, из которых многие едва ли увидели бы свет на иной сцене. Из постановок последних месяцев отметим прежде всего «русский спектакль», составленный из пьесы *А. Толстого* «Любовь—внучка золотая» (декорации—*Н. Бутковской*, костюмы—*Судейкина*) и арлекинады *Евреинова* «Веселая смерть», затем—возобновление «Братьев Карамазовых», далее—сильную мелодраму

в символических тонах «Обман» фламандца Луи Фаллана (Fallens) и раннюю трагедию Андра Жида «Саул».

В молодом театре «Atelier», руководимом Дюаном, культивируется сжатость текста и предоставление главного места пантомиме, во имя сценичности. В шедшей там новой пьесе Александра Арну, насыщенной драматизмом (на испано-мавританский сюжет), каждое действие содержит не более шести реплик. Охотно ставятся там же испанские интермедии — Кальдерона, Ф. де Кастро и др.

Наконец, в столь же молодом театре «Athena» ставятся небольшие пьесы настроения с философской подкладкой: «Распятие» Ф. Форэ-Фремье (гимн энергии и зову долга), «психический скачок» Берты д'Ид «За порогом» (полутеософского характера), «Альдиона» Г. Шильда (порыв к вечной красоте среди картин будущего, где механизация убьет всякую духовность) и т. п.

Удастся ли этим разрозненным и разнохарактерным усилиям преодолеть рутину французского театрального вкуса — должно показать близкое будущее.

А. С.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ДРАМА

Итальянская драматургия давно уже не может притязать на видное место среди своих европейских собратьев (не берем в счет пьес д'Аннуцио, слишком своеобразных и стоящих особняком в итальянском театре). Но все же Италия располагает сейчас двумя весьма даровитыми драматургами, работающими в одинаковом направлении, из которого, быть может, суждено развиться интересной школе. Оба они уже не молоды, но лишь за последнее время творчество их получило признание и за пределами Италии. В последних номерах журнала «L'Italia che scrive» появились статьи, содержащие сведения о творчестве обоих писателей за последние годы, сопровождаемые вдумчивой характеристикой. Мы пользуемся приводимым там материалом.

Первый из них Роберто Бракко, родившийся в Неаполе лет 60 тому назад, автор многих новелл и публицистических этюдов, стал писать для театра с 1894 года. С самого начала он стремился к созданию искусства искреннего и глубокого, чуждого внешних эффектов. Апологет женщины, защитник сердца против рассудка, Бракко весь проникнут чувством гуманизма. Высшие симпатии его — на стороне бедных, но простых душ, всегда молчаливо страдающих. Однако, он никогда не впадает в грубую тенденциозность. Драммы его проникнуты атмосферой внутренней тишины и сосредоточенности.

В первое время Бракко не избег подражательности. В его комедиях сказались влияние Бека и Порториша (резкость сатиры, горькая ирония), в социальных драмах — Гауптмана, в психологических — Ибсена. С течением времени творчество его становится более самостоятельным. Мысль его углубляется и захватывает все большие и большие области бессознательной жизни души. Усиливается оттенок меланхолии и пессимизма. Вместе с тем меняются и утончаются приемы выражения. Путь его идет от «Трагедий души», где все чувства персонажей четко обрисованы и выражены им в прямой и осознанной форме, через «Призраки», где душа страдающей женщины скорее угадывается, чем ясно обнаруживается, к «Маленькому святому», где все элеуэливо, и персонажи даже не сознают своей трагедии.

В текущем году вышло в новом издании несколько томов «Театра» Бракко. Последние его пьесы, недавно поставленная — «Безумные». Вокруг тонкого и умного врача-психиатра Флориана, друга человечества, группируется ряд сумасшедших, быть может, не столько сумасшедших, сколько просто несчастных, слабых, потерянных людей. В пьесе как будто ставится вопрос о границах безумия и нормальности. Но это лишь видимость. Главная проблема — иная: что дает человеку счастье, что должно быть базой его равновесия — жизнь чувств или духовная жизнь? Ответ автора уклончив и пессимистичен: в то время как один герой его, измученный страстями, находит отдых и утешение в интеллектуализме, другой, разочаровавшись в идейной работе, окунается, черти голову, в земную страсть.

Более интересен, чем Бракко, сформировавшийся под его влиянием другой драматург — Лиджи Пиранделло. Начав с ученой диссертации о диалектах своей родной Сицилии (1891), он работал затем много как беллетрист и критик.

но без особого успеха. Лишь 10 лет тому назад он обратился к театру, и в нем нашел свое истинное призвание. За последние годы он привлек к себе внимание и за пределами Италии. Пьесы его идут в Лондоне, Нью-Йорке, Будапеште, в Голландии; их ставил в Мюнхене и М. Рейнгарт. В Нью-Йорке сейчас выходит полное собрание его сочинений, при чем будущие пьесы наперед закуплены издательством.

Представитель философствующего психологизма, как и Бракко, Пиранделло еще более углубляет мироощущение и приемы творчества в сторону загадочности, намеков, игры светотени. Уже в «Шапке с колокольчиками» (1917) он развивает тему, ставшую затем у него излюбленной — антитезу между тем, чем люди кажутся себе или другим, и тем, что они есть на самом деле. В этом несоответствии — источник юмора его комедий (та же концепция комического, что и у Шекспира). Пиранделло по преимуществу автор серьезных драм, хотя указанный момент дает ему возможность сливать путем незаметных переходов комическое с трагическим. Он умеет вскрыть трагизм в жалком, униженном положении, без величественности (итальянский критик вспоминает по этому поводу Достоевского).

Многие драмы Пиранделло бросают публике смелые парадоксы в духе Б. Шо. Автор охотно превращает черное в белое и наоборот. Любимые мотивы его — «сцена на сцене» и изображение сумасшедших. Тема последней драмы его «Генрих IV» (поставлена в этом году) — тождество безумия и мудрости. Герой погружается в свое безумие для того, чтобы защитить себя от зла, идущего от здоровых людей. Он покидает свой фантастический мир лишь один раз — чтобы убить человека, явившегося к нему из мира «здравомыслящих», с целью пробудить в нем одно ненужное, погребенное воспоминание и этим погубить его. Но, совершив убийство, герой вынужден вновь, и уже навсегда, уйти в свое безумие, чтобы защитить себя от преследования здравомыслящих за единственный здоровый поступок, который он совершил среди своего безумия.

Тот же оттенок мрачности и фантазмагории носят все его последние пьесы, начиная с «Маттиа Паскаля», «Леола», «Шесть персонажей в поисках автора» и др. Но сложная и часто туманная идеология их не отзывает сухим интеллектуализмом, ибо всегда компенсируется горячим драматическим темпераментом и сценичностью. Диалог его — резкий, полный взрывов, почти лишенный образов, с силой концентрирует чувство. Некоторые сцены по насыщенности и горячему пафосу напоминают Шекспира. Такое соединение заимствованной с севера идеологии с национальной горячностью и чувством конкретности ведей обещает принести интересные плоды. С именем Пиранделло на своем знамени, группа молодых итальянских писателей ведет сейчас борьбу за новый театр.

● В Римском театре в Фьезоле под открытым небом ночью состоялась постановка пьес д'Аннуцио «Дочь Порно» и «Факел под мерой»

● В Гавновере была представлена пьеса Стриндберга «Христос», составляющая часть трилогии «Моисей — Сократ — Христос»; пьеса впервые появляется на сцене. Действие «Христа» охватывает не менее 68 лет — со дня рождения Христа до смерти Перона. Диалоги воспроизводят часто дословно текст Евангелия. Пьеса по своей форме сильно напоминает средневековые мистерии и могла бы быть представлена, на подобие им, в церкви.

● Новая пьеса Маринетти «Огненный барабан», поставленная в Миланском Лирическом театре, была встречена публикой по началу сочувственно, но под конец осуждена. Пьеса — попытка использовать новые средства для создания впечатлений от окружающей среды, в данном случае африканской пустыни, посредством ритма шумов.

● **Бернард Дибольд.** Анархия в драме. «Анархия в драме» — совершенно верное обозначение того, что делается за последние годы в немецкой театральной жизни. «Новое искусство идет новой жизнью». Эти поиски совершаются в силу мощной внутренней необходимости, без какого-либо заранее продуманного плана. Дибольд пытается определить «дух и душу» современной немецкой драмы. Его книга — сборник фельетонов, печатавшихся за последние годы во «Франкфуртской газете». Являясь, таким образом, летописью немецкого театра, книга представляет большой интерес.

Театральная летопись Дибольда однако совершенно не отмечает произведений не характерных для поисков новой жизни. В ней мы не встретим целого ряда «популярных» имен. Сделан известный подбор, и в результате из «анархического» сборника статей получилась своего рода история экспрессионизма в немецкой драме.

Историческое мышление — неизменный признак немецкой художественной критики. К самому определению понятия экспрессионизма в драме Дибольд относится равнодушно, но вопрос о генезисе экспрессионизма, о связи его с жизнью — интересует Дибольда очень живо. Главная цель его книги показать,

какое большое значение имели для судеб современной немецкой драмы «классики модернизма, Стриндберг и Ведекинд».

Им Дибольд уделяет значительное место в своей книге и дает очень яркую характеристику обоим, особенно Ведекинду, «арлекина-трагика современной немецкой драмы». Влияние Стриндберга на новую драму Дибольд определяет, как влияние чисто театрального элемента, театрального «легкомыслия», приведшего к анархии.

Из немецких авторов последнего призыва Дибольд высоко ценит Штернгейма, «грансенора современной немецкой комедии». Его привлекает легкость, точность, «парадный тон» комедий Штернгейма. Характеристики Кайзера и Унру кажутся менее убедительными, но, конечно, надо знать их творчество в полном объеме, чтобы высказаться о правдивости суждений Дибольда. Из других, в России еще совершенно неизвестных новых немецких драматургов, Дибольд особенно выдвигает Корнфельда, как «удивительного мастера языка».

Самый экспрессионизм в драме представляется Дибольду лишь «художественной возможностью, почвой для будущего искусства, кризисом»... Такое нерешительный вывод этого в высшей степени интересного сборника о новом немецком сценическом искусстве.

МУЗЫКА

● Одним из интереснейших явлений в области новой немецкой музыкальной критической литературы является новый труд **И. Беккера** о Густаве Малере, исследующий происхождение нового симфонического искусства, наиболее выдающимся представителем которого является покойный венский мастер.

● В Берлине вышел сборник *в память Артура Никиша*; в нем приняли участие Рихард Штраус, Гергард Гауптман, Лудвиг Фульда, Мошковский, барон фон Люциус и др. Издание украшено неизвестными до сих пор фотографическими снимками Никиша.

● Критика отмечает, как новую музыкальную силу, немецкого композитора и пианиста **Горбарта Вальдена**, работающего сейчас в Париже. В его пьесах «Экспрессионистский танец», «Элегия», «Симфонические отрывки» и т. п. ощущается внутренняя близость к Баху.

● **Пьер Ласерр** напечатал книгу «Философия музыки», в которой дается следующее определение ее значения: язык музыки не имеет абсолютного значения сам по себе; оно обусловлено внутренней потребностью выразиться в звуках. Всякая перемена, соответствующая этой потребности — мысли, чувствительности, вдохновения — имеет в ней свое оправдание и означает обогащение искусства.

● В творчестве **Онегга** (Honegger), одного из членов «шестерки», замечается поворот к старым формам. Так, в его музыкальной поэме «Скэтинг-Ринк» последовательно проведена система вагнеровских лейт-мотивов («Соблазн», «Мель», «Торжество»). Пьеса была освящена публичкой, но часть критики ее горячо приветствует.

● Из книг по музыке, вышедших в Париже, отметим: **П. д'Алмейда**

«Мусоргский» и **М. Олениной д'Алмейды** «Заветы Мусоргского».

● В лондонском оперном театре за последний сезон была возобновлена постановка полного цикла «Кольца Нибелунгов» Вагнера, что свидетельствует об ослаблении шовинизма в Англии.

● Критика сетует на невозможность создать национальную английскую оперу:

все подобные опыты местных композиторов неизбежно проваливаются на сцене.

● Мюнхенское из-ство Бекавы выпустило обширную (495 стр.) монографию о Модерте **Людвиге Шидермайра**, которую критика рассматривает, как интересно написанную главу истории немецкой культуры.

ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА

● Из книг по искусству, вышедших за последнее время во Франции, заслуживают быть отмеченными следующие:

Габриэль Мурэ (Mourey) — «Новое французское декоративное искусство». Обстоятельное исследование, в котором, между прочим, оттеняется роль Бинга, как посредника при передаче влияния азиатских образов, а также английских (У. Морриса и др.).

Джон Шарпантье — «Английская живопись». Серьезная работа. Особенно подробно разбираются прерафаэлиты и вопрос о взаимодействии между континентальными школами и английской.

Гюстав Кокио (Coquiou) — «Лотрек». Анализ творчества разбираемого художника почти отсутствует, но автор, лично близко его знавший, сообщает любопытные биографические сведения.

А. Мерсеро — «Андре Лот». Подробное, систематическое исследование, со стороны идейной, психологической и формальной, творчества Лота (Lhote) — одного из вождей столь модного сейчас неоклассицизма в живописи. Очень хорошо исполнены репродукции.

Продолжается усиленный интерес к русскому искусству, о чем свидетельствует ряд новых капитальных, прекрасно выполненных фирмой Поволоцкого изданий:

Гончарова и Ларионов — «Современное театральное декоративное искусство» (с 25 гравюрами).

Талашкино — русское крестьянское искусство» (с 180 таблицами).

Тенишева — «Русское искусство», текст Дени Роша (с 20 цветными таблицами).

«Описание Киевского музея Хавенко», текст Г. Лукомского (с многочисленными фотогр. воспроизведениями).

Художник и теоретик кубизма **А. Глэз** выпустил книгу «Творческая миссия человека в области пластики».

Известный исследователь по вопросам эстетики **Жало** выпустил работу «Искусство и нравственность».

● Дневник **Одилона Редона**. В Париже вышел том под заглавием «Самому себе», содержащий «Исповедь» Одилона Редона и его дневник от 1867 до 1915 г.г. — ряд кратких, но часто метких и глубоких заметок о жизни, искусстве, художниках и композиторах. Вот несколько выдержек. Характеристика Франца Гальса: «Он за два века до нас (т. е. француз) открыл все утонченности художественного созерцания; он — не пророк, но сильнее, чем кто-либо, сумел передать животную жизнь в стадии ее пароксизма».

Различие между Рембрандтом и Рубеном: «Ни один мастер не рисовал драму, как Рембрандт. Рубенс обладает гением *mise en scène*».

О жизни: «Как было бы сладко состариться, если бы с течением лет в нас иссяк источник горестей! Но нет, мы спускаемся с горы в спутствии слишком верного спутника: наше сердце не покидает нас!»

За «Исповедью» в ближайшем будущем должны последовать в двух томах «Испытания Редона».

● Под заглавием «Воспоминания старого римлянина» **Пьер де-Нолак** выпустил сборник, в который, помимо сонетов, вошли статьи, посвященные археологии, истории и искусству.

Напр., «Ватиканская библиотека при Льеже XIII», исторический очерк двора Фарнезе, вмещающего французское посольство и французский археологический институт, статьи о Губере Робере, Клод Лоррене и т. д.

● Журнал «La Revue de l'Époque» предложил недавно художникам и критикам анкету о кубизме, с вопросами: «1. умер ли кубизм; 2. если да, то от какой болезни?»

Ответы получились самые разнообразные. Отметим из них наиболее любопытные, резюмируя их. «Кубизм лишь временно болен». «Кубизм — дряхлость искусства». «Кубизм еще не родился: он — возможность, которая осуществится». «Кубизм умер до своего рождения». «Кубизм смешал цель со средством». «Кубизм, как предельная цель, не может умереть». «Кубизм не абсолютен, но путь; то, что вчера называли кубизмом, сегодня уже превзойдено им». «Кубизм стал музейным чудищем».

В общем, в ответах решительно преобладает отрицательное отношение к кубизму. Заметим, что большинство видных мастеров и критиков уклонились от ответа.

● На днях вышли первые книги «Общей истории французского искусства от Революции до наших дней», снабженные предисловием хранителя Люксембургского музея — Леона Бенедикта. Отдел прикладного искусства ведет Габриэль Мура, архитектуры — Жорж Громар, скульптуры и живописи Луи Воксеа и Андре Фонтена.

● Луи Гуртик напечатал превосходный труд «От Пуссена до Ватто», в котором прослеживается влияние религиозных и философских течений, в особенности картезианства, на французское искусство XVII и XVIII веков.

● Этьенн Моро-Шатон выпустил в трех объемистых томах монументальную монографию, посвященную жизни и деятельности Жана-Франсуа Милла.

● В настоящем году в частных залах и галереях Парижа состоялись выставки произведений следующих художников и скульпторов: Люк-Альбера Моро, Тобэна, Делиньера, Ж. Песка, Валентины Пра, Кларета (каталонский скульптор), Эжена Дэтэ, Бишоффа, Ладэнна, Модильяни, голландцев Вейнгартта и Шельфхута, молодых польских художников (критика выделяет из них Хмелинского, Нину Александровича, Кисельнига, Гросса, Ледницку, Богдановича, Брандела), Зинга, Саббача, Вийяра, Бурделла, Бор. Григорьева и Алексея Грищенко. Кервилл, Шарбонье, Беренче, Марселя Гайяра, Галани, Хулио Гонсалеса, Вальдо Барба, группы ирландских художников (критика

отмечает их общую близость к английской школе, выделяя, как более даровитых, Дикки, Генри Поля и мисс Гамилтон), Л. Букэ, Владислава Медгбеса, Ш. Орловой, Октава Морийо, Литы Бенар (собрание масок писателей), Эммануэля Гондуэна, Ролана Шавенона, Марг-Крисса; чехов Г. Карса и Матульки, Марселя Роша, Гийермана, Болеслава Бегаса, Марселя Громара, Гюстава Шна-ли, Жака Вийона, Годиссара, Шарля Рамона и мн. др., не считая ряда выставок групп и объединений художников, пестрых или однородных по составу и направлению.

● В Берлине имела крупный успех выставка акварелей и рисунков Луиса Коринта, по которой представляется возможность проследить этапы творчества этого художника, бывшего сперва академиком, а затем реалистом и сецессионистом. Самыми интересными и талантливыми большинством критиков признают последние работы маститого художника, в особенности прекрасные пейзажи Вальхенз.

● В Дрездене открылась выставка произведений известного немецкого художника и иллюстратора Макса Слехфота, позволяющая ознакомиться с его произведениями за 20-летний период его художественной деятельности.

● Знаток барокко, Виктор Мангеймер издал репродукции известной серии гравюр (на 23 листах) «Balli di sfessania» знаменитого гравера Калло, которым так восторгался Гофман. Приложением к этой серии гравюр служит учное и живо написанное изыскание в двенадцати кратких главах. В первых шести дается картина развития «Commedia dell'arte». В последующих шести главах рассматриваются типы, выведенные на гравюрах Калло. Интересно отметить, что три главных типа Commedia dell'arte совершенно не встречаются у Калло, так как они не были популярны в Неаполе, где он, во время своего кратковременного пребывания осенью 1620 г., набросал эскизы для своих гравюр. Бенедетто Кроче доказал, что «Balli di sfessania» — название неаполитанских народных танцев. В приложении к своему изысканию Мангеймер рассматривает отношения Гоффмана и Калло. Гениальный немецкий романтик чувствовал сильное влечение к Калло; его привлекала красочность сюжетов и карикатурно-проничная трактовка материала. Но он совершенно не постиг истинного духа этого типичного представителя барокко. Для него грубо-натуралистичный характер перво-

бытной «Commedia dell'arte» принял оттенок утонченный, грациозно-стилизованной сказочной комедии в духе Готти. В Калло, который был холодно-объективным наблюдателем и художником-дворянином, вращающимся в высших кругах, он видел какого-то романтического фантазера и даже сентиментального юмориста.

● В Бернской городской библиотеке Гейзер сделал важное открытие: — ему повезло найти трактат о составе масляных красок, употребленных старыми мастерами. Автор этого трактата, написанного на немецком языке, — монах из Кольмара. Трактат составлял часть знаменитой Страсбургской рукописи о технике живописи, погибшей во время пожара 1870 года.

● Римско-германская комиссия германского Археологического Института в Бамберге только что выпустила прекрасно изданный атлас «Germania Romana» (Римская Германия) со множеством превосходных репродукций памятников и развалин, всех римских древностей, известных до сих пор в Германии. Часть этих репродукций была рассеяна во множестве журналов, а часть появляется впервые, так что ученые встретят в этом монументальном труде сводку того, что до сих пор им приходилось разыскивать во множестве разрозненных изданий.

● Из многочисленных книг по изобразительным искусствам, вышедших за последние месяцы в Италии, отметим как наиболее капитальные:

А. Палладио — (из коллекции «Мастера архитектуры»).

А. Мелани — Древняя и новая итальянская архитектура.

А. Серра — Рафаэль (со многими таблицами).

Начато роскошное издание геллотипическим способом цельных фресок и всех деталей ватиканских «Станд» Рафаэля, в 4 томах с текстом А. Вентури. Пока вышел 1-й том, охватывающий материал «Станды Сеньятуры».

Фр. Пеллати — Музеи и художественные галереи Италии, обстоятельный путеводитель.

Ч. Ратта — Декоративное искусство в современном книжном деле.

● Из новых книг по истории искусства и археологии следует отметить труды П. Беккарини «Десять лет новых раскопок в Помпеях» и Дуданно «Далмация в итальянском искусстве».

● В Англии вышел за последнее время ряд капитальных работ по искусству:

Томас Беверидж — Английская деревянная «культура» в эпоху Возрождения.

Алэн Марканд (Marquand) — Андреа делла Роббиа и его мастерская, 2 тома.

Дж. Шарингем — Издание рисунков Дюрера к Часослову, пером и карандашом.

Ф. Паулсен — Живопись этрусских гробниц — истолкование сюжетов.

Грэм Джэксон — Возрождение римской архитектуры, т. II.

Чарлз Холмс — Констэбл, Генсборо и Льюкас.

С. Гарднер — Путеводитель по английской готической архитектуре.

Изданы также рисунки Уильяма Бэка к поэмам Грея.

● Найденный директором афинского национального музея Стансом на мысе Сунниуме прекрасный барельеф выставлен в настоящее время в Афинах. Это — надгробный памятник из последнего периода высшего расцвета эпохи Фидия, приблизительно 460—450 г. до Р. Х., изображающий молодого атлета, венчающего себя лавровым венком, находившийся, по всей вероятности, в храме Посейдона на мысе Сунниуме. По фактуре работы памятник этот очень схож с скульптурами Парфенона. На нем сохранились слабые следы красок и отверстия для прикрепления утерянного бронзового венца.

● Сэр Мартин Конуэй, известный своей прекрасной монографией о средневековых нидерландских художниках, выступил с новым монументальным богато иллюстрированным трудом «Братья ван-Эйк и их последователи», являющимся результатом более тридцатилетних изысканий, в которых дается подробная история раннего нидерландского искусства в связи с современным культурно-социальным движением.

НАУКА И ТЕХНИКА

ЭЙНШТЕЙН ВО ФРАНЦИИ.

Интерес во Франции к учению Эйнштейна достиг своего апогея, свидетельством чего может служить появление его «Теории частной и общей относительности в общедоступном изложении» в переводе г-жи И. Рувьер на французский язык и целого ряда популярных изложений его учения, как напр., «Аксиомы механики» Поля Пенлеве «Эйнштейн и вселенная» Шарля Нордманна, «Учение Эйнштейна» Люсьена Фабра; «Физика и метафизика в учении Эйнштейна» Даниэля Бертело; «Элементарное изложение учения Эйнштейна» Жана Бекреля; «Теория относительности, изложенная без помощи математики» Поля Кирхберге; «Введение в учение Эйнштейна» Гастона Моха. Июльско-августовский номер «Философского обозрения», издающегося в Париже, посвящен исключительно Эйнштейну. Но самым крупным явлением среди этой, столь быстро-разрастающейся литературы, следует признать книгу *Анри Бергсона* «Длительность и одновременность в связи с учением Эйнштейна», в которой в сжатой, ясной, элегантно-форме дается разбор и критическая оценка его учения. Бергсон дает ему толкование, вполне подходящее к традициям здравого смысла. Сложилось мнение, что учение Эйнштейна сильно идет навстречу крайне-материалистическому течению, не признающему никакой объективно-детерминированной реальности. На самом же деле Эйнштейн дает новое толкование понятию пространства и времени и утверждает тяжесть света лишь в интересах установления постоянства и непререкаемости законов природы. Его учение является самым энергичным протестом против всех туманных, неопределенных, не строго-научных попыток объяснения законов природы. Ньютонскому закону всеобщего тяготения он противопоставляет более точный и более общий. Для него тяготение не является самостоятельной силой, но одним из случаев всемирной инерции и механики. По мнению Бергсона, Эйнштейн является прямым последователем Декарта и его теории всеобщего механизма, которую сменил «динамизм» Ньютона, считавшийся почти непреложной истиной до самого последнего времени.

● В записках Британского Метеорологического Общества появилась любопытная статья проф. *Брукса* о климатических переменах в Западной Европе.

По его мнению, последнее обледенение Европы было от 3000 до 18000 года до Р. Хр. Климат зап. Европы был тогда холодным, полярным.

Последующие климатические периоды подразделяются Бруксом следующим образом:

1) от 18000—6000 гг. был суровый континентальный климат, происходило таяние льда.

2) Около 6000 г. до Р. Хр. прекратилось сообщение Балтийского моря с Атлантическим океаном. Климат Скандинавии и Финляндии стал преимущественно континентальным. Конец этого периода был особенно благоприятен для роста лесов.

3) Около 4000 г. до Р. Хр. воды Атлантического океана снова вошли в Балтийскую котловину вследствие понижения поверхности Скандинавского полуострова. В это время Балтийское море занимало гораздо более значительное пространство, чем в настоящее время. Континентальный климат сменился морским: влажным и более теплым. Многочисленные торфяные болота вытеснили леса. К этому времени относятся остатки человека неолитического периода.

4) Около 3000 г. до Р. Хр. в южной части Великобритании и соседних частях Европы снова произошло повышение почвы. Климат стал суше и даже Ирландия покрылась лесом; многие болота высохли и поросли лесами; на дне болот нашего времени находят остатки деревьев того периода. К нему относятся остатки человека «бронзового века».

5) Около 1800 г. до Р. Хр. земная поверхность снова опустилась до своего настоящего уровня, быть может, даже и ниже. Это был период бурь и проливных дождей. Климат северо-западной Европы сильно ухудшился, стал более прохладным и влажным; леса стали быстро заболачиваться. Быть может, этот «железный век» появления новой суровой человеческой расы происходит гибели более древних культур: «сумерки богов».

6) Совершенно внезапно, около 300 г. до Р. Хр., этот период перешел в тот, который продолжается и поныне. Климат стал теплее и суше, торфяные болота стали уменьшаться.

● Астрономические наблюдения Потсдамского профессора *Шнаубера* привели к удивительным выводам. Оказывается, что географическая широта Потсдамской обсерватории в течение 1921 года значительно переместилась (за несколько лет расстояние от северного полюса сократилось на 15 метров). Подтверждением того, что этот факт

не является местным, служат наблюдения астрономической обсерватории в Укпе (Калифорнии), давшие за период в 17 лет перемещение в 5 метров. Эти астрономические явления крайне важны с географической точки зрения, так как они устанавливают, что перемещение земных полюсов гораздо более значительно, чем до сих пор предполагалось.

● Запасы каменного угля на земном шаре. На последнем международном съезде геологов в Канаде, в городе Торонто, было поручено особой комиссии подсчитать запасы каменного угля во всех странах земного шара. Насколько произведенные до настоящего времени расчеты были неточны видно из того, что в 1846 г. запасы каменного угля в Германии исчислялись всего в 11,1 миллиардов тонн, а в 1913 г. в 423,3 миллиарда тонн. В настоящее время комиссия опубликовала свои приблизительные подсчеты. Оказалось, что во многих странах угля гораздо больше, нежели предполагали ранее. В Германии указанное выше число несомненно слишком мало, так что даже при том расходе угля, который был до начала европейской войны, угля в ней хватит на 1500 лет. В то же время в Англии угля всего 171 м. т. Этого запаса при таком расходе, как в настоящее время, хватит только на 300, максимум 400 лет. Во Франции имеется запас угля в 17,5 миллиардов тонн, в России—60, в Бельгии—11, Испании—8, Голландии—4,5, Италии всего 0,25. На острове Шпицбергене—8 м. т. Во всей Азии запасы угля в 1279 м. т. (в одном Китае приблизительно 1000 м. т.), в северной Америке 5100 м. т. (в том числе в Северо-Американских Штатах—4000), в Южной Америке—32, в Африке—57 и в Австралии и Полинезии—170 м. т. Всего на всем земном шаре запасы угля достигают приблизительно 7400 миллиардов тонн. Предполагая, что расход угля, достигающий в настоящее время 1,3 миллиардов тонн в год, останется неизменным и в будущем, всех запасов каменного угля должно хватить на 6000 лет.

● Известный психолог *Шарль Бодуэн* в книге «Этюды о психоанализе» восстает против крайностей увлечения учением Фрейда. Громадное число явлений, приводимых фрейдистами, легко объясняется в свете традиционной научной психологии, без привлечения к делу эротического момента.

● *Эдвард Лутер Стивенсон* в двух томах своего монументального труда «Земные и небесные глобусы, их история и сооружение» собрал все доступные сведения о сооружении глобусов с древнейших времен до конца XVIII века и дает подробное описание всех известных глобусов. В книге множество фотографических снимков.

● Классическая книга «Натуралист в Лавлате» недавно умершего *В. Г. Хадсона* вызвала весьма благосклонные отзывы всей английской и американской прессы. В книге даны прекрасные описания фауны и флоры Лавлаты, изложенные строго-научно и в то же время увлекательно. Описанные им племена до сих пор не подвергались научному исследованию. Средства для экспедиции проф. Карстена, продолжавшейся с 1916 по 1919 гг., были ассигнованы Гельсингфорским университетом и Гетебургским музеем, которые обогатились весьма ценными коллекциями, привезенными в Европу экспедицией.

● Стокгольмская Академия наук присудила Гельсингфорскому профессору *Рафаэлю Карстену* Лубатскую премию, предназначенную лучшим трудам скандинавских ученых в области американской археологии, этнографии, истории и нумизматики. Профессор Карстен выпустил за последние годы целый ряд очень ценных трудов о южно-американских индейцах; из этих трудов особенно замечательны написанные по-шведски книги: «Среди индейцев в девственных лесах Эквадора» (в двух томах) и «Кровавая месть и военные празднества среди индейцев восточного Эквадора». В течение целого ряда лет профессор Карстен изучал на местах быт индейских племен по обоим склонам Анд и в долинах Амазонки.

● *Свен Гедин* подготавливает новую экспедицию в Тибет, которая должна состояться в 1923 году и продлиться 3—4 года. С. Гедин, которому уже удалось открыть истоки Инда и Брахмапутры, надеется открыть в Тибетских горах также источники великих китайских рек. Намечается исследование горных хребтов, до сих пор совершенно неисследованных. В экспедиции примут участие видные шведские ученые. Перед своим отъездом С. Гедин намерен прочесть в Соединенных Штатах Северной Америки ряд лекций о Тибете.

ФИЛОСОФИЯ

● Учрежденное в 1920 г. в Гааге «Общество имени Спинозы», членами которого состоят известнейшие европейские знатоки Спинозы, выпустило первый том предназначенного исключительно для членов Общества «*Chronicon Spinozanum*», в который вошли, помимо неизданных документов к истории философии, ценные труды Гаральда Гёфдинга, сэра Поллака Леона Брюнсовига, Станислава Дунина-Борковского, Гальперина, Вольфрама, Гиллеума, Карла Гергардта, Виллема Мейера.

● Джованни Джентиле приступил к новому изданию своей «Системы логики, как теории познания». Автор задается смелой мыслью — объединить в логическом синтезе два философские течения, которые до сих пор считались диаметрально противоположными: Аристотелевскую логику и немецкую диалектику, основание которой положил Кант, нашедшую свое завершение в системе Гегеля.

● Фердинандо д'Амато напечатал замечательный труд «Философская мысль Бергсона», в котором дается объективная оценка Бергсона; автор подчеркивает несостоятельность принципов его системы для разрешения главнейших проблем философии.

● Наследники скончавшегося в 1919 г. известного историка философии, переводчика и комментатора Сутр Веданты и издателя Шопенгауэра Паул Дейссена опубликовали его автобиографию «Моя жизнь».

● «Новый Идеализм» миссис Сенклер — тонкий разбор теорий Эйнштейна, Бергсона, Бертрона Рассела и других современных мыслителей.

● Артур Кенан Роджерс напечатал обстоятельную Историю английской и американской философии с 1800 г. до нашего времени.

● Профессор математики Колумбийского университета Кас-Сид Кизер напе-

чатал книгу «Философия математики», которую сам называет «этюдом о судьбе и свободе воли»; в книге доказывается необходимость положить в основу воспитания и всех научных дисциплин строго математический метод мышления.

● В издательстве Кезень-Пустет в Регенсбурге начала выходить «Философская библиотека», дающая энциклопедию католической философии. Вышло до сих пор четыре тома: I — Введение в философию, проф. Эндреса, II — философия истории, Фр. Савицкого, III — IV — натурфилософия, проф. И. Швертшагера.

● Известный немецкий философ Гартмут Пипер написал новый труд под заглавием «Одряхление и возрождение в жизни народов», направленный против крайнего пессимизма О. Шпенглера. Автор считает взгляды последнего слишком односторонними, а его диагноз относительно будущего опасным для переживающего теперь тяжелый кризис организма Европы. Путем параллелей из всеобщей истории, он доказывает, что европейская культура достигла теперь не старческого возраста, а разве лишь такой стадии развития, какая соответствует позднему периоду зрелости в истории Греции, до выступления на историческую арену Филиппа и Александра. В конечном выводе, Пипер приходит к заключению о бессмертии всякой культуры вообще и неиссякаемой жизненной энергии германского народа в частности.

● В Берлине скончался 75 лет от роду Герман Дильс, бывший с 1882 г. профессором классической философии при Берлинском университете. Покойный пользовался в научном мире славой первоклассного ученого, и его издания греческих поэтов философов, отрывков Гераклита и других древнейших греческих философов, древнейших греческих врачей и др. считаются образцовыми. Он состоял главным издателем-редактором выходящего в Берлине издания греческих комментаторов Аристотеля.

VARIA

● «Архив имени Нидше» в Веймаре открыл конкурс на следующую тему: «Какие следы отложило развитие нравственных понятий на языках, в особенности их этимологии». Премия — 5,000 марок. В жюри входят профессора Бруно Баух и Фердинанд Зоммер из Пенны, Гарри Кесслер из Берлина, Веймарский бургомистр доктор Адальберт Элер и сестра Нидше, г-жа Ферстер Нидше.

● Основанная Эдмоном Пикаром «Свободная Бельгийская Академия» (*Académie libre de Belgique*) приступила к избранию 10 новых членов на место Метерлинка, Теирлинка, Вермейлена, Экхота, ван-Зейне, Клауса, Вандервелде, Руссо, Ромбо и Хорта, которые после своего вступления в члены одной из королевских академий не имеют более права состоять членами «Свободной Академии».

Избранными на их место оказались: Виктор Рейльс и Питт (музыка); Марлоу, Дюмон-Вильден, Кристоф (литература), Жефферис, Олефф, Путтман (пластическое искусство), Бломм, Бондуэль (архитектура).

● Вышел новый сенсационный труд Артура Дрекса (*Drews*) «Евангелие Марка, как свидетельство против исторического существования Христа», представляющий, судя по предисловию, только часть уже готового к печати четырехтомного исследования об евангелиях. Путем самого детального и тщательного анализа Нового Завета Дрекс приходит к выводу, что жизнь Христа, как о ней рассказывается даже в Евангелии Марка, которое одно только и может претендовать на историческое значение, представляет чистый вымысел, поэтическое произведение, тесно примыкающее к данным Ветхим Заветом образами Авраама, Моисея, Илии, Елисея, Ионы и к так называемым мессиянским пророчествам. Вряд ли однако этот новый труд Дрекса, несмотря на всю эрудицию автора, будет иметь большой успех, чем аналогичное, вышедшее лет сорок тому назад, ученое исследование Рудольфа Зейделя, который, идя тем же путем критического разбора евангелий, пришел к убеждению, что прототипом истории Христа послужила биография Будды, буддийский эпос. Одно только с несомненной доказанностью Дрексом и признано даже многими его противниками из среды теологов — то, что светская литература не включает в себе никаких веских данных, подтверждающих, что Иисус

действительно жил, проповедывал и умер на кресте, а тем более воскрес после смерти. Единственный же источник для биографии Христа, евангелие, далеко не обладает той степенью достоверности, какой требует современная строгая наука истории.

● В текущем году вышли две брошюры Феликса Гааге (занимающего кафедру истории восточной церкви в Бреславльском университете): «Религиозная психика русского народа» и «Русская церковь и социализм».

● Гигантская ледяная пещера (Эйзризенвельт). В прошлом году была подробно исследована ледяная пещера, находящаяся в горах Танненгебурге в сев. Швейцарии. Она оказалась выдающимся «чудом природы» не только по своей величине, но и по красоте. По исполнению коридору в 30 мтр. ширины и 20 мтр. высоты протекает ледяная река в два с половиною километра длиной. Во многих местах коридор расширяется, образуя громадные залы в 120 мтр. ширины и 50 мтр. высоты, при чем в этих местах река разливается в великолепные блестящие ледяные озера. В одном месте, где склон коридора очень крут, образуется медленно ползущий вниз живописный ледопад 800 мтр. длины, покрытый величественными ледяными столбами.

Образование подобного рода пещер объясняется тем, что зимою тяжелый холодный воздух непрерывною струей проникает снаружи в пещеру сквозь верхнее отверстие или ряд трещин и уходит обратно через нижнее отверстие или трещины. По пути воздух охлаждает стенки пещеры ниже 0°, так что просачивающаяся в пещеру почвенная вода замерзает. Летом наружный теплый воздух легче воздуха в пещере, поэтому движение воздуха внутри пещеры почти прекращается и температура в ней остается настолько низкой, что таяния льда не происходит. С течением времени в пещере может накопиться громадное количество льда.

● Национальные парки в Соединенных Штатах. Граждане Соединенных Штатов прилагают особенные старания, чтобы сохранить для человечества в нетронutom диком виде местности, выдающиеся по своей красоте или своеобразным проявлениям природы. Первый национальный парк был образован постановлением конгресса

в 1832 г. в шт. Арканзасе, в местности, изобилующей горячими источниками, и гейзерами. С того времени все замечательные местности были провозглашены собственностью всего американского народа, так что в настоящее время количество национальных парков, если не принимать во внимание островов Гавайи и Аляски, достигает 23 с общей площадью в 27,800 кв. км. Во всех этих местностях запрещено проводить дороги, возводить долговременные постройки и пр., и обращено особое внимание на охрану своеобразных местных животных и растений. Для сохранения памятников культуры прежних обитателей Америки простыми декретами президента Штатов образовано 10, так называемых, резерватов, общей площадью в 5000 кв. км. Они находятся главным образом в шт. Колорадо. Во всех этих местах образ жизни остатков индейцев охраняется в полной неприкосновенности от воздействия общепринятой американской культуры.

● В Лондоне скончался изобретатель телефона *Александр Грэхам Белл*. Он родился в 1847 г. в Эдинбурге, в юности переселился в Канаду, где в 1870 г. усовершенствовал изобретенный Рейсом электрический телефон. В 1877 г. он первый соорудил аппарат без электрического тока, точно передающий высоту, объем и звуковой оттенок звука. Это его открытие послужило впоследствии основой для Сименского телефона и микрофонов (в особенности Юза, Эдисона, Бэка и Берлинера). При содействии Семмера Тэнтера он в 1880 г. соорудил фотофон, передающий, при помощи световых лучей, на далекое расстояние человеческую речь.

● Полное солнечное затмение, происходившее 21 сентября, наблюдалось при особенно выгодных условиях в Южной и Западной Австралии. Наблюдения эти были, главным образом, предприняты с целью научной проверки теории относительности Эйнштейна о влиянии поля тяготения солнца на световые лучи, исходящие со звезд на землю и проходящие на своем пути вблизи солнечного шара.

● Известный германский путешественник и исследователь Африки *Фробениус* выступил в Мюнхене с докладом об Эфиопском племени, расселенном по всему Судану. Этих эфиопов он считает за лучших людей в мире.

Они трудолюбивы, добродушны и кротки. У них почти отсутствуют наказания. По их убеждению, старики умирают, чтобы в загробной жизни заботиться об

изобильном дожде для своих соплеменников. У них удивительные представления о загробной жизни и перевоплощении предков в потмоках. Они сохраняют у себя череп покойного, а когда приходит к убеждению, что тот в достаточной мере позаботился о дожде, они обращаются к нему с просьбой вернуться к ним, нависают его землей, куда сажают зерно, а когда зерно дает росток, то дочь, невестка или племянница считается воплощением зерна, а новорожденный ребенок плодом.

● Берлинский врач *П. Шмидт* дает на столбах журнала «Прогресс Медицины» обзор клинических исследований о методе омоложения венского физиолога *Штейнаха*. Объективные наблюдения над рядом физических и психических изменений человеческого организма, подвергнувшегося операции, дали следующий результат:

Физические изменения. Увеличение веса до 12 килограммов; рост волос и увеличение пигментов; прирост физической силы (в динамометрических измерениях); уменьшение давления крови; улучшение зрения, усиление сексуальных функций.

Психические изменения. Увеличение умственной напряженности, инициативы и памяти, охоты к работе, усиление самосознательности и жизнерадостности.

Эти результаты наблюдались в период от 4 недель до 6 месяцев после операции. Отрицательных последствий не наблюдалось.

Опасения, что за столь быстрым расцветом организма последует столь же быстрый упадок сил, не оправдались.

Доктор Шмидт приходит к заключению, что термин «реституция в скромных размерах», который сам Штейнах применяет к своему методу, слишком скромен и что его без всякого преувеличения можно заменить термином «омоложение».

Доктор Шмидт намерен выпустить в ближайшее время труд, дающий подробное клиническое исследование его личных наблюдений.

● Известным историком немецкого рабочего движения и биографом Энгельса *Густавом Майером* напечатаны в высшей степени важные для биографии Лассалы материалы — переписка и неизданные труды великого агитатора, под заглавием: «Ferdinand Lassale, Nachgelassene Briefe und Schriften». Десятки лет Майер охотился за этими документами и только в ноябрьские дни 1918 г. успел заполучить их

в свои руки. Пока из предполагаемого 8-томного собрания изданы только два тома — первый и третий. В первом — множество драгоценных документов, относящихся к юношеским годам Лассалы: его письма к родителям, свидетельствующие о его трудолюбии, раннем развитии и блестящих дарованиях, так же как и о нежных сыновних чувствах, дополнения к уже появившемуся в печати дневнику, переписка (до 1848 г.) со многими выдающимися деятелями.

Третий том содержит переписку между Лассалем и Марксом и впервые освещает личные, не совсем дружеские, отношения обоих духовных отцов рабочего движения, обусловленные резким контрастом их характеров. По отзывам печати, переписка эта представляет захватывающий интерес, и выход остальных 6 томов ожидается с нетерпением.

● Британский музей обогатился очень ценной коллекцией археологических древностей, найденных в окрестностях ассирийского города Ура (Тель-Эль-Обейд), откуда, согласно ветхозаветному преданию, Авраам отправился в землю Ханаанскую. Было найдено большое количество гробниц, ваз, столов с халдейскими надписями и колоссальных размеров голова льва, с языком из красной лшмы, с зубами из отполированных морских улиток и с глазами из перламутра и яшмы. В развалинах храма была найдена статуя, изображающая трех быков, рога которых были позолочены, если судить по единственному сохранившемуся; а также высоко художественная статуя, изображающая скорченную на земле человеческую фигуру, повидимому, хранителя храма. Эти предметы относятся по крайней мере к 3000 г. до Р. Хр. и почти все прекрасно сохранились.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Рикарда Хух.</i> — Песни бури, стих., перев. Д. Выгодского	3
<i>К. Эдмид.</i> — Герцогиня, рассказ, перев. М. Н. Елагинной, вступительная заметка Е. З.	4
<i>Р. Киплинг.</i> — Заповедь, стих., перев. М. Лозинского	29
<i>Я. Ван Ходис.</i> — Утром, стих., перев. О. Брошниковской	30
<i>О. Генри.</i> — Короли и капуста (продолжение), роман, перев. К. Чуковского	31
<i>К. Мюнцер.</i> — Тереза Фавар, рассказ, перев. А. Горяинова	65
<i>Б. Шо.</i> — Начинается, пьеса, перев. К. Жихаревой, вступительная заметка Е. З.	75
<i>Клод Мак-Кэй.</i> — Проклятие порабощенного, стих., пер. Валерия Брюсова, вступит. заметка К. Ч.	112
<i>М. Мартинэ.</i> — Из книги «Проклятые оды», стих., перев. и вступит. заметка А. Эфроса	113
<i>А. Луначарский.</i> — К характеристике новейшей немецкой поэзии, статья (с приложением стихотворений М. Брода, М. Гумперта, Газенклевера, фон-Гацфельда, Поста, Хейнеке, Казака, Лихтенштейна)	120
<i>Д. С. Мирский.</i> — О современной английской литературе (письмо из Лондона)	139
<i>А. А. Смирнов.</i> — Современное состояние французской литературы, статья	151
<i>Е. Браудо.</i> — Новый дух в немецкой музыке, статья	159
<i>Г. Ерчиковский.</i> — Образование материков и океанов, статья	163
<i>О. Шпенглер.</i> — Пруссизм и социализм (Окончание), перев. А. Горлина	171
Критика и библиография:	
Литература	206
Театр	239
Музыка	242
Живопись и скульптура	243
Наука и техника	246
Философия	248
Vagia	249
Обложка журнала по рисунку художника Ю. П. Анненкова.	

Редакционная коллегия: Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов, К. И. Чуковский.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕТРОГРАД—МОСКВА ПЕТРОГРАДСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Петроград, ДОМ КНИГИ. Проспект 25 Октября, 28. Тел. 132-44.

Вышли из печати и поступили в продажу:

Художественная литература.

- Андерсен-Нексе, Мартин.* — Пассажиры пустых мест. Рассказы. Перевод А. Н. Горлина. 115 стр. Ц. 60 к.
- Брюсов, Валерий.* — Кругозор. Избранные стихи. Обложка художника Н. Вышеславцева. 331 стр. Ц. 50 к.
- Верхари, Э.* — Полное собрание поэм в переводах Георгия Шенгели. Том 3. «Призрачные деревни», «Появившиеся на моих путях», «Дозы моей стены». 130 стр. Ц. 70 к.
- Его же.* — Полное собрание поэм в переводах Георгия Шенгели. Том 5-й «Галлюцинирующие селения», «Города-спруты». 123 стр. Ц. 70 к.
- Зденко фон Крафт.* — Баррикады. Роман. Перевод с немецкого под ред. А. Н. Горлина. 271 стр. Ц. 75 к.
- Никитин, Ник.* — Рвотный форт. Рассказы. Обложка художника Ю. Анненкова. 296 стр. Ц. 80 к.
- Орешин, Петр.* — Корявый. Рассказы. 128 стр. Ц. 35 к.
- Островский, А. Н.* — Бедная невеста. Комедия в пяти действиях. Вступительная статья Н. Эфроса. 154 стр. Ц. 57 к.
- Островский, А. Н.* — Гроза. Драма в 5-ти действиях. Вступительная статья Н. Эфроса. 115 стр. Ц. 35 к.
- Его же.* — Лес. Комедия в пяти действиях. 120 стр. Ц. 35 к.
- Его же.* — Свои люди сочтемся. Комедия в 4-х действиях. Вступительная статья Н. Эфроса. 98 стр. Ц. 40 к.
- Сетон-Томпсон, Эрнест.* — Джек — король Таллакский. Рассказы. Перевод с английского Ад. Острогорской. С рисунками. 288 стр. Ц. 75 к.
- Социалистический Народный Театр.* — Пьесы Э. Преанг. I. Дочери труда; II. Его юбилей. Перевод с немецкого под ред. А. Н. Горлина. Обложка Е. Белухи. 116 стр. Ц. 35 к.
- Степняк-Кравчинский, С. М.* — Штундист Павел Руденко. Дополнено по рукописи. С написанными для настоящего издания воспоминаниями П. А. Кропоткина. Обложка Е. Белухи. 123 стр. Ц. 75 к.
- Толстой, Алексей Н.* — Лунная сырость. Повести двадцать первого года. 79 стр. Ц. 27 к.
- Его же.* Приворот. 88 стр. Ц. 40 к.
- Цветаева, Марина.* — Версты. Стихи. 122 стр. Ц. 50 к.

История литературы.

- Гроссман, Л. П.* — Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. 119 стр. Ц. 1 р.
- Достоевский* в изображении его дочери Л. Достоевской. Перевод с немецкого Л. Я. Круковской, под редакцией и с предисловием А. Г. Горюфельда. 105 стр. Ц. 25 к.
- Оветт, Анри.* — Итальянская литература. Перевод проф. С. И. Соболевского. 356 стр. Ц. 40 к.
- Пушкинский Сборник* памяти профессора Семена Афанасьевича Венгерова («Пушкинист», IV, под ред. Н. В. Яковлева) с портретом С. А. Венгерова. 363 стр. Ц. 2 р.
- Сборник Пушкинского Дома на 1923 г.* — Пушкин, Дельвиг, Крылов, Жуковский, Тургенев, Писарев, Герцен, Чернышевский, Полонский, Стасов, Л. Толстой. Обложка А. Лео. 332 стр. Ц. 2 р. 20 к.
- Уоллес, Дж.* — Уот Уитмен и мировой кризис. Перевод под редакцией А. Н. Горлина. 32 стр. Ц. 6 к.

Искусство.

- Дидро, Д.* — Парадокс об актере. Перевод с французского. VII + 78 стр. Ц. 45 к.
- Плутарх.* — О музыке. Серия «Мыслители о музыке» под редакцией Е. М. Браудо. Вып. I. Обложка художника М. Соломонова. 91 стр. Ц. 50 к.
- Сабанев, Л.* — Скрабин. Второе издание, переработ. автором. 208 стр. Ц. 1 р. 40 к.

Социология, Экономика, Политика, Право.

- Белов, Вадим. — Белое похмелье. Русская эмиграция на распутьи. Опыт исследования психологии, настроений и бытовых условий русской эмиграции в наше время. Обложка Е. Белухи. 149 стр. Ц. 60 к.
- Влистратов, А. И., проф. — Очерк административного права. 236 стр. Ц. 1 р.
- Его же. — Коммунистический интернационал за работой. Практические проблемы в Коминтерне и работа его секций. Речи, произнесенные на IV всемирном конгрессе Коминтерна. 168 стр. Ц. 20 к.
- Зиновьев, Г. Е. — Бессмертное в русской революции. 13 стр. Ц. 2 к.
- Его же. — Собрание сочинений. Авторизованные переводы под общей редакцией Д. Рязанова и И. Степанова. Том IV. 213 стр. Ц. 60 к.
- Каутский, Карл. — Путь к власти. Перевод с немецкого под редакцией Н. Л. Мещерякова. Издание третье, исправленное и дополненное по второму немецкому изданию. 100 стр. Ц. 25 к.
- Колонтай, А. — Положение женщины в эволюции хозяйства. Лекции, читанные в университете Я. М. Свердлова. С двумя диаграммами в красках. 208 стр. Ц. 1 р. 20 к.
- Плеханов, Г. В. — Наши разногласия. 247 стр. Ц. 40 к.
- Сафаров, Г. — Национальный вопрос и пролетариат. Обложка художника Е. Белухи. 204 стр. Ц. 50 к.
- Сперанский, В. Н., проф. — Ламанне, как политический мыслитель (Пророк всемирной революции). 104 стр. Ц. 75 к.
- Тезисы для агитаторов к пятой годовщине октябрьской революции. 8 стр.

Естествознание.

- Богданов, М. Н. — Из жизни русской природы. Зоологические очерки и рассказы. Серия «Популярно-научная библиотека». Ц. 56 к.
- Догель, А. С., проф. — Кровь, как основа жизни человека и животных. Издание 2-е. С 11 рисунками. 32 стр. Ц. 15 к.
- Догель, А. С., проф. — Строение и жизнь клетки. 63 стр. Ц. 30 к.
- Резерфорд, Э. — Строение атома и искусственное разложение элементов. Работы 1919—1922 гг. Подготовил к печати Э. В. Шпольский. Серия «Современные проблемы естествознания». 177 стр. Ц. 1 р. 10 к.

Учебники.

- Ананьев, В. — Утренние зори. Первая книга после букваря. 136 стр. Ц. 55 к.
- Богданов, А. — Краткий курс экономической науки. Переработан и дополнен Ш. М. Двойлашкин, при участии автора. Издание 3-е. 264 стр. Ц. 70 к.
- Его же. — Начальный курс политической экономии (введение в политическую экономию) в вопросах и ответах. Изд. 5-е. 174 стр. Ц. 40 к.
- Боккий, Б. И., проф. — Практический курс горного искусства. Том I. Основы горного искусства. С рисунками. 130 стр. Ц. 2 р. 50 к.
- Державин, Н. С., проф. — Учебник русской грамматики. Опыт научного элементарного курса. I. Основы фонетики и морфологии. Для школ и самообразования. Издание 4-е. 247 стр. Ц. 75 к.
- Млодзевский, А. В. — Термодинамика и теория фаз. Введение в учение о состоянии веществ с точки зрения термодинамики. 172 стр. Ц. 1 р. 25 к.
- Каменьщиков, Н., проф. — Таблицы логарифмов с четырьмя десятичными знаками. С приложением вспомогательных таблиц по физике, химии и астрономии, таблиц упрощающих вычисления, графической таблицы логарифмов и самодельной логарифмической линейки. Пособие для школ и для вычисления. 4-е улучшенное стереотипное издание. 105 стр. Ц. 35 к.
- Кирпичев, В. Л., проф. — Основания графической статистики. 4-е издание, исправленное и дополненное. 346+V стр. Ц. 80 к.
- Меншуткин, Н. А. — Аналитическая химия. 12-е издание, переработанное и дополненное. XVI+440 стр. Ц. 2 р. 20 к.
- Перельман, И. И. — Новый задачник к краткому курсу геометрии. С 80 черт. 132 стр. Ц. 35 к.
- Петров, К. Ф. — Русский язык. Опыт практического учебника русской грамматики. Этимология в образцах. С приложением словаря. 33-е издание, вновь переработанное проф. Д. Н. Ушаковым. 157 стр. Ц. 40 к.
- Попруженко, М. — Начала анализа. 3-е издание. 127 стр. Ц. 75 к.
- Уокер Джеймс, проф. — Введение в физическую химию. Перевод с 7-го английского издания прив.-доц. Я. П. Моссешивили. С предисловием акад. П. И. Вальдена. 2-е русское издание, пересмотренное и исправленное проф. Н. А. Шильовым. VI+310 стр. Ц. 2 р. 60 к.
- Яковлев, Н. Н., проф. — Учебник палеонтологии для высшей школы и для самообразования. Издание 2-е, измененное и дополненное. 447 стр. Ц. 2 р.

Методики и руководства.

- Афанасьев, Т. О. — Путеводитель по вопросам преподавания родного языка в трудовой школе. 56 стр. Ц. 20 к.
- Ситов, И. А., проф. — Проекционное черчение в курсе геометрии единой трудовой школы I и II ступени. Методический очерк для преподавателей школ I и II ступени и слушателей педагогических учебных заведений. 71 стр. Ц. 40 к.
- Учительская школа. — Педагогический сборник, выпущенный по случаю пятидесятилетнего юбилея Петроградского Практического Института Народного Образования (б. земской учит. школы). 135 стр. Ц. 65 к.
- Юн Дж. В. А., проф. — Как преподавать математику в школе I и II ступени. Перевел с английского и дополнил А. Р. Кулишер. С 20 чертежами. XXII+302 стр. 75 к.

Философия, логика и психология.

- Аксельрод, Л. (Ортодокс). — Против идеализма. Критика некоторых идеалистических течений философской мысли. Сборник статей. 240 стр. Ц. 80 к.
- Введенский, А. И., проф. — Логика, как часть теории познания. 440 стр. Ц. 2 р.

История.

- Галактионов, И. — Первопечатник Иван Федоров. 88 стр. Ц. 30 к.
- Молок, А. И. — Народное просвещение во время Парижской Коммуны 1871 года. Под ред. и с предисловием Б. Б. Беккера. 56 стр. Ц. 15 к.
- Тактарев, К. М. — Очерки по истории первобытной культуры. Первобытовое общество. С рисунками. 143 стр. Ц. 50 к.
- Шиковский, Б. — Люди и нравы французской революции. Перевод с немецкого А. М. Ловягина. Под ред. и с примечаниями А. Н. Горлина. Обложка Е. Белухи. 2-е издание. 163 стр. Ц. 40 к.

Техника. Прикладное знание.

- Писарев, Н. — Рациональное устройство мелких электрических установок. Освещение. Звонки. Сигнализация. Общедоступное практическое руководство. С рисунками. Издание второе, пересмотренное и дополненное. 71 стр. Ц. 38 к.
- Досс, К., и Вильерман, Р. — Практическое руководство к исследованию питьевых и сточных вод. С 24 рис. Перевод с немецкого доктора Я. А. Окуневского. Под редакцией с дополнениями и примечаниями д-ра мед. Костямина. 163 стр. Ц. 80 к.
- Керженцев, П. Н. — Принципы организации. С рисунками. 144 стр. Ц. 27 к.
- Окуневский, Я. А., д-р. — Описание некоторых способов санитарных исследований и требований, предъявляемых к пищевым продуктам и к материалам. 134 стр. Ц. 56 к.
- Прасолов, Л. — Почвенные области Европейской России. С картой. 66 стр. Ц. 16 к.
- Фасс, В. В. — Леса северного района и их эксплуатация. Выпуск XV. 380 стр. Ц. 1 р. 20 к.
- Хвольсон, О. Д. — Метрическая система мер и весов. 40 стр. Ц. 11 к.

Книги для детей и юношества.

- Древняя Ассирия. — Картины из ее жизни. Сказания о богах и героях. Перевод и обработка М. А. Дьяконова для детей книги Дж. Байки. 100 стр. Ц. 25 к.

Журналы.

- «Архив Биологических Наук». Т. XXII. VII+196 стр. Ц. 2 р. 30 к.
- «Вестник Рентгенологии и Радиологии». Т. II, в. 1. 72+31 стр. Ц. 2 р.
- «Естествознание в Школе». Журнал по вопросам естественно-исторического образования. № 3—5. 88 стр. Ц. 35 к.
- «Записки Научного Общества Марксистов». № 3. 191 стр. Ц. 60 к.
- «Книга и Революция». Ежемесячный критико-библиографический журнал. № 8 (20). 80 стр. Ц. 40 к.
- «Книга и Революция». № 9—10 (21—22). 116 стр. Ц. 90 к.
- «Красная Летопись». Ежемесячный исторический журнал. № 5. 440 стр. Ц. 90 к.
- «Красный Петроград». Журнал иллюстраций. 5-я годовщина Октябрьской революции. 32 стр. Ц. 60 к.
- «Мироведение». Известия русского общества любителей мироведения. Т. XI, № 2 (43). 79 стр. Ц. 56 к.
- «Новая Книга». Бюллетень Государственного Издательства. № 5. 32 стр. Ц. 25 к.
- «Просвещение». Педагогический сборник. № 2. 238 стр. Ц. 80 к.
- «Трудовая Школа». Педагогический сборник. № 3. 57 стр. Ц. 30 к.

Розничная продажа всех поименованных изданий производится в московских и петроградских книжных магазинах Государственного Издательства.

Оптовая продажа производится в Торговом Секторе Государственного Издательства.

Телефон № 549—32.

ПЕЧАТАЕТСЯ № 2

ИЗДАВАЕМОГО „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“

ЖУРНАЛА

„ВОСТОК“

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Акад. С. Ф. Ольденбурга, акад. И. Ю. Крачковского,
проф. В. М. Алексеева, проф. Б. Я. Владимирцова
и А. Н. Тихонова

Адрес редакции: Петербург, Моховая, 36.

ПЕЧАТАЮТСЯ И ВСКОРЕ ВЫЙДУТ В СВЕТ

В ИЗДАНИИ „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ“:

- К. Мейер. — „Новеллы“.
Сидди-Кюр. — „Волшебный мертвец“.
Г. Клейст. — „Сочинения“ том I.
П. Меримэ. — „Театр К. Газуль“.
Байрон. — „Дон-Жуан“, том II.
К. Гоцци. — „Сказки для театра“.
М. Маркс. — „Женщина“.
Д. Синг. — „Герой“.
О. Генри. — „Рассказы“.
Д'Аннунцио. — „Ноктюрн“.
А. Франс. — „Жизнь в цвету“.
„Беседы А. Франса, собранные Гзеллем“.
Вольтер. — „Орлеанская девственница“.
Д. Дефо. — „Робинзон Крузо“.
Р. Роллан. — „Клерамбо“.
Метерлинк. — „Помолвка“.